

АЗБУКА ВЕРЫ

Лихачёв Виктор Васильевич

Молитесь за меня — Лихачёв В.В.

Молитесь за меня – Лихачёв В.В.

Лихачёв Виктор Васильевич

Сборник "Молитесь за меня" включает рассказы, дневниковые записи путника и пьесу. В каждом герое произведений Виктора Лихачева читатель без труда узнает либо себя, либо окружающих его людей. Жизненные истории, переплетения судеб, промысел Божий - все это присутствует на страницах книги.

- [Предисловие.](#)
- [Дневник путника.](#)
- [Фекла](#)
- [Старая фотография.](#)
- [Шиповник](#)
- [Березовый сок.](#)
- [Рассказы-минутки](#)
- [Операция на сердце.](#)
- [Сапужок](#)
- [Молитесь за меня.](#)
- [Недописанный рассказ.](#)
- [Пашка](#)
- [Неожиданный разговор.](#)
- [Реквием дождя.](#)
- [Живите с Богом](#)
- [Попугайчики](#)
- [И матерь их Софья \(Драма в шести действиях\)](#)
- [Часть первая.](#)
- [Действие первое.](#)
- [Действие второе.](#)
- [Действие третье.](#)
- [Часть вторая.](#)
- [Действие четвертое.](#)
- [Действие пятое.](#)
- [Действие шестое.](#)

Предисловие.

Господи, никогда не думал, что самое трудное дело – писать о себе: пишешь, а тебя бросает, как корабль в бурю – от глупого пафоса до ханжеской смиренности, и обратно. И вроде бы, не писать нельзя – полагается. Хотя если хорошенько подумать, что лучше буханки

свежеиспеченного хлеба расскажет нам о хлебопекке? Так и о писателе, лучше всего расскажут его книги. Будем считать, что та, которую вы держите сейчас в руках и есть рассказ обо мне. А еще мне хочется добавить, что я, Виктор Лихачев – очень счастливый человек. Посудите сами: родился в России, самой лучшей стране на свете, Бог дал мне возможность заниматься любимым делом, дал мне счастливую возможность жить, любить, страдать и радоваться, печалиться и думать, верить и надеяться на этой священной земле, ходить по ее дорогам, встречая удивительных людей. Когда вышла моя первая книга, роман "Кто услышит коноплянку?", я понял так же, что в России – лучший в мире читатель. Вот вам еще одно счастье – писательское. Встречи с читателями, их письма дали мне очень много не только в профессиональном, но и в чисто человеческом плане. Во время одной из таких встреч и пришла идея: собрать все написанное раньше "Коноплянки" и опубликованное в различных литературных журналах и альманахах, и свести это воедино. Исключение составляет пьеса "...И мать их Софья", написанная летом 2002 года. Признаться, долго думал, прежде чем решился опубликовать "Софью": все-таки пьеса – совсем особый жанр, ее лучше смотреть в театре, а не читать. Но для меня Россия – это прежде всего маленькие города и поселки. Всегда ли есть у жителей Белева и Белого, Киреевска и Кимовска, Мышкина и Котова возможность посетить спектакль профессионального театра? "Дневник путника". Это документальная повесть, написанная осенью 1991 года под впечатлением от пешеходного странствия, проходившего в том же году от Оптиной пустыни до города Гусь – Хрустальный в северной Мещере. Признаюсь, готовя дневник к публикации, решил внести кое-какие изменения – ведь прошло уже более десяти лет. Решил я также узнать о судьбе некоторых героев повести, но когда оказалось, что в живых нет одного, другого – решил оставить все как есть. Для меня они остаются живыми, встреченными однажды на бескрайних русских проселках. Надеюсь, и вы примете в сердце этих простых, но очень душевных людей. Самый ранний из рассказов – "Шиповник" написан в 1984 году. Ряд других – в середине и конце девяностых. И наконец такие рассказы, как "Реквием дождя" и "Пашка" – самые поздние. Пишу об этом, чтобы подчеркнуть: рассказы не представляют из себя чего-то единого, целого. Они разнятся и по времени, и по тематике. Для себя я условно разделяю их на циклы: "Истоки" ("Фекла", "Шиповник", "Старая фотография"), "В дороге" ("Неожиданный разговор", "Пашка"), "Сокровенное" ("Живите с Богом", "Сапожок", "Молитесь за меня"), "Тени" ("Реквием дождя") и т.д. Один из рассказов и дал название этой книги. Ну вот, кажется, все необходимые слова сказаны. Впрочем, мне хочется на прощание подарить вам стихотворение моего любимого поэта Арсения Тарковского. Удивительно, но перечитав его, я понял, что лучше обо мне (вот оно, свойство настоящей поэзии и вообще литературы) никто не сказал и не скажет:

Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала как флейта звучать.
Я ловил соответствия звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка – слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге ярко стрекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.
Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом,
загадку Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове правда мне виделась правда сама,
Был язык мой правдив, как спектральный анализ,
А слова у меня под ногами валялись.

И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел,
И пока не земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
адо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав.

Ну, а теперь действительно все. Храни вас Господь!

Виктор Лихачев.

Дневник путника.

Всяк живущий на земле есть путник.
Святой Тихон Задонский

18 июня 1991 года. Благословение святого Амвросия.

- Здесь благодать Божия, - вернул меня к действительности голос за спиной. Я вначале кивнул, соглашаясь, и лишь после этого обернулся. Голос принадлежал невысокому, плотно сбитому парню, лицо которого, курносое, веснушчатое и большеротое можно было бы назвать простоватым, если бы не глаза - внимательные и серьезные. Словно лучше давая мне почувствовать всю благодать данного места, он вдохнул в себя шумом воздух и также шумно, закрыв глаза, выдохнул. А стояли мы с ним в Оптинском скиту, около небольшого домика. Низенький, аккуратно побеленный, с уютным палисадником, домик будто сошел из ранних гоголевских рассказов. Но отсюда до Диканьки - "как до Киева пешком". Жил здесь в прошлом веке великий русский молитвинник, святой старец Амвросий. К этим стенам шли тысячи людей - за благословением, помощью, надеждой, утешением. Шла православная Русь, и каждый уходил с тем, что искал...

Мы разговорились. Оказалось, что мой собеседник приехал в Оптину пустынь неделю назад. Сам он с Алтая, но последний год жил в Питере. Побродяжил на своем веку изрядно, много чего видел, но лучше места, чем здесь, еще не встречал. Как долго пробудет здесь? А Бог его знает. Может быть, останется навсегда. Пока его определили сторожить монастырскую гостиницу. Вон она сзади, сейчас там паломники живут, но ее надо всю отремонтировать. Из окна он и увидел меня и вышел сказать, что если стесняюсь войти, то это напрасно. В келью к батюшке всех пускают. Поблагодарив его, я уже собирался открыть калитку, но, видимо, ему было скучно и он хотел поговорить еще.

- А вы надолго сюда?

- На один день.

- Что так скоро? Поживите. Тут замечательно.

- Хочу по России пройтись. Пешком, как люди в старину ходили. А откуда начинать идти, как не из Оптиной?

- Зачем вам это? - Он уже с интересом смотрел на меня. - От себя все равно не убежите, а если хотите понять Россию, то лучше Оптиной места для этого нет.

- Да нет, я не бегу от себя. - Теперь пришел черед мне смотреть на него с любопытством, - скорее, наоборот, я хочу прийти к себе. Всегда считал, что понять себя можно только через Бога и Россию. А понять Россию... Мне кажется, вряд ли это удастся кому-нибудь. Если честно, я ставлю себе цель поскромнее: хочу посмотреть на нее, родимую.

- И куда путь ваш лежит, если не секрет?

- И куда путь ваш лежит, если не секрет?

- Какой там секрет. Просто я сам не знаю, куда приду. Есть месяц отпуска, есть примерный путь, а до какого места хватит сил дойти...

- Понятно. И все-таки напрасно вы уходите, помяните мое слово.

- Может быть, - ответил я, и нам осталось только попрощаться.

Так уж случилось, что всего лишь месяц назад мне в руки посчастливилось взять книгу, рассказывающую подробно и обстоятельно о жизни святого старца. Может быть поэтому, когда вошел в келью, показалось, что я уже был здесь. Тихо горит лампадка. Иконы. Фотографии. Какие горные выси открывались его взору из этой крошечной комнатки, ставшей местом духовного притяжения для всей России? На ум почему-то пришли слова старца: "Мы должны жить на земле так, как колесо вертится: чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как ляжем на землю, так встать не можем"... Губы мои будто сами собой стали шептать молитву. Словно какой-то нарыв прорвало. Я не искал слова, они приходили сами. Сейчас, когда я пишу это, мне уже не удастся вспомнить те слова, вернуть то состояние. Помню только, что будто увидел себя со стороны, и жизнь свою увидел, грешную и бестолковую, в которой было столько показного, ненастоящего, столько суеты и пустых слов, хождения в потемках и самомнения...

Уже вечерело, когда живописной лесной тропинкой неспешно брел я из скита в монастырь. Брел опустошенный и счастливый. Так бывает в детстве, когда совершишь какой-то проступок, долго носишь тяжесть содеянного в душе, а потом, обливаясь слезами, говоришь обо всем маме. И вместе с прощением приходит счастье, и ты вдруг замечаешь, как замечательно все кругом. А пустота - от камня, что упала с твоей души.

Не буду описывать Оптину. Во-первых, она уже описана сотни раз, во-вторых, лучше один раз увидеть, нежели сто раз услышать. Скажу лишь, что к радости своей я не заметил здесь праздно слоняющихся туристов. Нет, народ был. Но разница между туристом и паломником такая же, как между ночью и днем. Одни наблюдают, другие припадают. Одни уносят впечатления, сувениры, другие приносят - вопросы, невзгоды свои и сомнения.

Около входа в главный храм монастыря - кресты. Новые кресты на старых могилах. Здесь покоятся оптинские старцы. Есть и миряне - братья Иван и Петр Киреевские. Для абсолютного большинства из нас - они (как нам преподавали) славянофилы. Будто одним словом можно охарактеризовать всю жизнь человека. А ведь Петр замечательный литератор и собиратель талантливый и самоотверженный неисчерпаемого богатства русского народа: его песен, пословиц, поговорок. Иван философ, чье наследие нам еще предстоит изучить и понять. Слава Богу, время для этого пришло. А в храме находятся мощи святого Амвросия - духовного учителя братьев Киреевских.

Войдя в храм, с удивлением обнаружил, что идет не просто служба. Точнее, совсем не служба. Трех молодых послушников посвящали в монахи. Прежние имена, фамилии, прежняя жизнь - все оставалось там, за порогом монастыря. Красивый обряд, в котором и торжественность, и

печаль, и радость. Рака с мощами святого открыта, и, наверное, не только у меня такое ощущение, будто сам Амвросий благословляет новых братьев - Арсения, Иллариона, Досифея. Высокий, статный, с благородной проседью в бороде монах произнес слово без словесных красот, всевозможных речевых эффектов, но сильное, западающее слово в душу. Он говорил о том, какой это тяжкий крест - быть монахом, как это ответственно и трудно. И какая это радость - быть монахом, отбросив все земное, суетное, служить Господу, спасти не только свои души, но и души тех, кто остался в миру. Затем все присутствующие в храме монахи, встав порами, стали подходить и припадать к мощам святого Амвросия. Следом за ними - миряне, вначале мужчины, после женщины. Удивительно, но сердце мое вдруг стало биться, как барабан. Мне было непонятно это волнение. Руки вдруг стали потными. Окружающие меня лица были как в тумане... Только когда вышел на улицу, понял, что не напрасно я попал на чин пострижения в монахи. Совсем не случайность, что сегодня, ради этого события открыли мощи преподобного. Да и вообще, в жизни случайностей не бывает. Кто верит в случайность, тот не верит в Бога. Я знал точно, что мои молитвы в келье были услышаны. Святой старец благословил меня в дорогу.

19 июня. На берегах Жиздры.

Раннее, раннее утро. Козельск. Городок еще спит, только где-то слева, там, где маленькие домики скрылись в зелени деревьев, всюду голосит петух. Ночной дождь слегка прибил пыль, которой здесь, как и в любом русском райцентре, предостаточно. Восходящее солнце посеребрило росу на заборе и траве. День обещал быть жарким, но пока, в эти рассветные часы шагалось легко. За спиной осталась быстрая Жиздра и монастырь на ее берегу, дорога вела вдоль главной улицы. Я шел и думал, что города - это те же люди. Судьбы городов словно людские судьбы. Есть города великие, известные всем, есть безвестные, живущие тихо и неприметно: есть среди городов Крезы, а есть и Золушки, которым так и не судьба была встретить своего принца. Среди людей можно наблюдать два ярких типа: тех, кто умеет жить, и тех, кто не умеет. Вроде бы и живут одинаково, но у одних все ладно, а у других - все не как у людей. Как их только не зовут - неудачниками, чудаками. Вроде бы Бог все дал неглупую голову, руки работающие, сердце справедливое и честное. А, может быть, в этом все и дело? Другие, те, кто умеет жить, сумели понять, что хочешь жить, умей вертеться. А эти вертеться, идти на компромисс с совестью не собираются. Мне порой кажется, что все провинциальные города, ведущие летоисчисление с времен Трояновых внуков, из разряда тех, кто не умеет жить. Да и посудите сами. На каких живописных местах располагаются, какие богатства вокруг, сколько веков за душой, а посмотрите на них ... Любой столичный журналист, что приезжает сюда на день, в своем фотоочерке (это сейчас модно) напишет, что де очень уж провинциален и обыден (читай между строк - сер и неинтересен), поместит тричетыре фотографии - единственную оставшуюся церквушку, бабушку, торгующую на рынке, полуголую красавицу на витрине киоска... Короче, приговор произнесен. Можно ехать дальше, ведь несть числа таким городкам на Руси... В те стародавние времена, когда арабы с триумфом завоевывали одну провинцию за другой, там тоже жили христиане. Арабы предлагали городам сдаться на милость победителей, обещая сохранить жизнь горожан. Затем освобождали от налога тех, кто принимал мусульманскую веру. И вскоре христиан осталась капля в исламском море. Что поделаться, надо уметь жить. Города, как люди. Люди, как города. А когда монголы попытались действовать на Руси по "арабскому сценарию", у них ничего не вышло. Понятно, когда это относится к таким великим и могучим городам, как Владимир и Киев, все-таки у них был, пусть маленький, но шанс. А на что было надеяться крошечному Козельску, который и 750 лет назад был "провинциальным и обыденным"? Несколько недель продолжалась героическая оборона города, монголы назвали его "злой город" и ворвались в него только тогда, когда защищать его было некому... Города, как люди...

Тропинка уводит от главной дороги в овраг. Выбираешься из него - и ты уже в деревне Дешевки. Последний раз оглянулся на Козельск. Оптинских храмов уже не видно. Но все же я ошибся, утверждая, что город спит. Вижу, что, по крайней мере, третья часть его жителей собралась у нескольких автобусов и машин. Все понятно: провожают ребят в армию. Воздух словно разрежен звуком гармошки. Гармонист играл неумело, но громко. И, главное, душевно. Господи, неужели в наше время такое еще может быть? Совсем недавно. В московском автобусе. Я стал невольным свидетелем одного разговора, во время которого один молодой человек лет двадцати пяти внушал другому, еще более молодому, заявившему, что скоро ему идти в армию, какая это глупость - воинская служба, и что лучше тюрьма, чем армия, а заодно рассказал несколько способов, позволяющих избежать службы. Не думаю, что матери этих козельских мальчишек с легким сердцем провожали детей за тридевять земель от дома, то уверен, что ни у них, ни у их сыновей и в мыслях не было нарушить долг. Все-таки это российская глубинка, а сюда нововеняния доходят позже. Если вообще доходят.

Дешевки оказались большой деревней, незаметно переходящей в другую, такую же большую - Березичи. Народ здесь живет открытый, разговорчивый. Женщина, пробегая мимо меня, спешила на автобус, который, видимо, должен был подойти, и бросила на ходу, будто я просил у нее объяснений: "Вот, дура, опаздываю. И было бы из-за чего! Засмотрелась, как Матвеевна, словно лошадь, на себе пашет, будто у ней мужика нет".

Мне предстояло по спускающейся далеко вниз дороге выйти на жиздринский мост, оттуда через поселок стеклозавода на станцию Слаговищи. Далее путь лежал по железной дороге. В лучшем случае, только к вечеру я приходил на станцию Киреевская. Путь предстоял неблизкий. Но я без промедления решил свернуть с дороги, увидев в стороне церквушку. Наши предки умели находить самые красивые места для храмов, старались, чтобы церковь была видна из самой дальней дали. Церковь в Березничих не исключение. Типична и ее судьба. Закрыта в тридцатых годах. Вначале что-то в ней хранили, затем забросили совсем. Но строили раньше добротнo, вот и возвышается она, вроде бы и поверженная, без куполов, крестов, новсе равно стремящаяся в небо. Сколько встречаю такие церкви и всякий раз чувство горечи, стыда, обиды не утихает. Я зашел внутрь. В нескольких местах даже сохранились кусочки росписи. Один фрагмент можно рассмотреть хорошо: к Христу спешат дети. Ручонки раскрыты широко, они протягивают их к Господу, на лицах матерей улыбки. Художник рисовал совсем не еврейских детишек, а своих, русских (благо, натуры кругом было много). Удивительно, он даже передал, как белокурые детские кудряшки ласкает ветерок. "Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царства Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их" (Мар. 10, 13-16).

Признаюсь, когда подошел к мосту, устал изрядно. То ли от жары, то ли от непривычки: ведь это был первый день пути. Так что быстрая и прохладная Жиздра была кстати. К тому же, у меня есть своеобразное хобби: когда-то я решил искупаться во всех известных русских реках. В Жиздре я еще не купался. Компанию мне составили пятеро юных цыган. Душой их общества были Зина и Рада. Цыгане купались на противоположном берегу, довольно далеко от меня, но шумовое оформление было такое, что спустя пять минут я не только знал, как их зовут, что они друг о друге думают, но даже все их недостатки. Особенно помогла мне в этом Рада. На вид ей было около 9-10 лет, старшие братья и сестра решили ее научить плавать. Самое интересное, что сама Рада этого не хотела. Особенно досталось Зине. Честно говоря, я и не подозревал, что русский язык в цыганской интерпретации так сочен. Когда Рада проорала, яростно взбрыкивая всеми конечностями, что ее сестра "старая шлюха", это чуть не кончилось для юной цыганки плачевно. Нет, на нее сестра и не думала обижаться, просто все так дружно рассмеялись, что

разом выпустили руки. Но все обошлось. И когда я поднимался на гору, начинавшуюся сразу у реки, услышал доносившееся с реки девичье пение. Пела Рада. А на горе, и я уже это знал, когда-то находилась богатая усадьба князя Оболенского. Оболенских на Руси было когда-то много, среди них случались не только корнеты. Их усадьбы, вернее, то, что от них осталось, встречались мне раньше в Тульской, Липецкой, Рязанской и других областях. Я так и не узнал, как точно звали этого Оболенского (кажется, Николай Алексеевич), но был он, судя по всему, человеком незаурядным. И хозяином отменным. Фамилия дворянская, но на Гаева из "Вишневого сада" не похож совсем. Построил большой стеклозавод, который прекрасно работает до сих пор, здание вокзала на станции Слаговищи, донныне лучшее здание на всей этой ветке. И усадьба его, грабленнаяпереграбленная, до сих пор продолжала служить людям. До войны находился здесь санаторий, в войну госпиталь, сейчас интернат для детей с замедленным развитием. Вход найти легко: пусть от бывших ворот ничего не осталось, старые липы, неизменные спутники русских усадеб, показывают, где была въездная аллея. Много новых одноэтажных построек. А где же барский дом? С трудом, но нахожу его, вернее, то, что от него осталось: четыре стены без крыши, а если более точно, фрагменты от стен. Попробовал провести "изыскательские" работы: вот здесь, судя по всему, был парадный вход, на этой лужайке, видимо, росли цветы; к реке спускался фруктовый садик. Сейчас от всего этого остались только красный скелет дома, да буйная зелень, из которой можно составить полный гербарий под названием "дикорастущие растения средней полосы России". Но таким же, как и сто лет назад оставалось это небо, высокое-высокое, от зноя белое. Эта река, несущая свои теплые воды. И так же, как и сто лет назад жужжит шмель, присаживающийся на цветок. Я лег под орешником, закрыл глаза... Не знаю, сон ли, грезы или видение это было. Увидел я девчущку в белом платье и с мячом в руке. Лет двенадцать я дал бы ей, но ведь длинные белые платья взростят детей. Черт лица я не мог разглядеть. Девочка что-то закричала, подбросив мячик вверх. На крик выскочила собачонка, белая, с темными ушами и пятнами на боку. Вдруг девочка и собака увидели меня. Собака бросилась в кусты и остановилась. Ребенок вроде бы не испугался, но, оглядываясь, пошел к кустам. Мне хочется крикнуть: не бойся, я случайный путник, но я друг, - только слова застревают в горле; хочу спросить: как зовут тебя, и опять не могу. Но откуда-то сверху донеслось тихое, словно шелест листьев: Та-ня, - Аня, -я... Девочка в последний раз посмотрела на меня и скрылась в зарослях. Я открыл глаза. Там, где она только что стояла, грустно вздрагивали ветви орешника, словно их кто-то задел. А между тем ни ветерка, ни человека. Только зной, небо и старые развалины.

Осталось рассказать про этот день совсем немного. Как одуревший от жары брел по шпалам: сойти в сторону нельзя - речушка Грязна постаралась - кругом болотистый лес. Стало заходиться в перебоях сердце. И в этот момент я дошел до полустанка 311-й километр, где добрая русская женщина Екатерина Михайловна Чукаева не только накормила, напоила, но и как-то незаметно рассказала о своей жизни здесь, посреди лесов; как дала мне на дорогу банку молока и яиц, пожелав доброго пути и прося написать ей, как только вернусь домой; как доплелся вечером до станции Киреевская, зашел в здание вокзала, достал спальный мешок и уснул на деревянной скамье. Входили и выходили люди, удивленно смотрели на чудака, кто помоложе и посмелее, даже подходили. Но мне было все равно. Я спал, и мне снилась девочка в белом платье. Мне было хорошо. И почему-то хотелось плакать.

20 июня. Солдатская Богоматерь.

Удивительно. Поднявшись рано утром со своего деревянного ложа, я почувствовал, что отдохнул прекрасно. Ноги будто сами просились в дорогу. Единственное, что беспокоило, так это сама дорога. В своем пути я старался избегать больших асфальтированных дорог, напрямую соединявших города, предпочитая те, которые у нас скромно называют "дорогами районного значения". Вот почему в Белев я направился не прямым путем, на восток, а на юг,

через козельские и белевские деревеньки. Пусть путь будет длиннее, но интереснее. Однако в данном случае не нужно было забывать, что Белев - это уже другая область, Тульская. А из опыта я уже знал, что в таких "приграничных" местах найти правильный путь и не заблудиться - дело не простое. Прошли те времена, когда люди вешали сумку через плечо и отправлялись в дорогу пешком, не смущаясь расстоянием. Пути-дорожки, тропинки-стежки между деревнями, особенно теми. Что обезлюдели или находились в разных территориальных объединениях, зарастали. Но все это мне было суждено испытать вечером.

А пока было просто прелестное утро. По левую сторону от меня простирались поля, вперемежку с лесными массивами, по правую - леса, вперемежку с полями. Десять километров до деревни Чернышено я преодолел почти незаметно для себя. Прохладный ветерок дул в лицо, под ногами - прекрасная бетонка, проложенная военными. Рейсовый автобус, грузовик, да два трактора - вот все, что повстречалось мне на пути. Впрочем, был еще один попутчик, точнее, попутчица. На придорожном кусте лопуха по правую от меня сторону сидела трясогузка. Маленькая птичка наклонила головку, внимательно разглядывая меня умненькими глазками. Я поздоровался с ней, она что-то чивикнула и перелетела на другой куст. Так продолжалось метров двести. Затем она сделала круг надо мной и исчезла. Те, кто долгие часы шагал один в поле, в лесу, поймут меня. Во время таких странствий, незаметно для самого себя вырабатывается какое-то особое отношение к природе. Вспоминаю свои первые пешие походы, первые ночлеги где-нибудь в копне соломы. Огромное небо над головой, тревожное шуршание ветра в прибрежных кустах, крики ночных птиц. Как сиротливо, одиноко, тоскливо! Как хочется уюта, теплой постели, людского разговора. Но проходят дни. И будто присмотревшись к тебе, меняется сама природа. И ты начинаешь по-другому все видеть и слышать. Небо над головой просто прекрасно в своем звездном сиянии, шум камыша убаюкивает тебя, навевая добрые сны, а коростель, скрипящий всю ночь, кажется ворчливым, но незлобивым старичком, жалующимся на старость и заботы. Но все это нельзя внушить себе, нельзя придумать и происходит это незаметно для человека. И ты уже не сорвешь цветка, приглянувшегося тебе, и будешь смотреть под ноги, чтобы ненароком не раздавить маленького хлопотливого лесного хозяина - муравья. Когда остановишься на привал, обязательно попросишь разрешения на это у окружающих деревьев и кустарников, а собирая лекарственные травы, извинишься перед растениями. Хочу сразу сказать, что я не язычник и совсем не верю ни в леших, ни в водяных. Тут совсем другое. Мы все - люди, деревья, муравьи, птицы - творенье Божье. Человек, созданный по подобию Божьему, конечно же, обладая разумом и душой, занимает особое место. Но, возомнив себя царями природы, мы забыли, что нас на это никто не уполномочивал. Наши далекие предки умели как-то ладить с окружающим миром. Мы - разучились, отгородившись каменными коробками и неведом кем внушенными мыслями, что переделать природу - плевое дело. Результат перед нашими глазами. Больше того, верующий человек знает, как у него, по мере его личного общения с Богом, исчезает всякая иллюзия относительно себя, своих достоинств, своего места в мире. Когда старый монах, бывший для многих образцом мудрости и прочих душевных качеств, достойных подражания и восхищения, пишет в конце жизни, что он "самый грешный и недостойный человек" - это не ханжество и не игра словами, а искреннее убеждение. И я думаю: а может быть Господь умышленно ведет нас к пониманию этого разными путями? Один из них - через общение с Природой. Наверное, вот от этого - удивительное чувство, возникающее в тебе; ты равен муравью, ничем не лучше его, а лишиться беспричинно жизни живое существо - тяжелый грех. А этим цветком пусть полюбуется и кто-то после тебя. Чернышено оказалось большой деревней с очень живописным прудом. Каюсь, больше ничего об этом населенном пункте сказать не могу. Я спешил. До Побужа, следующей деревни, было километров семь и я хотел попасть туда до полудня. Дорога от пруда шла на гору, петляла змейкой меж буераков, речушек, оврагов. Леса становилось меньше. Побуж сразу поразил меня. Он лежал передо мною как на ладони. Посреди деревни протекала речушка с очень болотистыми берегами. Она диктовала расположение домов и строений, - уж

больно замысловато было ее течение. Вот так же замысловато, волнообразно располагались ее дома. Их было много. Но удивительно: иду по деревне минутой, две - ни одной живой души. Где-то далеко слева услышал голоса. Ферма. И вот я уже сижу в крошечной комнатке, кругом целые рои мух, но зато это единственное сухое помещение на ферме. Знаю, что прежде, чем мне задавать вопросы, надо ответить самому на вопросы других. В данном случае - двух доярок, которым интересно буквально все. Узнав, что иду издалека пешком, следует обычная женская реакция: всплескивание руками, меня начинают жалеть, искренне пытаюсь понять, что за злая судьбина заставила меня скитаться. После моих объяснений успокаиваются, подсказывают, как лучше идти дальше, рассказывают о своем житье-бытье, о деревне. Говорят о горьком, но говорят както обыденно, будто смирились. О том, что в деревне осталось с десятков стариков, что коров доить некому, что если они, горемычные, бросят работу - ферму закроют, что магазин уже закрыли, раз в неделю приезжает автолавка с хлебом, а за всем остальным приходится ходить в Чернышено, что дети зовут к себе в город, да как уедешь от родных мест. Ведь какое здесь приволье и красота, жить бы да жить, но видно судьба такая...

Я слушаю этих женщин, как слушал раньше других, как завтра, послезавтра услышу третьих. Мужики обычно ругают Горбачева, интересуются, что за человек Ельцин, можно ли ему верить, а женщины просто смотрят тебе в глаза и спрашивают: вы, мол, человек городской, можно ли надеяться на что-то хорошее или уже нет? Вспоминают, что при Брежнев в магазинах было все. В каких магазинах? Да в наших, деревенских. Крупы любые, сахара много, конфет любых, печеньев там разных тоже, про вино и говорить нечего. А сейчас если бы не своя картошка, капуста да огурцы - хоть с голоду помирай. Что-то начинаю лепетать, но потом, чувствуя всю фальшь своих слов, замолкаю. Они понимаючи кивают головами: кто ж сейчас во всем этом разберется?

Елена Сергеевна Гришина вдруг вспоминает, что я с дороги и неплохо бы молочка попить, но дойка будет через час. "Пока будете ждать, сходите на могилу к нашей Солдатской Богоматери".

- Солдатской Богоматери?

- Да. А вы разве про Побужничего не знаете? И оказывается, что медленное умирание Побужа - второй акт трагедии этой калужской деревни. Первая трагедия произошла зимой сорок первого - сорок второго года. В один день погибли сотни жителей деревни. Женщины, старики, дети. Сгорели заживо, расстреляны. Побуж - это русская Хатынь. Мне говорят, что есть книги о трагедии. Но я прошу рассказать мне о том, что произошло пятьдесят лет тому назад, тем более, Елена Сергеевна - очевидец тех событий. Есть две версии случившегося. По одной, причиной всему - деревенский дурачок, обливший водой труп немца (их много лежало по полям, бои были тяжкие) и вместе с ребятами использовавший его для катания с гор. По другой, все дело в заблудившемся отряде красноармейцев, которым дали приют. А в деревне жил переводчик, предатель, поспешивший в ближайшую деревню, где стояла немецкая часть, сообщить об этом своим хозяевам. Расправа над ничем не повинными людьми была страшной. Большинство сгорело в своих домах. Кто пытался укрыться в немногих кирпичных строениях, тех расстреливали. Детей бросали в колодезь. Спасти удалось немногим...

Братскую могилу невозможно увидеть издали. Прибрежные деревья, одичавший садик скрывают ее. Каменные ступеньки расшатались. Скромное надгробие. Над ним женщина в фуфайке, с непокрытой головой. Опустила голову. Русская женщина. Солдатка. Мать. Не знаю, кто автор этой скромной скульптуры, но только большего волнения я не испытывал нигде. Все просто, даже обыденно, скромно, без пафоса и монументальности. Деревья, небо, птицы в вышине, надгробие - и эта женщина. А я плакал, хотя раньше думал, что уже не могу плакать. Пусть земля вам будет пухом, русские люди. И простите нас за эти обвалившиеся ступени,

заросшую сором ограду. Побуж опять опустел. Но с вами на вечные времена Солдатская Богоматерь... Как и обещал, зашел попрощаться на ферму. Подумал еще раз о тех, кто являлся автором скульптуры на могиле. Много у нас прекрасных обелисков, мемориалов. Чьи авторы получили (и заслуженно) всевозможные премии. Но мне кажется, что высшая награда для художника, когда его работа перестает быть просто скульптурой. Народ назвал русскую женщину в фуфайке Солдатской Богоматерью. Есть ли высшая оценка? На ферме меня ждало почти полное ведро с молоком. Просили не обижать и выпить все. После третьей кружки я "сломался". Когда Побуж остался далеко позади, я еще слышал гудение на ферме. Кто знает, может быть, это работали последние крестьяне Побужа? Я поднялся на гору. Вид открывался изумительный. От огромного леса, там, на востоке, будто убежали дети и теперь они маленькими зелеными островками украшали безбрежное всхолмье. Здесь была граница Калужской области. Здесь обрывалась дорога. Какой-то умник просто запахал ее. Но я не отчаивался. До Ретюни, ближайшей тульской деревни, было километра три, и я решил, что преодолеть их будет нетрудно.

Так и получилось. Ретюнь встретила меня словно из засады. Только что было поле, лесок, поворот дороги - и вот передо мной крошечная запруда с чистой водой и трое ребятишек плескающихся в ней. Из ближайшего дома, точнее, сада вышел худой человек в мокрых семейных трусах.

- Устали с дороги? Освежитесь, вода замечательная. Я вот с детьми искупался. А есть не хотите? Сейчас я принесу что-нибудь, - и он так же стремительно исчез, как и появился.

Вскоре мужчина появился с батоном и банкой молока, сказав, что жена на работе, а он ничего более путного не нашел. Сырые яйца он предложить мне постеснялся. Я подумал, что он напрасно постеснялся. Сырые яйца с черным хлебом и солью великолепная вещь. Помню, как бабушка мне рассказывала о том, как дедушка, работая на мельнице, однажды "обмыл" работу трехлитровой банкой первача на двоих, закусив ведром сырых яиц. Все-таки гены - сильная штука. Однако в данном случае я поблагодарил Анатолия Ивановича (так звали радушного человека), сказав, что он напрасно беспокоится, я совсем не голоден. Думаю, в этом он усомнился, наблюдая, как быстро исчезает булка, не говоря уже о молоке. Солнце уже начало клониться к западу. Детишки Анатолия Ивановича, перекупавшиеся до посинения, окружили нас. Неожиданно для меня обычный легкий разговор стал приобретать философский оттенок. Анатолий Иванович говорил о том, как в свое время уехал отсюда в город, как маялся там столько лет. Теперь вернулся и не жалеет. Работает бригадиром. Очень любит книги, но обсуждать их не с кем: народ. Мужскую его половину. Здесь интересуется совсем другое. Что интересуется народ. Я вскоре мог убедиться. К нам подсел мужчина, который назвался Семеном Семеновичем. Состояние, в котором находился Семен Семенович, можно было определить как возбужденно-радостное. Но, судя по всему, он желал возбудиться еще больше. Анатолий Иванович, словно оправдываясь, сказал мне, что "сам он пьет, но в меру".

Мне пора было идти дальше. После короткого совещания был найден оптимальный маршрут, и мы, крепко пожав друг другу руки, расстались. Но и здесь повторилась старая история. Дороги были запаханы, и я заблудился. Вместо Слободки после долгих блужданий я подошел к берегу все той же реки, что делила на три части Побуж. Это была Вырка. И как в Побуже - с болотистым берегом и высокой левой кручей. В деревне я насчитал с десятков домов. Проходившие мимо деревенские ребятишки подсказали, как деревня называется: Долбино. Я ушам своим не поверил. Как? Деревня братьев Киреевских, где они родились и прожили большую часть жизни! Я уже не сомневался, что мне было суждено заблудиться. Вчера я стоял у их могил, сегодня пришел в их Пенаты. Святой Амвросий благословил меня прийти к родным местам своих духовных детей.

- Ребята, - спрашиваю, - подскажите, как пройти к усадьбе, она должна где-то здесь быть. - А у самого перед глазами рисунки Василия Андреевича Жуковского, который одно время жил здесь у Елагиной, матери братьев Киреевских и своей племянницы. Какие рисунки! Какая на них идиллия и красота. Сельский рай! Не стоит забывать, что здесь в Долбино пережил поэт свое самое сильное чувство, драматически прошедшее через всю жизнь.

Мальчуганы неуверенно переглянулись:

- Вы про памятник говорите? Он там, на горе, - они показали на противоположный берег Вырки, - Только вы вряд ли туда пойдете. Я не очень много прояснил для себя, но поблагодарил их, и окрыленный, забыв про пройденные двадцать пять километров, устремился вперед. Но вскоре понял пессимизм ребят. Вначале я перешел качающееся дерево, точнее, переполз и очутился на другом берегу реки. А заодно и в болоте, героически пройдя которое весь перепачкался в грязи. Но это было еще не все. Затем мне потребовалось подняться на горку (кажется, у Жуковского горка имелась). Но горка поросла крапивой, репейниками и чем-то еще таким, от чего мои брюки вскоре были облеплены колючими семенами. Наконец, и это осталось позади. Прошел остатки яблоневого сада... А что я мог ожидать еще? В шагах тридцати увидел что-то похожее на мраморный постамент. Подхожу, читаю: "Здесь, в Мишенском... родился русский писатель В.А. Жуковский".

Ничего не понимаю. Мишенское отсюда в пятнадцати километрах. Загадка. Тем временем оглядываюсь. Трава хорошо вытоптана. Ясно, гоняют коров. От былых строений никаких следов. Чуть бы посветлее, можно было попробовать поискать фундамент дома. В таких местах хорошо думается: о беспощадном времени, о памяти, о беспамятстве... Где-то громынуло, - приближалась гроза. Я понуро, вспомнив, что прошел двадцать пять километров, двинулся в обратную дорогу. А загадка с памятником оказалась совсем несложной. Утром мне все объяснили. Василию Андреевичу поставили новый памятник. Неужто старому пропадать? Да и Киреевских не забыли. Правда, злые языки утверждали, что белевское начальство не осталось в накладе от такой экономии (кто теперь все это проверит?). Взяли старый памятник, привинтили табличку, из которой явствовало, что в селе Долбино родились и жили Петр Иванович и Иван Иванович, установили и отчитались. А народ любопытный, а может быть на табличку кто позарился: блестит все-таки. Короче. Табличка пропала и проступили первоначальные буквы. Попытались замазать, не помогло. Вот так не повезло Киреевским уже в который раз.

Я же тем временем проделал свой путь в обратном направлении. Наступила полночь. Мелкий дождь, пока робко, но уже накрапывал. Вокруг ни одного стожка сена. Над головой уже всю выл и гудел комариный рой. В деревнях ложатся рано, так что отсутствию света в домах я не удивился. Да и не будешь, на ночь глядя, стучать и будить людей. На ночлег когда светло просят. Не знаю, стоит ли об этом писать. Но если есть надежда, что написанное тобою прочтает хоть один человек, надо все писать честно, как было. Настроение мое описывать не буду. Два-три раза прошелся по деревне. Единственная собака, спавшая у плетня, сочла ниже своего достоинства даже облаять меня. И тут вспомнились слова, прочитанные в одной старой книге. Старый, мудрый человек говорит внуку: "Ежели какая печаль или потреба в чем, ты не сомневайся и проси Господа. У Него и о малом можно просить и о большом. Только обязательно верить надо". Я положил на землю рюкзак, повернулся лицом на восток и попросил у Господа не оставить меня, грешного, и дать мне ночлег... В соседнем домике зажглось окно. Кто-то вышел на крыльцо.

- И где его носит?

- Не меня ищите? - подал я голос. Женщина не вздрогнула и не испугалась. Улыбнулась: "Мой

муж почтальоном работает, что-то задержался сегодня". Мы разговорились. Как-то незаметно разговор перешел на болезни, отсутствие лекарств. У мужа женщины была язва желудка, да и сама здоровьем не отличалась. Кое-какие травы я знал и немного рассказал о том, как можно их использовать при болезнях. Вскоре подошел муж хозяйки. Мы познакомились.

- А чего мы стоим? - встrepенулась она. Пойдемте в дом, переночуйте... Я диктовал рецепты, а глаза мои слипались. Блины только усугубили положение. И вот постель. Наверное, и Соломон на такой не спал. Господи, какое блаженство! И спасибо тебе, Господи, что не оставил меня. Это были мои последние слова. Утром мне сказали, что всю ночь гроыхала гроза.

21 июня. Яблони под дождем.

Серое, хмурое утро. С тревогой смотрю на небо: кажется, сегодня предстоит идти под дождем. До Ровно, деревни, куда мне нужно попасть, путь не очень дальний, но хозяин дома, Иван Дмитриевич, обещает проводить меня по еще более короткой дороге. Сейчас, при дневном свете, могу лучше рассмотреть его. Удивительно похож на писателя Константина Симонова - и фигурой и лицом. Разве что не картавит. Говорю ему об этом, он смеется: "А вы знаете, моя фамилия Симонов. Правда, я ему никакой не родственник".

Утром я смог лучше разглядеть места, где вчера героически пробирался к усадьбе Киреевских. Дома в Долбино стоят на высоком берегу Вырки. Видно отсюда далеко. Как рассказал Иван Дмитриевич, именно здесь проходила линия фронта. На Вырке остановилось наше наступление. Полгода стояли друг против друга советские и фашистские войска. Много раз красноармейцы пытались выбить немцев из Ретюни, но ничего не получалось. Сколько полегло наших ребят! А Иван Дмитриевич потерял отца. Отец не был военным. Спустился к реке за водой, и тут накрыло его минометным огнем. И все это на глазах жены и детей. Самое страшное, что два месяца не могли убрать тело отца: фашисты стреляли при каждой попытке это сделать. Мама поседела на глазах.

Незаметно за разговором подошли к Ровно. Прощаемся. А дождь уже льет вовсю. Деревня большая, но дождь не лучшее время для экскурсий. Чертыхаясь, по колону в грязи, жду, когда же выйду на большак. Все-таки большинство наших поселков, где размещаются центральные усадьбы колхозов и совхозов, впечатление оставляют безотрадное. Особенно в ненастье. Еще не город, уже не деревня. Хаотичное скопление домов, грязь, помои на проезжей части улицы... Ставлю многоточие, а заодно извиняюсь перед такими вот поселками: наверняка, в солнечную погоду они выглядят лучше. Да и у меня настроение сейчас не самое приподнятое, а от того, какими глазами смотришь на предмет, зависит очень многое. Наконец, и большак. На остановке несколько сиротливо стоящих под дождем фигурок. Я уже знаю, что автобусное сообщение с Белевым прервано: специальная комиссия признала состояние дороги опасным для жизни пассажиров. Вот они стоят и ловят попутки: ехать ведь надо. По обеим сторонам дороги - яблоневые сады. Белев яблоневая столица Тульского края. Здешними яблоками можно пол-России накормить. Да вот беда: убирать их некому. Вспомнил слова моего сегодняшнего провожатого, сказанные с горечью: "Сердце кровью обливается, что творится. Доить коров некому, приезжают аж с Украины, и работают за тонну яблок. Зато посмотрите, какое правление отгрохали и сколько там народу зады протирают. Да в былые годы в колхозах председатель и счетовод, вот вам и все начальство. Эх!". Ситуация, к сожалению, типична и можно было бы о ней не говорить, столько об этом сказано, если бы не один любопытный для меня факт: здесь, в Ровно, до революции находилась усадьба богатого помещика Прохорова. И до сих пор помнят его и с уважением говорят, что у него в хозяйстве ничего не пропадало. Построил заводик по выработке пастилы, продавал яблоки. Сейчас у нас дети и не знают, что такое пастила (слышал я как-то объяснение одного большого начальника по радио о том. Что для производства пастилы необходимы специальные компоненты, которые получают из яблок,

и покупаем мы их в Финляндии. Но сейчас валюты мало)... А под Белевым каждый год гниют яблоки. Я смотрю на яблоневые сады, - мне показалось, что деревья с радостью тянули ветви навстречу дождевым каплям... Часа через два сквозь пелену дождя я мог различить окраину Белева, но мне нужно было поворачивать в другую сторону.

Я шел в Мишенское, на родину Жуковского. Шел долго, в обход - идти через деревни не советовали: грязь, не пройти. Вот, наконец, и усадьба. Большая поляна, выложенная плитами, деревянный помост, видимо, для выступающих на традиционных праздниках, - монумент, на мой взгляд, неудачно задуманный и выполненный. Рядом здание клуба, точнее, "Библиотечно-клубной системы", как было написано на вывеске. В стоящие неподалеку деревья углубиться я не мог - шел дождь и удовольствие это было бы не из приятных. Признаюсь, я стоял в центре поляны и совсем не чувствовал, что на этом месте раньше находилась живописная дворянская усадьба. Тягостное впечатление дополняла стройка: "ревели" грузовики, в вагончике строителей кто-то матерился, а уже построенные дома были близнецами ряд серых, однообразных строений. И все это на фоне дождя, по-осеннему серого и тоскливого. Грустно. И мокро.

Еще через час я подходил к Белеву. Небо посветлело, и хотя солнышко не проглядывало, стало веселее. Через весь Белев, с юга на север, проходит улица Карла Маркса, до революции она называлась Козельской. Белев - древний город, стоящий на высоком берегу Оки. Так вот, попадая на главную городскую улицу, вы словно попадаете в Белев начала века. Разумеется, изменилось многое, появились новые здания, но большинство старых домов стоят по-прежнему. Женщина набирает воду из колонки, не без иронии смотрит на меня, плетущегося с рюкзаком, мокрого и грязного снизу доверху.

- Скажите, до гостиницы далеко? - спрашиваю я.

- Да как идти, вашим шагом и за час не управитесь. Идите все прямо, в самом конце улицы гостиницу и увидите. Большое такое здание. Положим, добрался я до гостиницы быстрее, чем за час, успев даже зайти в краеведческий музей. А вечером, оставив в номере рюкзак, поспешил на место, на котором ни разу не был, но которое любил давно. Еще в юные годы увидел я как-то гравюру неизвестного художника "Вид на Белев с правого берега Оки". Утопающий в зелени городок лепился на крутом склоне, а над всем этим величественно возвышались многочисленные купола церквей. Ведь Белев был знаменит раньше не только пастилой, великолепным шитьем своих мастериц (уверяю вас, ни в чем не уступающему вологодскому), но и монастырями. Здесь располагались сразу два монастыря - мужской и женский.

Нашел я их, точнее, то, что от них осталось, быстро. Достаточно было свернуть влево с центральной улицы и пройти пять минут. Попытался расспросить о судьбе монастырей встречных прохожих, но ничего не узнал. Только один вспомнил, что отец ему рассказывал, как монахи бегали к монашкам. Любимый сюжет бытового атеизма.

- А больше ничего не знаете? - Прохожий только пожал плечами. Я добрался до развалин монастырской стены. Две козы внизу, перестав щипать лопух, удивленно уставились на меня. Еще ниже спокойно несла свои воды русская красавица Ока. И, наверное, как во времена неизвестного художника, изобразившего Белев почти двухсотлетней давности, плескались в ее водах белобрысые мальчишки, терпеливо дожидались удачи рыболовы. Много я узнавал. И эту стену, и несколько церквей, правда, они уже без куполов, и даже двухэтажный дом, возвышающийся среди множества маленьких домишек, - посмотришь на которые и не поймешь, то ли ты в России, то ли в Грузии, - настолько ловко они прилепились к склону оврага, ведущего к Оке. И все-таки кругом простиралась она, Россия, милая моя Родина. Тучи

рассеялись. В голубом, свежевывытом проеме меж кучевых облаков показалось солнце.

22 июня. Стражи вечности.

Белев я покидал под репродукторный гром военных оркестров. Разумеется, музыка играла не для меня. Отмечали 50-летие начала самой страшной и самой великой войны в истории нашего народа. Случись такой юбилей еще несколько лет назад, все было бы куда торжественней. Но времена меняются. Скромнее стали юбилеи. И наверное. Это можно было бы поприветствовать, если бы знать точно: что этому причина? Одно дело - преодоление нашей проклятой тяги к показухе, помпезности, пустословию. Другое - нарождающееся у многих равнодушие к прошлому своей земли, своего народа. Когда человеку постоянно твердят, что он дурак, можно не сомневаться, - он обязательно станет дураком. Вот уже несколько лет складывается такое настроение в обществе, что все вокруг с каким-то мазохистским сладострастием занимаются самобичеванием. Начав с малого, дошли до логического конца. "Страна дураков" - глубокомысленно заверяет своих слушателей какой-нибудь юнец и все радостно кивают головами. "Всем надо покаяться" - категоричен ученый муж, повторяя услышанные слова. Но ни один, ни другой, дураками себя, а также обязанными идти к покаянию, не считают. Зато, когда знаменитый диссидент в книге, пачкающей великого русского поэта пишет: "Россия - сука" - все рукоплещут, не понимая, что есть святыни, покушение на которые нельзя оправдать ни талантом, ни нанесенными тебе на Родине обидами. Так кому, скажите, каяться? По главной белевской улице бредут, опираясь на палочки, ветераны. Митинг закончился, и они, купив хлеба, спешат на автостанцию. Хоть и старость пришла, но бездельничать времени нет - надо косить сено. Как мало вас осталось, дорогие мои! Я остановился и долго смотрел вслед одной пожилой паре - он и она - и пытался представить их жизнь. Родились в одной деревне, поженились перед войной, успели родить одного-двух детей. Ей повезло: он вернулся с войны живой. Затем работа в колхозе, на своем огороде, работа тяжелая, без выходных и отпускных. Рождались дети, вырастали и уезжали в города. А сейчас пришла старость. Спасибо детям, не забывают. На лето внучат привозят... В чем им-то каяться?! За то, что грязь под ногтями уже никогда не отмыть, или за то, что поверили когда-то словам красивым о жизни распрекрасной, которой так и не дождались, за то, что он половину Европы прошел, теряя в мадьярских степях, польских лесах, немецких городах своих товарищей, таких же как он простых деревенских парней, - за это им надо каяться? Сейчас твердят, что мы, русские, не культурны (кто пишет, опятьтаки себя таковым не считает), но, простите, кто столько лет пудрил школьникам и студентам мозги, прославляя "победоносно завершившуюся культурную революцию? Слава Богу, что эти старики выписывают только "Сельскую жизнь" и местную газету, а то вдруг да прочитали бы в популярном журнале как ленив русский народ... Старики растворяются в вокзальной толпе, мне же идти дальше. Перехожу мост через Оку. Теперь мой путь лежит на юг, к Окским верховьям, туда. Где сливаются Зуша и Ока. Деревеньки здесь частые, соединяет их всех неплохая дорога с твердым покрытием. Я вот только шел и удивлялся, почему все они как-то отходят от Оки, только одна-две деревеньки приблизились к ней на расстояние пяти - десяти минут ходьбы. Но мне это было только на руку. Несколько раз в течение дня сворачивал с дороги, шел вначале огородами, затем колхозными полями, наконец, луговой тропинкой, и подходил к Оке. Глубокая и быстрая, река одаривала меня своей прохладой. А кругом, куда ни взгляни, - ни живой души. Лишь одна моя радовалась и пела, когда это брэнное тело подплывало к (чуть не написал - поляне, но это все-таки река) кувшинками, трогая под водой их упругие и длинные стебли. От набегавших струй кувшинки покачивались, будто желтые лодочки, зачерпывали немного воды. Влага под лучами солнца, искрясь и золотясь, слепила глаза. В старину кувшинку называли одолень-травою. Ее сушили, клали в мешочек и брали с собой в дальний путь, веря, что цветок поможет одолеть и хворь и козни недругов С трудом преодолеваю искушение и не срываю приглянувшуюся кувшинку, настоящую королеву. А

вдруг, как в старой доброй сказке, здесь живет маленькая фея, в желтом платье с зеленым воротничком, и, невидимая мне, она зовет своих подруг в волшебный хоровод? В ивовых зарослях на берегу заливается какая-то пташка, даря окружающему миру обыкновенное чудо - свое пение. Но и она стихает. И разливается над миром - рекой, кустарником, полями, виднеющейся вдали деревней - тишина. Даже у местных лягушек, здоровых, откормленных миллионами комаров, не хватает духу тишину эту нарушить.

Я уже не хочу возвращаться на дорогу и остаток дня иду вдоль берега. После вчерашнего дождливого дня солнышко кажется особенно ласковым и приветливым. Все вокруг улыбается мне. Вероятно оттого, отшагав двадцать с лишком километров, усталости не чувствую. Дождя ночью явно не будет, и может быть поэтому, или по какой другой причине мне не хочется сегодня идти в деревню и проситься на ночлег. А когда я, следуя руслу реки, круто повернул влево, стало понятно, где я заночую.

Не верю своим глазам. Как долго я мечтал их увидеть, мечтал еще с институтской поры, когда изучал древнерусскую историю. Мечта усилилась, когда поселился в деревне, где тысячу лет назад находился Дедославль, главный город славного и загадочного племени вятичей. Курганы вятичей! Они передо мною. Уже поросли лесом, уже земля осела, но их нельзя не заметить. Я сбросил с плеч рюкзак и, не помня себя от неожиданной радости, побежал на горку. Пожалуй, "побежал" - это сильно сказано, скорее, прибавил шаг. И пока я карабкаюсь по склону, расскажу все, что знаю о вятичах. Когда они появились в местах, называемых ныне Тульской, Калужской, Рязанской, Московской и Орловской областями, неизвестно. Шло бурное первое тысячелетие нашей эры, от Пиренейского полуострова до Китая стоял шум от повозок, людских голосов, бряцания оружия, конского ржания - народы, ища лучшей доли, двинулись в путь. Везло более сильным и смелым племенам. Кто двигался на запад, вслед за солнцем, кто на юг, к теплым краям. Если верить летописям, вятичи отправились на восток; оттуда, сообщал летописец, где сейчас живут ляхи, то бишь поляки. Согласно изысканиям ученых, именно там, в междуречье Одры и Вислы, находилась родина славян, откуда они разбрелись во все стороны. Новые места у Оки пришельцам понравились. Живших здесь до них балтов ни истреблять, ни притеснять не стали - те незаметно со временем ассимилировались с пришельцами. Леса были богаты дичью, реки рыбой. Жили по крутым берегам рек. Особенно облюбовали они Оку, Упу, Шиворонь. Мертвых своих хоронили своеобразно: тело сжигали, прах складывали в деревянные урны, над урной насыпали землю. Чем большей славой пользовался умерший вятич, тем выше рос курган. И спустя столетия местное население, уже забыв о своих предках, - темны глубины веков, - сочиняло свои версии происхождения курганов. Чаще вспоминали татар, пришедших сюда с огнем и мечом лет на пятьсот-шестьсот позже появления здесь первых славян. Вспоминают и сейчас. Специально старались не разрывать, хотя порой ходили слухи о сокровищах - все-таки могилы. Бога боялись. А уже в наше время многие из курганов были распаханы. Мне рассказывал один тракторист: " Мы думали что-то необыкновенное увидеть. А там зола одна".

Зола... Я сижу у курганов. Внизу катит воды Ока. Березы, словно былинные воины, окружили холм, отдавая почести уходящему товарищу. Как славно здесь думается! Мысли бегут плавно, как эти воды, скользя по векам, странам. Какими они были, мои далекие предки? Наверное, вот так же летними вечерами смотрели на закатное солнце, так же радовались хорошему дню, огорчались ненастью, скорбели и праздновали, трудились и воевали, чтили своих богов... Впрочем, мой знакомый, иеромонах отец Трифон, приехавший в тот же Дедославль (ныне село Дедилово) восстанавливать церковь, убежден, что вятичи приняли в свои сердца Христа много раньше того дня, как крестилась Русь. Кто знает, может он и прав. Ведь сказал же апостол Павел эллинам: "Афиняне! По всему вижу я, что вы как-то особенно набожны; ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник. На котором написано: "неведомому Богу".

Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам". (Деян. 17, 22-23).

Не помню сколько просидел я среди курганного безмолвия. Как писал великий Гомер в "Одиссее", когда хотел сказать, что наступила ночь: "Солнце тем временем село, и все потемнели дороги". Кстати, перевод на русский - Василия Андреевича Жуковского. Я и не заметил, как солнце скрылось за горизонт. Неяркие летние звезды высыпали на небосвод. От реки веяло свежестью. К ней я и направился. Там, на широкой луговине стояли свежепоставленные стога. Я выбрал тот, который поменьше, и вскоре расположился на ночлег. Сон быстро слепил веки. Перед тем как уснуть еще раз посмотрел на курганы. Что им, стражам столетий, всего один день! Они дремали, вспоминая тех смелых и сильных людей, чей прах верно хранят столько лет.

23 июня. Поляны.

Спал я недолго. Минуты три. Откуда-то из темноты, сверху и со всех сторон одновременно, на меня обрушились полчища комаров. Началась невидимая миру битва. С успехом уничтожив очередное комариное соединение, я, наивный, тешил себя надеждой, что битва окончена. Но не тут-то было, - секунд через пятнадцать, с пискom и гудением, новые сотни кровопийц бросались в атаку. Часа через три я сменил тактику: набрав воздуха, полез внутрь стога. Но это уже был жест отчаяния. Все было кончено. Сил у меня не осталось. "Жрите, гады!" - не без достоинства произнес я, и из печки, в которую превратилась сердцевина стога, полез на прохладный верх. Уже рассветало. Как опять сказал бы бессмертный Гомер: "Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос". Но если богиня утренней зари вставала явно с хорошим настроением - про меня этого нельзя было сказать. Кисти рук в волдырях от комариных укусов, волосы в траве. Делаю еще одну попытку уснуть. Последнюю. И вроде бы мне это удастся. Но если не везет, то не везет. Через несколько минут меня разбудил какой-то странный лай. Шагах в двадцати от моего ложа вижу крупного лиса, с остервенением лаявшего на видневшуюся вдаль деревню. Не знаю, что двигало им: то ли обида на людей, то ли желание подразнить собак, а может быть, это был какой-то отвлекающий маневр, но лис вытворял что-то невероятное. Он то бросался вперед, словно боец в штыковую атаку, то кубарем скатывался обратно, не переставая яростно лаять. В одно из таких отступлений он очутился прямо под моим стогом. Меня зверь не видел, ветерок дул в мою сторону, и я мог спокойно разглядеть его. Лис был крупный, с прекрасным хвостом. Никогда в жизни не наблюдал в такой близости лисицу, если не считать двух смешных лисят в тамбовской глухомани, встреченных мною в одном из странствий. Видимо. Мать их ушла на охоту и не вернулась, и то ли голод, то ли любопытство вывело их из норы. И они, впервые увидев человека, смешно тарачили на меня свои глазенки... Но вскоре темпераментный лис меня утомил. О сне уже нечего было думать. Пора собираться в дорогу. Во время секундной паузы в почти непрерывном лае спрашиваю: "А есть из-за чего расстраиваться, парень?" Мне показалось, что "парня" хватил "кондратий". Он словно подавился собственным голосом, как-то странно дернулся на всех четырех конечностях. Лишь после этого посмотрел наверх. Доли секунды глаза зверя смотрели в мои глаза. Я успел подумать о том, какая это жалость, что мое людское племя и его, звериное, враждует друг с другом. Понимали бы мы язык друг друга, глядишь, и поговорили по душам. Лис за это мгновение пришел в себя, принял решение, и вскоре рыжая точка исчезла в кустах на противоположном конце поля. Наверное, он прав. Ведь это у меня шапка из лисы... Искупался перед дорогой. Но особой бодрости это не придало. Первые километры шел, с трудом передвигая ноги. Безумно хотелось спать. Деревни, похожие, словно родные сестры, сменяли друг друга. Различны только названия: Песковатое, Черногрязка, Беляево, Железница...

Но чем выше поднималось солнце, тем легче и веселее было идти. А когда в Беляево, в одном живописном домике купил молока, яиц, творога и там же, под говор хозяйки и под ленивый прищур кота все это съел - жизнь вообще показалась прекрасной штукой. До этого два дня

моей основной пищей был геркулес, замоченный в воде и приправленный медом. Вещь в путешествиях необходимая, много раз спасавшая меня в самые трудные минуты - особенно если учесть пугающую пустоту магазинных прилавков - но несколько однообразная. Поэтому парное молоко со свежим яйцом, а яйцо-то домашнее, крупное, желток яркой желтизной своей не чета тому, что обитает в яйце, купленном в магазине, наполняют меня чем-то божественным. А про творог и говорить нечего. Ничего удивительного, что после такого завтрака я отшагал еще с десятков километров, совершенно не ощущая усталости.

Обычное безмолвие дороги было нарушено, когда я входил в Железницу. Из крайнего дома на всю деревню разносилась песня. Певец оплакивал любимую: "Путана, путана, путана, ночная бабочка, ну кто же виноват?" Две старушки сидели на скамье рядом с крылечком. Или им нравилась песня, или они знали, что протест выражать бесполезно, но сидели они молча, без всякого выражения смотря в землю. Какая странная у человека память! Я и секунду не осмысливал в голове увиденное, как из глубины сознания всплыла картина из моего детства, картина, доселе не вспоминаясь. Огромная деревня в тамбовской степи. Сюда я приехал к родственникам на лето. Августовский вечер. Спадает зной, ветерок приносит запах полыни, потихоньку смолкают кузнечики. Только что, под звон колокольчиков и шлепанье кнута по земле, прогнали стадо коров. Стадо огромное - корову держат в каждом доме. Коровы знают свои дома и заходят каждая в свои ворота. Мы всей семьей встречаем кормилицу. И вот уже из сарая доносится звук, который ни с чем не спутаешь: струя молока бьется о дно ведра. А когда уже и ужин будет окончен, кто-то из старших достанет старенький патефон. Пластинок в доме немного, мы все их слышали - переслышали. Но все равно, только зашипит игла, раздастся легкое потрескивание, и ты с замиранием сердца ждешь первые звуки. А когда над притихшей, спрятавшейся в темень деревней доносится: " В поле за околицей, там, где ты живешь..." или " Снова замерло все до рассвета..." - каким-то сладким, неизъяснимым восторгом, тихим и нежным, охватывает душу. Много с той поры промчалось лет, многое стерлось в памяти, но всякий раз, когда я услышу любую послевоенную песню, словно отблеск от далекого костра, возвращается в сердце тот неизъяснимый восторг, сладкий, тихий и нежный... Другие времена, другие песни. В Будоговищах кончался асфальт. Теперь предстояло от деревни к деревне идти полевыми большаками. Почти сразу за домами, на пригорке, я увидел несколько берез и сосен. Деревья были высокие, ветерок, вовсю шумевший в зеленой листве и качавший сосновые лапы, словно манил на отдых. В походе у меня постепенно выработался режим дня. Основной путь я проделывал до обеда. Когда солнце начинало палить нещадно - искал место для привала. Это было не так-то просто. Оно должно быть живописным, располагающим к отдыху, чтобы в нем можно было укрыться и от солнца, и от посторонних взоров. Найдя такое место, я расстилал спальник - днем он служил мне подстилкой, - обедал, читал, спал. Обычно на такой привал затрачивалось четыре-пять часов, но это было отнюдь не потерянное время. Я набирался сил, - когда место выбиралось удачно, буквально физически чувствовал, как от окружающих деревьев, кустарников, цветов, травы в каждую клеточку моего тела входила энергия. Ее давали мне облака, солнечные лучи, словно через сито просачивавшиеся сквозь листву. В дорогу я взял с собой целую библиотеку: Библия, Пушкин, Тютчев, Баратынский, поэзия древней Японии и Китая, античная лирика. Конечно, мой рюкзак от этого становился немного тяжелее, но я не жалел об этом. Отдых у деревни Будоговищи, у самой границы Белевского района, удался на славу. Вот почему я не удивился своему собственному решению, когда вечером, придя в Большие Голубочки, предварительно конечный пункт моего дневного пути, решил идти дальше, пока светло. Конечно же. Помогло и купание в Исте, чистой и быстрой речке, несущей свои воды в Оку. В пяти километрах от Голубочков небольшая деревенька Поляны. Она действительно, словно на поляне, стоит среди лесов, охраняющих ее от шума большого мира. Ночлег удалось найти быстро. Первый, кто увидел меня в деревне, был молодой рыжий парень, косивший у дома траву. Мы разговорились. И скоро его крошечный домик встречал меня детскими голосами, коровьим мычанием, лошадиным ржанием, лаем

собак, гусиными криками. У колхозного телятника и его жены, доярки, хозяйство огромное. Не говорю про двух собак и трех кошек. И вся эта живность, от петуха до огромной собаки Полкана, буквально трепещет перед двумя рыжеволосыми существами пяти и трех лет. Это Галька и Женька, хозяйские дети. Десяти минут знакомства достаточно было, чтобы сделать вывод: это не дети, это какой-то стусок энергии, облаченный в платье и штаны. Два рыжих вихря проносятся по двору, сея кругом ужас и панику. Грозный голос матери, грозный больше для виду, заставляет обоих только менять объект приложения своих сил. Только что Женька, сидя на собачьей конуре, проводил показательный кулачный бой с Полканом. Пес был настоящим стойком и вел себя просто героически, только рычал время от времени. Но вот будущий наследник этого хозяйства затевает с сестрой новую игру, и двор оглашается истошным куриным кудахтаньем, а в воздухе кружатся пух и перья.

Ужинают Иван и Валентина поздно, когда управятся с делами. Набегавшись за день, словно убитые, раскинув тела в самых невыносимых позах, спят дети. Весь домик моих хозяев - кухня и маленькая комнатка. Купили за двести рублей почти сгнивший и развалившийся, помаленьку обновляя его. Совсем недавно в зале полы заменили, скоро пора за крышу приниматься, но времени нет совсем. А завтра в четыре утра вставать на работу. Иван, правда, останется дома: он взял два дня за свой счет - иначе без кормов останешься. Будет с утра косить. Я отправляюсь на чердак. Иван приносит пару одеял, подушку. Говорит, что комары, конечно, есть, но их не очень много. Спать можно. С удовольствием потягиваюсь на соломе. Но что это? Прямо передо мной раздался писк, ему ответили в другом углу. Мыши! Знаю, что этим признанием не прибавлю себе авторитета, но крысы и мыши... Не то. Чтобы я их панически боялся, но как представишь их бегающими по тебе или даже неподалеку... Брр-р! Что делать? Мои хозяева уже спали, да и куда они положат меня в своей крошечной комнатке? Принимаю решение. Внизу, прямо под фонарным столбом, густая трава. У нас ее зовут гусятником, в здешних местах ее называют свинной травой. Стелю на нее свои одеяла, вползаю в спальник и засыпаю. Сразу, мгновенно. Под ярким светом фонаря, в двух шагах от собачьей конуры, в десяти шагах от дороги, фактически на голой земле. Засыпаю так, как не спал давно, крепко и безмятежно. И только порой, сквозь сон, доносился до меня шум ветра, да глухое ворчание Полкана на цепи, не понимавшего, зачем человеку спать на земле под открытым небом.

24 июня. Тетя Валя, слепой пес и светляк на ладони.

Утром мои добрые хозяева проводили своего горемычного гостя в дорогу. Проводили тепло, так же, как вчера встретили. Два моих новых маленьких рыжих друга долго стояли на песчаной дороге. Я еще долго мог различать, как утренний ветерок топорщит их рыжие вихры. Но вот дорога поворачивает вправо, и деревня исчезает навсегда. Кругом лес. Сосны, ели, песок под ногами. Смолистый воздух вдыхается почти с наслаждением. Так и кажется, что стоит взойти на горку, как выйдешь на берег Балтийского моря. Но это средняя полоса России. Более того, сейчас я перехожу своеобразную границу, которая не отмечена ни на одной карте. Покидаю киреевско - жуковские места, попадаю в край, связанный с жизнью Ивана Тургенева. Пожалуй, в Чернском районе, в который привела меня дорога, вряд ли найдется населенный пункт, где бы не бывал автор "Охотничьих рассказов", героями которых стали предки здешних крестьян.

Ближе к десяти утра стало ясно, что день будет очень жарким. У маленьких лужиц следов недавнего дождя - хоровады бабочек-капустниц. Смолкли птицы. Казалось, зной давит на все живое. Дорога вышла в поле. Лес оставался левее, но далеко не отходил: мощной темной стеной он тянулся на многие версты. Направо открывался любопытный вид: пшеничное поле спускалось к реке. По зелени прибрежного кустарника можно было определить русло Зуши. Вообще-то мне нужно было идти прямо: я уже видел крыши деревенских домов - это было Тшлыково. Зной, казалось бы, усиливал желание быстрее дойти, но очень уж мне захотелось

посмотреть на Зушу, на место ее слияния с Окой, и я решил удлинить свой путь. Через час я достиг берега. Любят русские люди красоту. Смотрю на слияние двух рек и с невольным уважением думаю о наших предках. Умели они находить места для своих поселений не только удобные, безопасные, но и красивые. Высокая, в пояс, трава купается в светло-рыжих лучах июньского солнца, кружатся над мутной рекой сотни стрекоз. А ведь когда-то здесь стояли дома, люди отправлялись на охоту, рыбную ловлю, отбивали нападения кочевников. Словно свидетель тех лет - ковыль на курганах. Какая тихая, мирная река, а сколько русских голов сложено на ее берегу... Погибали самые смелые, мужественные, достойные, но землю русскую сберегли. Как сберегли ее в сорок первом наши солдаты. Очевидцы рассказывают, что вода в Зуше была красной от крови... До сих пор находят в земле снаряды и мины, до сих пор в деревнях стоят скелеты домов, разрушенных в ту войну. Иду, вернее, пытаюсь подойти к месту слияния рек. Лопух в человеческий рост, крапива - в два. Но все же нахожу едва заметную тропинку, круто спускающуюся вниз. Даже не верится, что через сотню километров отсюда эта речушка превратится в полноводную Оку. Но это будет еще не скоро, а пока бежит меж зеленых крутых берегов совсем маленькая еще Ока. В добрый путь. Возвращаюсь на старую дорогу. Деревни, встречающиеся на пути, совсем непохожи на те, что остались за моей спиной. Вместо асфальта - густая зеленая трава на улицах. За огородами плотной стеной стоит лес. Неизменны люди - приветливые, трудолюбивые, - с раннего утра до позднего вечера, несмотря на великую жару, большинство, из встреченных мною, словно пчелы, трудились в поле, на огородах. Неизменны магазины. Захожу в один. Совсем не любопытства ради: очень хочется пить. Увы, те же пустые полки. Продавщица рада поболтать с кем-нибудь, настолько она истомилась от ничегонеделания. Но все услышанное, буквально слово в слово повторило слышанное вчера, позавчера, и то, что услышу еще неоднократно: "Раз в неделю торгую хлебом, больше торговать нечем, по всей видимости, скоро магазин закроют. Да и зачем он?" Я посочувствовал ей, она - мне, сказав, что последнюю бутылку яблочного сока продала "сама забыла когда". За большой деревней Троицкое-Бачурино сделал привал. Но сил отдых не добавил. Совсем наоборот, появилась вялость, усталость сковывала мышцы. А ведь я ждал этого дня. Если пройти под этим пеклом еще минут сорок, все выше поднимаясь по склону вверх, можно прийти в совершенно неопишуемый по красоте край. Первый и последний раз судьба привела меня в эти края семь или восемь лет назад, когда после тяжелой операции врачи порекомендовали провести отпуск в лесной деревне. Так я очутился на крошечном хуторе с громким названием "поселок Революция" у двух бабушек - бабы Шуры и тети Вали. Питался грибами и козьим молоком, собирал травы и долгими часами гулял по лесу. Особенно любил в жаркий день уходить в сосновую рощу. Посаженные когда-то человеком, словно колоннады готического собора, ровными рядами стоят сосны. За рощей вовсю шумит ветер, трепещут и колышутся листья берез и осин, а здесь - тишина, заволаживающая, колдовская. Под ногами мягкий ковер из мириадов сосновых игл, и ты идешь, не нарушая этой неземной тишины. Настоящий храм. Где-то высоко-высоко чуть голубеет небо, да косою луч солнца пробьет себе дорогу сквозь этот сумрак. Пробьет и сделает всю картину такой волшебной, что трудно поверить в реальность происходящего... Я плетусь полевой дорогой и думаю о том, что наверняка ждет меня моя сказочная роща - еще сотни лет простоят красавицы сосны, если, правда, их не погубит человеческий топор или не спалит огненное пламя. А вот ждут ли бабушки? Дохожу до края подъема. Открывающийся вид достоин того, чтобы его описать. Далеко-далеко внизу, словно в каньоне, протекает речка. С двух сторон к ней, широко, свободно, плавно, будто не спеша, спускаются два склона. Вдоль берега реки - деревеньки. Домики отсюда - не больше булавочной головки. По краям всей этой картины, словно в раме, - сплошной лес. Пейзаж скорее альпийский, нежели русский. Впрочем, я убеждаюсь, что в России возможен любой пейзаж, и всякий раз он будет к месту.

Так вот, если продолжить аналогии с картиной, мне предстояло из ее левого нижнего угла дойти до правого нижнего, обязательно при этом пройдя центр. То ли оттого, что солнце

катилось к западу, то ли от дум и воспоминаний, заставивших учащенно биться сердце, усталость как рукой сняло. Через час я подходил к хуторку. Вот и дом тети Шуры. Но вместо маленького, полуразвалившегося домика, открытого всем взорам, передо мной стоял основательный домище, огороженный высоким забором. На цепи, более подходящей для молодого бычка, рвалась с лаем огромная овчарка. Я оглянулся назад. За спиной, смотря на меня крошечными окошками, стоял дом тети Вали. Дом не изменился, только постарел малость. Света в окнах не было, никто не вышел на крыльцо. Но вскоре ближние кусты, форпост обступившего хутор леса, раздвинулись, и на поляну вышла старушка, в окружении коз. Господи, да это тетя Валя! Она и тогда держала коз, и тогда она пасла их довольно своеобразно: собирала грибы, а козы шли гурьбой за ней, пощипывая травку. Но уж что-то сильно изменилась моя добрая старушка: двумя руками опирается на палку, согбенная почти пополам, не идет, а скорее передвигает ноги. Подхожу.

- Здравствуйте.

- Здравствуй, милый. Что-то слепа нынче стала. Ты не к Юрке? - (Юрка - это ее сын).

- Тетя Валя, вы не узнаете меня? Помните, лет восемь назад жил у тети Шуры... Она узнала меня сразу. И здесь же, на поляне, пока мы медленно шли к ее дому, рассказала о том, что два года назад умерла баба Шура, царство ей небесное, что в бабкином доме живет старший сын, приезжающий на лето из Мценска. А сама она тоже одной ногой в могиле, да и ноги-то совсем, окаянные, не ходят. "И в больницу не могу: куда ж коз брошу?"...

А козье молоко у нее по-прежнему вкусное. Годы же, изменив внешность тети Вали, не изменили характер. Как и в те добрые времена она достала бутылочку крепкого вина, как и тогда огорчилась моему отказу пить, как и тогда лихо опорожнила пару стаканчиков. Налила и сыну - жилистому загорелому мужчине, работавшему пастухом в колхозе. Но по всему было видно, что бабка сердита на сына. Вино и одиночество развязали ей язык, и тетя Валя спешила выплеснуть переполнявшие ее чувства.

- Витя, милый, ох и маюсь я. Поверишь, жить не хочется. Парень-то мой совсем от рук отбился. Ты же помнишь его, он всегда непутевый какой-то был. А сейчас вообще по страшному пьет. Я не против, купи бутылку, выпей опосля работы, так он пропивает почти все. Почему я его кормить должна, это он меня должен кормить, я уже старая. Совсем больная, Витя, совсем! Прошу его: Юр, отвези меня к какойнибудь бабке-знахарке, вдруг да поможет. Засмеется, будто я притворяюсь. А я, поверишь, ходить совсем не могу. - И старушка заплакала. Чем я мог утешить ее, когда она повторила несколько раз: "Ну за что мне все это?" Юрка был действительно добрый парень. Ко всем, кроме своей матери. Для любого он мог расшибиться в доску., а с матерью почему-то воевал. Война была скрытая от посторонних глаз, но все-таки это была война. Я наблюдал ее и восемь лет назад. О причинах мог только догадываться. Когда-то тетя Валя жила в большом городе, вырастила Юрку без мужа, одна. Сам Юрка тоже хлебнул в своей жизни, но зачастую от собственной непутевости. Была когда-то жена, родила она ему трех девочек. Старшая недавно замуж вышла. Но жена не выдержала Юркиного характера, бросила его. А он теперь работает до одури среди этих красот природы, да и пьет тоже до одури, умудряясь пропивать все заработанное в два-три дня. Интересно, почему мы всегда мучаем больше всего тех, кого любим? Почему мы не находим добрых слов для близких наших, хотя слова эти нам ничего не стоят? Знаю, что мать и сын, живущие в этом убогом домике, по-своему любят друг друга. Но отчего любовь перерастает в непонимание, непонимание во враждебность, враждебность в ненависть? Оттого, что десятки лет эти неизменные дом, поляна, лес этот, а самое интересное в жизни вино, которое придает краски серому, унылому миру? Юрка спит на топчане. Спит одетый, сняв только сапоги. Даже одеялом не укрылся. Мать все горячо рассказывает о своих обидах. Бережно разглаживает фотографии, с которых

смотрят симпатичные белобрысые девчущки, так похожие на отца. А я буду спать на роскошной, с огромными перинами кровати. Она для гостей, но гости так редки. Рядом с постелью хозяйки - прялка. Под ее жужжание я и засыпаю. Но спал недолго. Как-то тяжело было на сердце. Из памяти не выходили слова тети Вали: "Зачем я его родила?" Завтра, вернее, сегодня утром, я пойду дальше. Увижу ли их когда-нибудь еще? И, дай Бог, чтобы источниками этих слов были только минутная обида и одиночество. Бывает со всеми. И, кто знает, может быть, однажды возьмется за ум добрый деревенский пастух Юрка Морозов, достанет из комода белую рубашку, оденет костюм, который не надевал лет десять, и поедет, как раньше, в Воронеж, к дочкам. Подлечит мать - не лекарствами, нет, добрым словом, которого ей так не хватает.

А на поселок Революция легла летняя ночь. Звезд не было. Слепой пес, приняхиваясь, подошел ко мне. Он был так стар, что уже не лаял. Ночами он выходил из будки и жадно вдыхал лесные запахи: по-другому он уже мир не мог воспринимать. А я помнил его большим, веселым, с громким лаем носившегося за лошадьми по лесистому всхолмью...

Какая тихая ночь! Все так и дышит покоем. Я решил немного пройтись. Вдруг в лесной прохладной мгле засветился крошечный, чуть зеленоватый живой огонек. Светляки! Один, второй, а вскоре я стоял на волшебной поляне, сплошь усеянной огоньками. Угрюмый ночной лес словно ожил. И вот светляк у меня на ладони - это маленькое чудо природы. Мне подумалось: этот фонарик не поможет заблудившемуся человеку выбраться из леса, но он даст ему надежду. Прощаюсь со светлячковой поляной. Когда-то, очень давно, я принес из леса светляка. Принес в спичечном коробке, неся, как самую драгоценную вещь на свете. Найдя укромное место в саду, положил туда лесного гостя. Но он больше не светился. На моей ладони лежал обыкновенный маленький червячок. И тогда я понял: до сказки нельзя дотрагиваться руками.

25 июня. Степь, забытая Богом.

Тропинка, отходя от дома тети Вали, весело и беззаботно ныряла в лесную чащу, затем поднималась вверх по склону, чтобы затем стать полевой дорожкой. Лес прощался со мной. Слева его грозная стена таяла в дымке, справа сосновая роща устремлялась верхушками деревьев в высокое небо. Начиналась лесостепь, по моим расчетам войти "в ее объятия" я должен был часа через три-четыре. И судя по всему, объятия предстояли жаркие: было раннее утро, а дышалось уже трудно. А что будет в середине дня?

От деревни Полтево, куда вскоре привела меня дорожка, до большака, ведущего в Чернь, ходьбы было не более двухкилометров, но мне показалось, что все шесть, так тяжело я шел. А когда все же вышел на большак, то пришлось остановиться в раздумье. Вообще-то мой путь лежал прямо, уходя в бездорожную степь, в самую глухомань Тульщины - Арсеньевский район. Я и не собирался менять маршрут. Но если по Чернской дороге пройти километров пять, а затем повернуть направо, можно прийти на большой луг, по которому катит свои воды речушка с удивительно красивым названием - Снежедь. Обычный луг, на Руси их пока что много - не все еще распаханы. Но Тургенев обессмертил его, сделав символом крестьянской России, мирного трудана любимой земле. Бежин луг. Как хочется прийти на берега Снежеди, просто посидеть, вспомнить тех деревенских ребятишек, о которых когда-то поведал нам Иван Сергеевич. Но такая жара, а намеченный путь я должен пройти... И вдруг на обочине, справа от меня я увидел маленькую серо-черную птаху с трясущимся хвостом. Надо же!словно та старая знакомая, встреченная мною в самом начале пути. Трясогузка вспорхнула и полетела в сторону Черни, в сторону Бежина луга. Если это не знак, то я тогда ничего не понимаю. Решено. Когда я пришел на Бежин луг, солнце стояло в зените. По пути мне попала афиша, приглашающая на праздник, который должен состояться на Бежином лугу в ближайшую

субботу. Праздник традиционный. В Черни гордятся им и, надо сказать, по праву. Знаю, что через три дня высокий правый берег Снежеди будет заполнен народом. Кто приедет сюда ради буфета, кто послушать русские песни в исполнении фольклорных ансамблей, кто посмотреть на столичных гостей - поэтов и прозаиков. Но все равно для каждого из них это будет праздник, саму атмосферу которого, негромкую и задумчивую, трудно передать словами. Но это будет только через три дня. А сегодня здесь тишина. Высоко в небе парит ястреб. Говорят, у хищных птиц прекрасное зрение. Интересно, а каким он видит меня, одиноко стоящего на зеленом поле? Маленькой точкой, несущей груз на спине? Скажите, у вас не было такого: неожиданно, словно какая-то волна нахлынет и кажется, что уже где-то, когда-то с вами все это уже происходило. Так случилось и со мной. Мне кажется, или на самом деле была такая изнуряющая жара, огромное поле, я, такой маленький, тихая речка в солнечных бликах. И еще эта птица, парящая в небе... Со мной часто случалось такое "узнавание". Обычно через минуту-другую это проходило. А сегодня, сейчас я был уверен, я чувствовал, что докопаюсь до истока. Все это уже было. Правда, почему нет лошадей? Маленького табунка, двух ребят погонщиков? Лошади с разбегу врезаются в водяные струи, брызги искрятся на солнце, солнце искрится в брызгах. Да ведь это было ровно год назад, день в день, 25 июня! Здесь же, на Тульской земле. Куликово поле. Место впадения Непрядвы в Дон. Другое поле, другой символ России. Символ силы духа, единения всех русичей перед врагом... Табун умчался, я лежал на речном берегу, а в расплавленной выси бесшумно парила птица. Я уже говорил, какая это мука горькая - искать дороги на стыках областей, районов, вдали от больших населенных пунктов. В деревне Дьяконово соглашались, что где-то есть деревня Меркулово, но как туда пройти... Поле. Кругом посева. Под ногами пыль в пятнадцать-двадцать сантиметров. Я иду, а за мною тянется облачко поднявшейся пыли. Встречаются островки зелени - пять-шесть деревьев, словно сбившихся от испуга в кучу. И еще зной. Фляжка моя пуста. Пыль лезет в нос, горло. Самое заветное желание - броситься в холодную воду и плескаться в ней до вечера, пока это убийственное солнце не скроется. Куда ни глянь - поле, поле, поле. Бескрайнее. Но даже там, где небо соединяется с землей, даже там ничего похожего на жилище человека. Ну где же ты, Меркулово? Все. Сил идти больше не было. Я шел, но сам не понимал, как я это делаю. Господи, а какой громоздкий у меня рюкзак! Не думал, что он такой тяжелый. Интересно, а когда я упаду в эту пыль... О чем это я? Да, если я упаду в эту пыль, то как буду падать - на спину или вниз лицом? Лучше на спину, когда будут подбирать тело, не так буду жалко выглядеть. Кстати, сколько я пролежу в этой глуши, неподнятый? Все, начинается что-то похожее на бред. Точно. А вот уже и мираж: я вижу маленький лесок, на его опушке озеро. Темная, тихая вода. Ветви ив склоняются к воде. Нет, это не мираж. И в правду, озеро! Прозрачная холодная вода сделала чудо. С каждым ударом сердца в тело вливаются силы. Раскаленное мое тело блаженствует. Позже узнал, что купался я в Арбузовом пруду. Где-то совсем рядом отсюда находилась деревенька, ныне не сохранившаяся. Жила в ней барыня. Имени ее, отчества не сохранилось в памяти, а фамилия, благодаря появившемуся по ее воле пруду, дошла до нас. Еще один повод поразмышлять о бренности человеческого существования, о памяти, какую мы оставляем после себя. Я ничего не узнаю о барыне Арбузовой: когда жила, в каком возрасте и при каких обстоятельствах отдала душу Господу, остались ли у нее потомки. Но не было бы ее, и просто не существовало б в природе этого чудесного оазиса посреди бескрайнего поля. И сколько людей найдут на берегах Арбузова пруда радость, возьмут от прохладных вод бодрости и новой силы. Я уснул под черемухами. Спал долго и крепко. А встал таким отдохнувшим, что ноги сами просились в дорогу, и самый дальний путь меня не страшил. Но до Меркулова оставалось идти совсем немного.

В деревне на ночлег я остановился в общежитии, сейчас совершенно пустом и нелюдимом, поскольку его постоянные обитатели - рабочие-шефы еще не приехали. Это было одноэтажное кирпичное здание, с длинным коридором, по обеим сторонам которого располагалось около восьми комнат. Коменданта общежития не было, помогла мне войти внутрь его жена, Тамара

Ильинична. Нашли мы с ней одну незапертую комнату. Я поблагодарил женщину и стал готовиться к ночлегу. Меня не смущал пустой панцирь типичной железной общежитской койки. Как-то не по себе было от голых стен, угрюмого коридора, шаги по которому раздавались так же глухо, как в каком-нибудь средневековом замке. Уж лучше бы заночевать в открытом поле, чем здесь, в большом здании, почему-то показавшемся мне склепом. К тому же смущали и огромные дыры в полу. Сон не приходил. Все известные мне способы борьбы с бессонницей я перепробовал, но все безрезультатно. Когда счет слонам и львам пошел на вторую тысячу, в коридоре гулким эхом разнеслась быстрая поступь чьих-то шагов. Вот ведь странность какая: и в лесу приходилось ночевать, и со зверьем встречался, а вроде страха не было. А здесь я вдруг до того напрягся, что даже испарина выступила на лбу. Все верно: больше всего в жизни нас пугает неизвестность. Добавим сюда наше воображение, соответствующую обстановку. Дверь открылась, и - передо мной стояла улыбающаяся Тамара Ильинична.

- А чего это вы в потемках сидите? - Неизвестного я решил встречать не лежа. Пришла домой и сообразила: человек небось не емши ляжет. Принесла вот кое-чего. "Кое-чего" оказалось чашкой холодца, пятком яиц, творогом, банкой молока, почти целым батоном хлеба. Вообще-то все это пришлось кстати. Покуда я ел, не уставая рассыпаться в похвалах очередному поедаемому продукту, она немного рассказала о своей родной деревне, о семье. Живут с мужем, дом огромный, хозяйство большое, а дочь живет в городе, ютится по общежитиям, а возвращаться в деревню не хочет. С другой стороны, куда возвращаться? Радиация здесь, говорят, большая. В цифрах Тамара Ильинична не очень разбирается, но что радиации много - это точно. Днем как подкатит вялость какая-то, усталость, - сил нет, так прилечь хочется. Не ляжешь - весь день больная ходить будешь. А поспишь часок - и вроде ничего. Может быть это от жары, спрашиваю я ее. Да нет, такое и зимой случается, с молодыми и старыми, здоровыми и больными. Я уже допивал последний глоток молока и мог меланхолично подумать о том, какую дозу я хватанул сегодня, сколько добавлю в ближайшие три дня, пока придется идти по зараженной местности. Пыль в поле, вода в Арбузовом пруду, вот эта вкусная еда - все это буквально пропитано радиацией. Ну да ладно, я уйду отсюда. А как же эта добрая женщина, эти люди, живущие в этой степи? За что им все это? Тамара Ильинична как-то устало махнула рукой после моих слов: "Да что уж поделаешь!" Я еще долго лежал на жесткой сетке кровати, глядя в потолок. Угрюмый коридор, крысиные дыры в полу - все это показалось таким детским и безобидным по сравнению с тем невидимым и страшным врагом, что поселился в этих Богом забытых степях.

26 июня. Дороги, которые нас выбирают.

Вся жизнь человеческая - стояние у развилки дорог. Так богатырь стоял когда-то, читая на камне вещие слова. Нам и труднее и легче, чем былинному Илье Муромцу. Труднее, потому что, сделав выбор, идем в неизвестность. Легче - по этой же причине. Ведь уходили-то мы с надеждой, что выбрали ту самую дорогу, которая приведет нас туда, где и "здорову быть", и веселым, и богатым. Где честным пирком да за свадебку. Где "костлявая" с косою ни в жизнь нас не отыщет... Я люблю, когда в пути встречаются развилки, когда не у кого спросить, куда идти дальше. Для меня развилка - философское объяснение судьбы человеческой. Есть свободный выбор, ты сам выбираешь, каким путем идти, но, тем не менее, мы придем туда, куда должны были прийти.

Из Меркулова мой путь лежит в сторону деревни Лучки, но какая-то сила останавливает. Не пойму, чем меня могла прельстить дорога, ведущая в райцентр? Латаный-перелатаный, и все равно худой асфальт, унылая равнина кругом, да и путь чуть ли не в двое длиннее становится. Однако же я сворачиваю на арсеньевскую дорогу. И уже пройдя под палящим солнцем с час, вспоминаю, что в поселке Арсеньево родился мой друг, институтский товарищ. Жизнь

раскидала нас. Ничего о нем толком не слышал. А год назад дошла до меня весть о его гибели. Мать-старушка похоронила единственного сына на родине. Кроме Андрея у нее никого в жизни не было. Говорили, что потеря сына просто убила ее. Она медленно умирала от неизлечимой болезни, все свое время проводя на дорогой могиле. Но до Арсеньева еще далеко, а дорога опять раздваивается. На указателе читаю, что в двух километрах от этого места находится усадьба, в которой родился композитор А.С. Даргомыжский. Вот вам и Богом забытая степь! Жуковский, Киреевские, Тургенев, Даргомыжский. А в километрах пятидесяти отсюда толстовская Ясная Поляна, столько же, но в другую сторону - Бунин, Успенский. Какая удивительно щедрая на таланты земля! Деревня Дорогомыжка еще в здравии, а вот от усадьбы ничего не осталось. Впрочем, не совсем так. Остались деревья, родник с удивительно вкусной водой.

Наверное, такой же осталась луговина, через которую бежит крохотная речушка, какой видел ее композитор. Самое главное, спустя десятилетия, на родине Даргомыжского вспомнили, кто был их земляком. На месте, где стоял дом, скромный постамент. В парке поставлены скамьи: мастера постарались, и к роднику теперь одно удовольствие подойти. Конечно, былого не вернешь, не возвратишь утерянное. И все же, и все же. Население Арсеньевского района невелико, в самом поселке не больше пяти тысяч человек проживает. Нет богатых предприятий, колхозов-миллионеров, а значит и денег нет. Но дорогу к усадьбе все-таки сделали, памятник композитору в поселке поставил. Опять-таки, и не это главное. Смотрю, - в траве этикетки от лимонада, фантики от конфет. Догадываюсь, что недавно здесь провели торжества, посвященные Александру Сергеевичу. И со всех окрестных деревень сюда устремились люди. Знаю, не только затем, чтобы попить пивка или купить что-нибудь вкусненькое. Да и какой праздник без этого? Приехали пообщаться, послушать народную музыку. Ведь как всем им не хватает в наше тяжкое, другого слова не хочу подбирать, время, общения. Не беда, что большинство никогда не слышали оперу "Русалка". Но люди, которые встречались мне по дороге, с гордостью говорили о Даргомыжском, они говорили, что он их земляк. А это означает, что их дети обязательно прослушают эту оперу. Прослушают и восхитятся, и снова придут сюда, на этот берег, где так и кажется, что там, за ивами, должна стоять старая мельница. Совсем неважно, что ее здесь никогда не было. Воспоминания детства, - самые сильные, самые незабываемые. Родные места, стоит их только посетить, с новой силой заставляют биться наши сердца, вновь оживают забытые запахи, звуки. Без сомненья, сочиняя свою бессмертную оперу, Даргомыжский мысленно возвращался в свои родные пенаты, вновь слышал песни, услышанные на этих берегах.

Но как странны порой ассоциации, вызванные нашими мыслями! Очень люблю "Русалку", но в этот момент поймал себя на том, что напеваю мелодию совсем другого композитора. Напеваю бессознательно, не вдумываясь, что, собственно, "мурлыкаю". Да это же дуэт из "Пиковой дамы" Чайковского.

Уж вечер.

Облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает,
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает.

Чуть позднее пришла разгадка. Ассоциация оказалась действительно сложной. Думал о Даргомыжском, о том, как родные места оказывают влияние на творчество, а гдето подсознательно вспомнился Белев, с когда-то ослепительно-прекрасной панорамой, которую я застал только на картине, вспомнилось когда-то прочитанное о том, как подъезжая к Белеву, Жуковский настолько был потрясен красотой родных мест, волшебным закатом над куполами белевских церквей и над берегами Оки, что уже на следующий день из-под его пера родились

эти прекрасные строки, вдохновившие, в свою очередь, уже другого гения - Петра Ильича Чайковского. В Арсеньеве я пришел только к вечеру. Откровенно говоря, поселок ничем не примечательный. Хотя, нет. Рядом с райкомом, наряду с традиционным памятником Ильичу, есть памятник Александру Сергеевичу Даргомыжскому. Кстати, единственный в стране. Удивительный мы, однако, народ. Совсем не хочу обидеть основателя СССР, но факт остается фактом: в какой райцентр, пусть самый захудалый не зайти, везде обязательно Ленин. Бедные скульпторы, они уже не знают, какую позу придать вождю. А вот великому русскому композитору в родной стране поставили только один памятник. Не в столице, а в пятидесяти тысячах поселке. В домах тем временем зажглись огни. Гостиницы в поселке не оказалось. Идти к матери Андрея не посмел - зачем беречь старую женщину раны? Вспомнил, что в Арсеньеве живет однокурсница моей сестренки. Преимущество маленького городка все друг друга знают. Уже через пятнадцать минут меня гостеприимно встречала большая дружная семья. Ахали, охали, накормили, напоили, угостили клубникой первого урожая, уложили спать. Но сон не приходил. На кухоньке, нашей, советской, где одному просторно, троим тесно, а двоим в самый раз - сидела бабушка. Младший внук, всеобщий любимец, но и сорванец приличный, наконец-то уснул, старшая внучка в комнате к экзаменам готовится, что ей мешать. Самое время поговорить по душам.

- А вы мне скажите, в Кузьменки не доводилось заходить? - обращается она ко мне.

- Из Белева в Арсеньеве это самый прямой путь.

- Кузьменки? Нет, Мария Ивановна, не довелось. Я по Оке шел, а потом на Меркулово.

- Вот оно как, а я думала, через Кузьменки.

- А вы оттуда родом?

- Нас здесь много, кузьменских. Деревня большая была до войны... Вот так, слово за слово, и начинается такой милый русскому сердцу душевный разговор на кухне, когда за окном темень, а чаю вдоволь. Старому человеку есть что рассказать, был бы слушатель. Моя же собеседница и сама умеет слушать. Но и рассказывать умеет. Давно, в свои семнадцать лет, мне казалось, что я все на свете знаю. В свои сегодняшние тридцать три не перестаю удивляться, сколько вокруг неизвестного, как много я не знаю и, видимо, никогда не узнаю. Бабушка вспоминает годы войны, и многое для меня - откровение.

- Немец в Кузьменках недолго был. Освободили нас быстро. Мне в ту пору семнадцать? Да, семнадцать стукнуло. Деревня большая. Молодежи много. Как-то собирают нас всех и говорят: так, мол, и так, собирайтесь на трудовой фронт, окопы рыть. Спрашиваем, где рыть будем? Отвечают нам, что работать будем в своем районе, Арсеньевском, то есть. Работой нас не запугаешь, работы мы не боялись. На дворе август был. Год какой? Сорок второй. Тепло. На станцию пришли налегке, в одних платьях, даже молока с собой не взяли. А зачем? Ведь в своем же районе. Завсегда прийти домой можно. Я даже боялась, что не возьмут, подруги уедут, а я останусь. А боялась вот почему. Когда немцы нашу деревню брали, то есть завоевывали, мы с парнем нашим, сельским, с полевой работы шли домой. А в карманах у нас билеты комсомольские - мы их всегда с собой носили. Смотрим, немцы идут. Нам рассказывали, что тех, у кого находят комсомольский или партийный билет - немцы расстреливают. Что делать? Берем свои билеты и рвем их на мелкие-мелкие кусочки, а затем бросаем в кусты. Но вроде бы все обошлось: немцы на нас внимания не обратили. Ну вот, а когда уже фашистов прогнали, вызывают нас в райком комсомола и показывают нам наши билеты. Все листочки между собой так аккуратно склеены, что хоть по-новому вручай. Стоим. Трясемся. Времена, сами знаете, какие. Но ничего. Пожурили, пожурили, да и отпустили с

миром домой.

Так вот. Опасалась я зря. Только вместо машин нас загнали в товарные вагоны и повезли куда-то. День едем, ночь. Приезжаем - поле. Говорят, Смоленская область. Мы в рев. Да что уже поделаешь? Так начались наши мучения. Жили в бараках за колючей проволокой. Паек давали один раз в три дня. Съедали его сразу. Ведь молодые, здоровые, да и наработаешься за день, что будь здоров. Немцы тоже в покое не оставляли. И бомбили, и листовки разбрасывали. Одну на всю жизнь запомнила: "Милые дамочки, не ройте ваши ямочки. Приедут наши таночки, заруют ваши ямочки".

Так доработали мы до зимы. А одежда-то на нас летняя. Просимся домой, хотя бы переодеться. Да какое там! И пришел бы нам всем конец, но есть на земле добрые люди. Мы, кузьменские, держались всегда кучкой. Как-то приходит к нам военный, офицер. Видный такой. И говорит: бегите отсюда, иначе конец вам. Мы ему говорим, что рады бы бежать, да не знаем куда. Узнав, откуда мы, он взял листок, начертил нам через какие деревни идти. Обязательно ночью идите, говорит, а днем отсыпайтесь. Так мы и поступили. Днем спали в стогах, ночью шли. С нами была пожилая женщина. Она предложила побираться по деревням. Мы сначала стеснялись, но кому с голода помирать охота? А в деревнях, сами знаете. Каково было. Однако нам повезло: люди хорошие попадались на пути. Кто картошки даст, кто хлеба. От себя отрывали, но нас жалели. Так и шли. Недели через три добрались до родной деревни. Двоих, правда, в поле оставили. Просыпаемся, а они уже холодные. Замерзли. А дома нас и не чаяли увидеть. Пришла домой, сняла чулки, а ноги черные. Обморозила. Отец привел друга своего, фельдшера, а тот говорит: резать надо, ноги-то. Я белугой реву. Как без ног жить? Он сжалился. Одной мазью помажу, объясняет он мне, завтра утром приду. Ежели чего-то там такого не будет, попробую полечить. Помазал. Утром пришел, посмотрел. Ну, девка, смеется, твое счастье. И стал меня лечить. Только строго-настрого приказал на солнце ноги целый год не показывать. И вылечил, спасибо ему. А родителям тех ребят, что остались лежать в копне сена, мы ничего не сказали. Мы даже не знали, как та деревня называется...

Поздний вечер незаметно переходит в ночь. Мирно стучат ходики. Долго смотрим в окно.

- Дождя бы, - говорит Мария Ивановна. - Картошка совсем пропадает.

- Это точно, - соглашаюсь я. - Без дождя беда. Ночью дождь так и не пошел.

27 июня. И однажды я ушел.

Раннее утро. Сельское кладбище. Могила Андрея. Черная мраморная плита. Его портрет. Когда подошел - вздрогнул. Как живой. Вспоминаю. Фотографировались перед вручением дипломов. Каким он стал через десять лет - теперь не узнаю. А в моей памяти он остался таким же, как на фотографии. Судьба. Поди, скажи, что ее нет. Жил так, как будто знал, что срок недолог. Очень русский характер. Типично русский. Добрый, но взбалмошный. Чистый и грешный. Удалой и расчетливый. Стремление вверх, падение вниз. Андрей. Его слова на прощание, когда уже полоса отчуждения легла между нами: "Ты много думаешь о жизни. Надо меньше о ней думать. Надо жить". И он жил. На всю катушку. Торопился. Будто знал, что не успеет. Будто знал. Удар ножа - нить оборвана. Вечный покой. Пусть земля будет тебе пухом, мой друг. И прости меня. Твою глупость принял за предательство. И не простил тогда. Прости меня сейчас. Если можешь... С тревогой смотрю на небо. Утренние тучки, обнадежив, словно испарились. Опять будет пекло. А мне, чтобы завтра попасть в Плавск, необходимо сегодня пройти километров тридцать. Возвращаться в Арсеньеве нет смысла - тогда все сорок набегит. Да еще по шоссе придется идти. Решено: пусть сегодня будет необычный день. Иду напрямиком. Через поля. Ровно на восток. Свобода - это право на выбор. Иду, - куда хочу, иду, - сколько хочу.

Понравилось место, приглянулось деревце - остановлюсь. Никто не скажет: быстрее, опоздаешь. Сегодня другой выбор - завтра до обеда попасть в Плавск. Это не прихоть. Чувствую, хотя не знаю, почему именно так чувствую, что если не успею до обеда не застану тех, кого хочу увидеть. На карте - несколько сантиметров, белый цвет с капелькой зеленого. Передо мной - поле без края. Хотя край есть, и я спешу туда. Азарт гонки. Только на восток. Деревни, овраги, нивы, речушки, опять деревни, нивы... Калейдоскоп названий, лиц. Пьяный мужик, бьющий себя в грудь: "Я моряк! Мне здесь тесно. Тесно! Возьми меня с собой, друг!" - это Сычевка. Словно сошедшая с картины Пуссена - Дубрава. Теленок с прекрасными глазами, доверчивый и одинокий - Железница. Здесь же - кавказский малыш на трехколесном велосипеде: "Меня зовут Вова". Здесь же - пустые дома, злая собака, старуха, долго смотревшая мне вслед.

Не знаю, когда ко мне впервые пришло это чувство. Сколько себя помню, живу с ним. Горечь: сколько в мире городов, деревень, где я никогда, никогда не буду. Сколько лиц, которых я никогда не увижу. Какое страшное слово. Вот сейчас я его преодолеваю. Мы уже встретились. Мы пересеклись. С бывшим матросом из Сычевки я сказал, что ему не поможет путешествие, когда в груди тесно. С удивительно тихой и трогательно задумчивой Дубравой - я подремал под ее кудрявыми деревьями. С теленком - я говорил ему что-то глупое, нежное, а он лизал мне руку своим шершавым языком. С этим мальчуганом, старухой. И уже нет этого безысходного никогда.

И еще одно, грозное, перед чем я бессилен, всегда жило во мне. В детстве я уходил на окраину своего маленького городка и часами смотрел на полоску леса на дальнем горизонте. Меня что-то тянуло туда, манило. Будто там - настоящее, а здесь - временное. Там - небесное, здесь - земное. И однажды я ушел. К тому лесу. Шел долго, шел в какой-то полупьяной радости. Когда пришел, увидел обыкновенный лес, обыкновенное поле. И - новый горизонт. Еще одна полоска другого, дальнего леса. И вот так с тех пор - всю жизнь. Почти весь год я нормальный, обыкновенный человек. Живу. Радуюсь и плачу. Мечтаю быть лучше - и грешу. Но раз в году эти две силы - горечь (Александр Грин называл это зовом несбывшегося) и сладкая тоска по небу, по горизонту, что вдаль - заставляют меня бросать все, и я ухожу, не в силах противостоять им.

Сегодня был удивительный закат. Я входил в Юсупово. Не буду рассказывать, как приютили меня в общежитии, как всю ночь за стеной пили, пели, танцевали, любили. Уже утром я об этом забуду. А вот закат забыть невозможно. Огромный огненный шар садился за край земли, туда, где я был утром. Я устало брел вверх по бесконечному склону и думал о том, что сил у меня больше нет. Под ногами, как всегда справа что-то пискнуло. Трясогузка. Моя старая знакомая. Огненный шар за спиной покатился вниз. Восток был темен, запад пылал. Сразу же подул ветерок. С каждым дуновением в меня вливались новые силы. Впереди показалось Юсупово.

28 июня. Бабочки.

Не хочу лишний раз копаться в собственном подсознании, но факт остается фактом: оказалось, что я действительно должен был спешить в Плавск. К счастью, я успел. Но до Плавска еще предстояло пройти. По раскаленной от солнца серой ленте шоссе. С постоянным искушением сесть в попутку. Их в этот день останавливалось очень много. Вообще-то я, попадая в тот или иной район, в ту или иную область, имею привычку, наверное, дурную, судить о душевных качествах местного населения по тому, как часто передо мной, путником, останавливаются проезжающие машины. Ведь я не голосую, и если водитель притормаживает - он добрый, отзывчивый человек. И в этом меня никто не переубедит. В Плавском районе, судя по первым дорожным часам, много хороших людей.

Две бабочки-капустницы весело порхают впереди меня. Одна догоняет другую. Они то взмывают вверх, то подлетают почти к самой земле. На меня они не обращают никакого внимания. Сейчас я и впрямь верю, что миром правит Любовь. О ней говорил Христос, о ней сейчас кричали всему миру два этих крошечных существа. Они ликовали, кружась в каком-то немислимом вихре. Их любовь продлится мгновение, но не покажется ли оно им вечностью? Не миг ли - наша земная жизнь в бесконечном потоке мироздания?

Молоковоз с шумом промчался мимо меня, оставляя за собой легкое облачко пыли. Когда пыль рассеялась, на асфальте лежала одна из бабочек. Лежала на боку, сложив крылышки. Они два раза встрепенулись и затихли. Теперь ими будет играть только ветер. Вторая бабочка подлетела к первой, покружила подле нее, не рискуя присесть на асфальт, затем резко взлетела и исчезла в бело-голубой вышине. Молоковоз был уже далеко. И ни он, ни тот, кто был за его рулем, так никогда и не узнают, что только что они совершили великое преступление. Они убили живое существо. А с ним умерла любовь. Я взял на руки мертвую бабочку. Только что она переживала апофеоз жизни, сейчас в моих руках - безжизненный светло-зеленый листок. Я перенес ее с асфальта в придорожную траву. Пора было идти дальше. На ум пришли строки из Бальмонта:

Если умру я, и спросят меня:

"В чем твое доброе дело?"

Молвлю я:

"Мысль моя майского дня

Бабочке зла не хотела".

Упорно всматриваюсь вдаль, но Плавка все не видно. Вскоре становится ясно, почему. Город лежит в низине, на берегу реки Плавы. Отсюда его название. Хотя до семнадцатого года все, кто ехал на юг, на Харьков, Симферополь из Москвы проезжали большое торговое село Сергиевское. До сих пор сохранились старые торговые ряды. Несколько поколений краеведов бьются за их сохранение. И несколько поколений местных властей равнодушно наблюдают за медленной гибелью торговых рядов, которые и в существующем состоянии - украшение города. Написал равнодушно, хотя ни с кем из власть предержащих не общался. Но если гибнет что-то дорогое, близкое, равнодушию откуда взяться? Еще был знаменит Плавск в старину своими певчими. О них уважительно отзывался Тургенев. И сейчас город, как и сто лет назад, пересекает шоссе Москва-Харьков. Сотни машин снуют взад и вперед, делая зной просто нестерпимым. Если добавить сюда низинное положение города... Я вообще сочувствую городам, чьи кварталы пересекаются автомагистралями. Я шел по обочине, то есть городскому тротуару одной из них и уже с трудом верил, что два часа назад я шел по пустынной дороге вслед двум порхающим капустницам. Но сейчас я спешил на встречу с моими друзьями. А если точнее, на встречу с моей юностью. И все было замечательно. И все было хорошо. Они уезжали, у них оставалось несколько часов, и как здорово, что я успел вовремя.

Только странное чувство после встречи. Как после празднования Нового года. Ждешь праздника, встречаешь его, веселишься с друзьями у елки. Хрустит снег под ногами, на фоне темного неба еще праздничные огни. Наступает рассвет. Серый, холодный. И одинокий. И как-то безнадежно пуста душа. И думаешь о том, как это хорошо, что следующий Новый год придет только через год.

29 июня. Дом у дороги окнами в поле.

Сегодня мне предстоит повторение первого пути. Вновь пойду по железной дороге. Если все будет нормально, к вечеру приду в Лазарево - большой поселок на железной дороге. От Лазарева уже рукой подать до моего родного Киреевского района. В поселке живет еще одна

сокурсницамоей сестренки - Наташа. Есть люди, к которым тебя тянет. И не только тебя. У них какой-то магнит и невозможно ему противостоять. Наташа к тому же очень похожа на мою маму в молодости. Мне кажется, что у нее такой же характер, как был у моей матери, какой осталась сейчас. Почему-то верю, что дом Наташи окажет мне гостеприимство. Если честно, то мне уже хочется хотя бы проснуться в нормальной семейной обстановке, смыть грязь и пыль дороги. А там можно будет идти дальше. Иду не торопясь. Доедаю на ходу соломку, купленную еще в Белеве. Куда торопиться? До Лазарева всего двадцать километров. Ох уж это мое мажорное утреннее настроение. Но проходит час, другой, третий, и ты уже с тоской смотришь в левую сторону : ну когда же очередной километровой столбик? Вроде бы выполняю все заветы мудрых людей: съедена посыпанная солью краюха хлеба, стараюсь пить воду только по утрам и вечерам, но все равно от пота нет спасения. Вот моя кепка. Когда-то она была бело-коричневая. Несколько раз вытер ею лицо. Теперь о том, что фуражка имела белый цвет, можно только догадываться. Вдруг слышу: плач. Сначала подумал, что показалось. Но нет. Детский плач. Он все слышнее. Сидит в стороне полотна мальчишка лет десяти-двенадцати. На плечах небольшой рюкзачок. Синие шорты. Маечка с каким-то "маусом". Увидел меня, перестал на мгновение всхлипывать.

- Дяденька, я заблудился!

- Веселая история.

- Веселая ... - опять заревел.

- Да ты уж большой, чтоб так белугой реветь.

- Я уже их час ищу. Они, наверное, меня. Что мне делать? Оказалось, что их человек десять. Туристы. Юные. Вышли из Тулы. Идут вдоль полотна. Шли три дня. Сегодня четвертый. Как обычно, пошли искать, где встать лагерем. Он приотстал с Серегой. Все делал, как надо. Слышал их голоса. Сам кричал. Зачем отстал? Земляника попалась, целая полянка. А потом кричал, а никто не откликался.

Все ясно. А парень смотрит на меня со все крепнущей надеждой в глазах. Лихорадочно соображаю, что делать. Конечный их пункт - станция Агролес. Это назад километра три. Только что я был там и никого там не видел. Впереди Сумароково, но они его уже проходили. На месте их руководителя что бы сделал я? Вернулся в Сумароково, оно недалеко. Пожалуй так.

- Слушай, - говорю притихшему мальчугану. - Тебя, кстати, как зовут?

- Вовка, Вова.

- Слушай, Вовка. Мне кажется, я знаю, что делать. Только ты мне скажи: неужели ты их час ищешь?

- Может, поменьше.

- Громадного леса здесь нет, верно?

- Верно.

- Ты и сам сообразил, не стал по рощам бегать, а вышел на железку. Сейчас пойдем на Сумароково. Оттуда опять в Агролес. И не может быть, чтобы мы их не нашли. Только чур: больше не хлюпать. Мы идем в Сумароково.

- Вон туда мы пошли, - показал Вова на едва приметную тропинку, уходящую в кусты.

Ясно. Парень кружил на одном месте, боясь далеко от него отойти, инстинктивно чувствуя, что это последняя ниточка, связывающая его сущестми. Вероятно, если бы парень не запаниковал, он бы их быстро нашел. А так забегал, засуеился и вот результат.

В Сумароково у колодца сидело двое ребят одного возраста с моим спутником. Тот вырвался из моей руки.

- Серега! Витька! Те увидели его, обрадовались не меньше, но чувство незаслуженно перенесенного переживания быстро пересилило:

- Козел! - заорали оба дуэтом. - Где ты шляешься, козел! Мы тебя знаешь сколько ищем? Наши обе стороны прочесывают. Козел, вот ты кто! Мой новый друг не оправдывался. Мне вообще показалось, что более счастливого "козла" я не встречал.

Мне нужно было идти дальше. Я оставил их выяснять отношения, искренне радуясь такому благополучному и быстрому исходу. Через минуту я услышал голос за спиной:

- Дяденька! Дяденька, постойте! - Вовка мчался ко мне во весь опор. - Спасибо! Произнес он отдышавшись. Затем взял мою руку и что-то вложил в нее. - Это вам. И помчался назад, к своим сердитым друзьям. У меня в руке лежал маленький значок. На красном фоне золотой самовар. И надпись: "Тула". Спасибо тебе, Вовка. Кто ехал на юг или в Москву по этой ветке, вряд ли обращал внимание на Лазарево, а тем более на подстанцию на самой окраине поселка. Меньше минуты - и состав умчится дальше. Но не всегда скорость, быстрота, торопливость - это благо. Домику подстанции стоит того, чтобы о нем рассказать. Сегодня у Владимира Ивановича и Ларисы Васильевны Аксеновых праздник - съехались все дети, внуки, прочая родня. А праздников сколько! Сегодня крестили внучку, дочь Наташа сдала последний экзамен. Я боялся стать гостем на чужом пиру. Но боялся зря. Удивительная семья. У меня сразу возникло такое чувство, что самый желанный здесь гость - я, человек, которого они видели первый раз и которого больше вряд ли увидят. Традиционные вопросы. Присматриваюсь. Старший сын - копия мамы. Наташа - вылитый отец. Они меня ведут на подстанцию. Принимаю душ. Затем хожу по залам, полными какой-то аппаратуры. В технике я полнейший профан, понимаю, что все это и сложно и опасно. Куда ни глянь - кругом сплошное напряжение. Здесь работают супруги Аксеновы. Работа не простая, ответственная, случись что все движение на дороге станет. Многие из того, что мне показалось верхом технического совершенства - работает на честном слове, да еще на энтузиазме таких людей. Они из того поколения, чье детство пришлось на военное лихолетье. А поэтому без работы жить не могут. Вот и тянут воз, как говорит их дочь. А воз и впрямь большой. По штатному расписанию здесь должно трудиться не менее четырнадцати человек. Не менее. Работают двое. Казалось бы, справляются, так платите им не их буквально нищенскую зарплату, а что полагалось платить если не десятерым, так хотя бы шестерым. Но ведь у нас всегда так: кто тянет на себе, пусть тянет дальше. А премия за экономию зарплаты - так вон сколько народу в управлении сидит...

- До пенсии доработаю и все. Устал, - говорит мне хозяин. - Если рассказать, как работаю, как вертеться приходится, не поверите. Я верю. Да и как не поверишь, если это реалии нашей жизни. Одни работают на постоянной угрозе инфаркта, другие плотно забивают конторы и правления, находя время и для чая, и для кроссвордов. И те и другие говорят, что работать трудно нет в стране хозяина.

Возвращаемся в дом. Шумный вечер в гостеприимном доме проходит незаметно. Пора спать. Завтра всем рано вставать. Кроме двухлетней Машеньки. Она весь вечер в центре внимания и

потому в конце концов раскапризничалась. Ложусь в постель и беру наугад книгу из шкафа. Роковая моя ошибка. Это книга об удалом молодце стрельце Леониде Филатове. И я забыл обо всем. Когда закрыл последнюю страницу, за окном уже начиналось новое утро. Запел петух. И я уснул, как мертвый.

30 июня. Возвращение домой.

Маленькая тропинка, уходя от гостеприимного дома Аксеновых, пряталась в желтеющей ниве, поднималась на косогор, откуда открывались неоглядные дали, перебежала асфальтовую дорогу, петляла между колхозных хозяйственных построек. Подчиняясь ее ритму и графике, я благополучно дошел до деревни Ржаво. Видимо, когда-то живописная, ныне Ржаво поражала обилием недостроенных коровников, толстым слоем пыли и огромными лужами, которые умудрились даже остаться после недели очень жаркой погоды. Я решил здесь не задерживаться, благо еще пути предстояло много, но на самой окраине меня привлек маленький зеленый оазис старые липы явно скрашивали этот пейзаж. Калитка в заборе открылась и передо мною предстал сухощавый невысокого роста мужчина, лет так под пятьдесят, с внимательными и очень серьезными глазами. А вскоре я вовсе не без опаски заходил во владения Николая Ивановича, пасечника и поэта. Пишу это без иронии, ибо поэт - это не тот, который живет на деньги, полученные от продажи своих стихов, а кто жить не мог бы, если бы на свете не было бы стихов. Чужих и своих. А еще Николай Иванович - философ. Я вообще замечая, что большинство встреченных мною пасечников - немного философы. То ли одиночество на фоне природы располагает к этому, то ли что еще. Мой новый знакомый явно обрадовался случайно заглянувшему в его безлюдные владения путнику. Предложил попить чайку. Я с удовольствием согласился, наизусть зная ту церемонию, которая за этим последует. Ибо и здесь российские пасечники между собой схожи. Закоптелый чайник, янтарные ломти свежего сотового меда, душистый настой зверобоя, прохладная постройка, защищающая от солнца и пчел. Как говаривал герой детской сказки: это просто праздник какой-то. И как приятен неспешный разговор за таким чаепитием, с каким удовольствием вы не спешите высказаться, а слушаете своего собеседника. Ни суеты, ни спешки. Ни доли самолюбования, хвастовства. Чувствуешь себя седым аксакалом, которого уважают, и который уважает другого, напротив сидящего человека. Мы важно говорим о том, как полезны травы, отдаем дань меду, оцениваем виды на урожай. Сетуем, что в городах люди лишены всего этого. Постепенно переходим к более философским вопросам. Говорим о Боге. Душе, бессмертии, добре, зле. И чем больше совпадают наши мысли, тем радостнее от этого нам обоим.

- Мне говорят, что души нет, - голос Николая Ивановича тих и чуть глуховат, но как говорят французы: "Голоса всегда хватит, чтобы быть услышанным". - Я раньше верил этому, как и многому другому. Но, поверьте. Сама жизнь доказывала мне обратное. Позвольте, я несколько слов о себе скажу, чтобы понятнее стало. Нас у матери десять детей было. Я восьмой, родился в сорок третьем. Понимаете, ну, в общем... Отцом моим немец был. Когда отец моих братьев и сестер с войны пришел, а ему, конечно же, все успели сказать. Он первым делом меня на руки взял, уже двухлетнего. Поверите, поцеловал и сказал: "Ты тоже мой, Колюха". Умер он, правда, через два года, и самым близким человеком для меня, кроме матери. Стал старший брат. Он и отцом мне был, и братом. И другом. Мы все разлетелись, когда выросли, кто куда, а он в деревне остался. И вот однажды ночью, часов в двенадцать, просыпаюсь почему-то. Сердце лупит, болит и как-то нехорошо, как будто кошки по груди скребут. И чудится мне, будто Иван, брат мой, зовет, прощается. Так и стоит перед глазами. Еле утра дождался. Сразу в деревню поехал. А Ваня уже мертвый. Умер, мне сказали, в полночь. Вот скажите, как я мог смерть его почувствовать, если между нами пятьсот верст расстояния? Какой материализм это все объяснит, какой рефлекс? Душа его меня звала. Прощалась душа. Он замолкает, видимо, заново прокручивая недавнюю утрату. Его искренность трогает меня, хочется отплатить ему

тем же. И в моей жизни случались события, рассказ о которых я с полным правом мог закончить: душа. Говорим о снах. Удивляясь себе, рассказываю Николаю Ивановичу то, что не сказал близким людям. Как когда-то дал обет совершить пешее путешествие от могилы дедушки, маминогo отца. У него было много внучек, а внук, то бишь я, - один. Он болел тогда, и, прислоняясь колючей щекой к моей, просил: "Хоть к моим ногам холодным приезжай". "Что ты, дед, мы еще с тобой дадим маху", - отвечал я бодро. Дедушка Миша умер, а я больше десяти лет даже не удосужился съездить на его могилку. И вот в прошлом году я и дал обет: пройти от тихого сельского кладбища в самой глухомани Тамбовской области до Москвы. За месяц до путешествия я разболелся в очередной раз. Замучили перебои в сердце. Я был в отчаянии. В больницу идти не хотелось знал, что положат надолго. И снится мне ночью сон. Идем мы с дедушкой Мишей по деревенской улице, он показывает мне дома, рассказывает, кто там жил, кто чем был известен. Вдруг перед нами вырастает кирпичная стена. Он легко "переплывает" через нее. Зовет меня. Пытаюсь перелезть. Срываюсь. Сердце бешено стучит, захлебываясь от перебоев.

- Не могу, дед. Сердце.

- Что сердце?

- Его же оперировали.

- Держись, - он протягивает руку.

Я хватаюсь за руку и легко перемахиваю через высокую стену. Он прощается со мной, показывая на дорогу: "Вот твой путь. Иди". Обычно я забываю сны, этот же запомнился до мельчайшей подробности. Утром перебоев не было. Сердце работало спокойно и уверенно. Только щемило что-то... Жаль, но пора уходить. Путь не близкий. Мы прощаемся. От меда отказываюсь: куда я его в такую жару дену? И вскоре только верхушки вековых деревьев можно было разглядеть за спиной.

Часа через два подошел к Уперте. За рекой мой родной Киреевский район. Но туда надо еще попасть. Ищу брод. А зной становится даже не злым, - беспощадным. Знаю, что брод есть, но где? Под ногами - болотце, сверху жжет. Нет силы поднять голову. Плетусь понуро, время от времени с надеждой бросая взгляд на манящие речные струи. Где же ты, брод? После часа отчаянных поисков, когда уже я отчаялся перейти этот Рубикон, кусты расступились, и я вышел на каменистый берег. Переношу рюкзак на другую сторону, раздеваюсь догола и бросаюсь в прохладу реки. Неизъяснимое блаженство! Раскинуты руки и ноги. Животом почти касаюсь дна. Не сопротивляюсь, только побольше набираю воздуха. Течение несет меня сквозь валуны, плывущие листья ивы, блики, радужные соцветия. Вот уже дно все дальше, вода все холоднее. Полет. Невесомость. Пытаюсь встать на ноги и доплыть до первоначального места. Яростно гребу руками, а река относит меня дальше и дальше. Приходится идти. Струи ударяют в грудь, живот. Кажется, будто река шумит мне: плывем, плывем, не сопротивляйся, глупый. Дохожу до места и все повторяю с начала. Полет, невесомость, бездна, мрак. Опять солнце, опять мрак. Стрекозы, небо, солнце. Боже, как прекрасен мир! Да здравствует зной, - как бы я узнал, что так прекрасна прохлада реки. Да здравствует путь - утомительный и трудный - разве бы я почувствовал, какое это наслаждение - просто лежать, без мыслей, без желаний. Да здравствуют странствия, - мог бы я узнать, какое это счастье, возвращаться в родной дом. Завтра я приду в город, где родился. Пройдусь по его тихим улочкам, улыбнусь каждому дереву, поздороваюсь с каждым домом - они меня помнят и любят, как помню и люблю их я. Затем уйду за город, в ближайшее село, где стоит домик у озера, где я прожил свои лучшие десять лет и где живут сейчас мои отец и мать...

А почему завтра? По крайней мере, до Киреевска я могу добраться сегодня. Набегают тогда верст около сорока. Ну и что? Дойду! И столько силы я чувствовал в себе, что был в этом уверен: родная земля, она ведь силы дает. Сразу от реки - двухкилометровый подъем до деревни Уткино. Его я одолел одним махом. Крутицы, Луневка, Майское... Когда-то я работал в районной газете, и судьба частенько заносила меня в эти края. Вряд ли кто помнит. Но странно. Один кивнул головой, второй. А третий: "Что-то давно статей ваших не видно". "Да уже с пять лет, как я уехал из Киреевска". "А будто вчера с Сан Санычем Асановым к нам приезжали. Как он, здоров?". "Надеюсь, что да". Но я спешу, спешу. Незаметно село солнце. В деревнях опустели улицы. До Киреевска десять километров, время без четверти полночь. Ноги уже идут как-то сами, автоматически. Все. Больше ни шагу сделать не могу. Отчаянье. Прошу у Него: "Господи, я, глупый, обещал всю дорогу идти только пешком. Теперь я понял: нельзя ничего обещать, даже себе. Не будет ничего страшного, если я хоть немного проеду? Сделай так, Господи, чтобы я сегодня ночевал в родном доме, а не умер на дороге"... А клапан мой искусственный все сильнее бьет по грудной клетке... Ночь. Тишина. Поднимаюсь. Не сидеть же на голой земле. Надо идти дальше, хоть ползком. Откуда в такую пору здесь транспорт? Вдруг яркий свет прорезал бездонную темень. Незамеченная мною, остановившаяся легковая машина.

- Припозднились вы, однако, - молодой парень распахивает дверцу... Вышел я в километре от города. Немножко досадно было, что не выдержал, но когда увидел двухэтажный дом, старый вяз под окнами - и обо всем забыл. Я шел по родной улочке, только бродячая собака встречала меня. Подошла, виляя хвостом. Достая горбушку хлеба, она понюхала и разочарованно подняла на меня голову.

- Прости, больше ничего нет.

Она пристально посмотрела на меня: не вру? Вздохнула: что, мол, с тобой, брат, делать - взяла в зубы хлеб и легла на место. Деревянные ступени скрипят. Дверь, как всегда, открывается с трудом. Моих никого нет, все на даче. Кладу рюкзак, снимаю кроссовки. Больше я ничего не помню.

1 июля. Покровская гора.

Проснулся я в полдень. Оказалось, что лежу на белом покрывале в полной амуниции. От носков на полу след - песок, земля и еще невесть что. У соседей внизу плачет ребенок, у соседей справа играет музыка. Все как всегда. Солнце, еще вчера грозившее сжечь меня, ласково улыбается сквозь оконные шторы. Смотрит в окно груша. Теперь окончательно вижу - я в родном доме. Но сегодня в нем никого нет, а радость которую не с кем разделить - не радость. Пора идти. Через час я приду туда, где меня ждут. Положа руку на сердце: разве много таких мест на земле? Чего же я дрыхну?

О Киреевске могу говорить бесконечно: каждое окно, каждый дом для меня - готовая история. Я уже не говорю о его жителях - близких и дорогих мне людях. Но спорить не буду: Киреевск - город в общем-то заурядный. До войны это маленький рабочий поселок, населенный в основном шахтерами. В пятидесятые поселок стал быстро расти. Открывались новые шахты. Работать на них, добровольно или по принуждению, приезжали украинцы с Донбасса, крымские татары, поволжские немцы. Тихий, зеленый и уютный, он стал добрым домом для приехавших сюда их детей и внуков. Киреевску повезло и в том отношении, что в отличие от своих соседей, Новомосковска, Шекино - он был обделен вниманием большой химии. И хотя промышленных предприятий появилось с тех пор немало, воздух еще чист, чего, к сожалению, не скажешь о реке Олень, протекающей по городу.

Гораздо интереснее судьба села Дедилово, расположенного в часе ходьбы от райцентра, судьба, в которой было все - взлеты и падения, слава и забвение. И пусть впервые упоминается город Дедославль одновременно с Москвой, судя по названию - его рождение скрыто в непроглядной тьме веков. Древний город стоял на Покровской горе, окруженный могучими дубовыми лесами. Это был родовой центр могучего племени вятичей. В тринадцатом веке Дедославль постигла судьба многих древнерусских городов - его разорили и сожгли татары. Позднее город Дедилов наряду с Тулой, - важнейшая крепость на южных рубежах Московии. Сколько раз горели его деревянные стены, сколько раз уводили в полон его жителей, и сколько раз город восставал из пепла, из небытия! В те героические годы воеводами в Дедилово были предки Тургенева и Пушкина, отсюда пошел род Голицыных. Но когда границы русского государства отодвинулись на юг, город утратил свое оборонное значение. Открытие в окрестностях Дедилова залежей железной руды способствовало новому расцвету города. Тульские оружейные заводы работали на дедиловской руде. Славилась и местные мастеровые. Когда Петр занялся постройкой российского флота, он своим указом повелел переселить из Дедилова в Воронеж четыреста семей. Но шло время. В стороне от этих мест пролегли железные дороги, выработалась руда, и город Дедилов стал обыкновенным, русским селом. Большим, - одних домов больше тысячи, на все-таки селом. Сюда забросила меня судьба одиннадцать лет назад, учителем истории в местную школу. Я считал себя тогда хозяином своей судьбы и был уверен, что как ни нравится мне здесь, как ни прикипел я к своим мальчишкам и девчонкам, через три года ноги моей не будет в этой деревне. Дедилово протянулось вдоль трассы на восемь километров, и когда автобус вез меня на работу, как раздражал этот длинный, временами казалось - бесконечный ряд домов, особенно когда дорога раскисала от дождя. Так вот, я действительно ушел с работы - через два года, предварительно оставшись в этом селе жить. И чтобы случилось такое, потребовалось однажды сойти с дороги и уйти в сторону. И здесь я впервые в своей жизни, тогда еще очень атеистической, встретился в необъяснимым. Вначале был сон. Мне снилось, что я иду мимо большого карьера. Тропинка ведет меня лесом, приводит к двум домикам. Я не останавливаясь, продолжаю путь. Передо мной горка, или большой холм. Поднимаюсь. Озеро. Небольшие дома вокруг него. Кусты сирени... Признаюсь, на сон я не обратил тогда внимания. Но где-то через полгода, в один из майских дней, когда в моем расписании оказалось "окно", а сидеть два часа в школе в такую погоду не хотелось, я решил немного пройтись. Когда шел мимо большого песчаного карьера, еще ни о чем не вспомнил. Но вот луг, два домика у стежки. Мне уже стало интересно. Тропинка повела наверх. Покровская гора - свидетельница стольких событий, - в тот памятный день ее покой нарушал только отчаянно ревущий бычок, пасущийся на майской траве. А вот и озеро. Шестьсемь домиков на его берегах. Я остановился в нерешительности. Кто-то окликнул меня, и я узнал своего ученика. Поинтересовался, почему он не в школе. Оказалось, умерла бабушка и они перевозят оставшиеся от нее вещи. Дом будут продавать. Рядом с крыльцом буйно цвела сирень... Домик я купил. Он был совсем маленький, с крохотными оконцами, как-то уютно смотревшими на окружающий мир, с немного покосившимися стенами. Прошло немного времени, и дом стал для меня родным. Именно тогда я понял, как это замечательно - жить в своем доме. Сажать липы, жасмин, черемуху, ухаживать за цветами. Вечером уходить к озеру, туда, где на самом высоком месте стояла когда-то церковь, а теперь одиноко высились развалины, сидеть там и смотреть на бездомное звездное небо над головой, слушать, как шелестят травы под древними могильниками и почти физически ощущать исходившую от каждого метра Покровской горы непонятную мне энергию, вселяющую не бодрость, а покой и силу. Прошли годы. На Покровке все остается по-прежнему. Разве что озеро почти совсем пересохло. И всегда, когда уходят силы, когда одолевают заботы или несчастья, я спешу сюда, не мою гору... Пусть даже с мыслях. Незаметно для себя я вошел в село. До Покровской горы было еще далеко, но я уже видел ее, возвышающуюся над окрестным миром. Видел свой дом, свой сад. Мимо с шумом мчались машины, автобусы, мотоциклы. Мир был полон бесчисленным количеством самых разных звуков. И тем прекраснее, тем чудодейственнее оказалась для меня

покровская тишина. Стою, пытаюсь отдышаться. На меня удивленно смотрит жеребенок, совсем еще крохотный. У него одного хватает сил в такую жару гоняться по лужайке. Все остальные - его мама, три теленка и белая коза легли, понуро пожевывая траву. Я протянул руку. Малыш отпрыгнул, но не убежал. На душе стало так хорошо, что я невольно засмеялся. Играй, малыш! Вот и мой дом. Открываю калитку. Меня убеждали.

4 июля. В гостях у дядюшки Тао.

Только на четвертый день достало мне сил идти дальше. Но это не означает, что уходил я с легким сердцем. Веселых расставаний не бывает. А когда видишь, как за зеленью деревьев поблескивает только верх крыши твоего дома, словно камень опускается на грудь. Приветный летний день, легкомысленная тропинка, то безрассудно ныряющая в овраг, то упрямо карабкающаяся по склону, разноголосица невидимых мне существ в луговом разнотравии - ничто не радует и не может отвлечь от грустных мыслей. А людей я встретить и не чаял, поскольку пошел самыми короткими путями, через поля и рощи. Однако я ошибался. Вскоре я увидел пожилую женщину. Старушка собирала лекарственные травы, у ног ее крутилась маленькая собачонка, которая и оповестила свою хозяйку, что кто-то идет. Мне трудно было на вид определить, сколько лет собирательнице трав: деревенский люд, как правило, выглядит старше своего возраста. Морщинистое лицо, морщинистые руки. Но передвигается легко, даже быстро для своих лет. Мы поздоровались. Я уже собирался идти дальше, но, видимо, мне суждено было оставить в своей памяти женщину. А, точнее, ее рассказ, который услышал от нее. Сейчас мне уже и не вспомнить, что она спросила у меня, что я ей ответил, как так получилось, что мы заговорили о Святителе Николае Угоднике, как называют в наших деревнях одного из самых почитаемых православных святых. Моя новая знакомая вдруг произнесла фразу, которая заставила меня забыть, куда я шел.

- Да если бы не он, меня давно уже не было на свете.

- Кто это - он?

- Знамо, Николай Угодник, кто же еще? Я бы рассказала, только вот не знаю, поверишь ли ты мне, милый? Молодые ведь в это не верят.

- Так вы расскажите. В жизни каких только чудес не бывает, почему же я не поверю?

Женщина неспеша отложила в сторону пук травы, отерла о передник руки, будто собиралась взять у почтальона письмо, и начала рассказ.

- После войны муж мой пришел домой живой, но весь израненный. Года три промучился да и помер. И оставил он мне четверых ребятишек мал мала меньше. Похоронила я его, отплакала свое и что мне делать - не знаю. В доме не то что хлебушка - картофелины нет. Чем мне ораву мою кормить? А тут от слез или еще от чего, только отнялись у меня руки и ноги. Лежу и прошу у Господа, чтобы он прибрал меня к себе. Сколько же можно мучиться? Всю войну в колхозе заместо лошади на себе пахала, а теперь и рада пахать, да не могу. Даже воды себе принести не в силах. Лежу я, думаю о смерти, что бы она скорее приходила, вдруг дверь открывается и заходит старичок. Какой-то весь легкий, светленький. Бородка у него такая беленькая была, а волосики не голове реденькие. Это уже я после его внешность вспомнила, а тогда он только вошел, перекрестился и сразу с порога мне говорит:

- Здравствуй, хозяйшка. Водички испить не дашь? Уж больно долго иду я. - Голос у него ласковый такой, смотрит приветливо.

- Ох, мил человек, - отвечаю, - возьми там, в ведре. Я не могу тебе подать воды, уж прости меня.

- Али заболела? - участливо так спросил, и я ему все рассказала. Рассказываю, а сама слезами обливаюсь. А он мне тихо-тихо:

- Поплачь, поплачь, милая. Слезы в души скорбь снимают. Вот увидишь. Господь не оставит тебя, все будет хорошо. И ноженьки твои отойдут, и рученьки, детишек не ноги поставишь, не сомневайся.

Потом он попил воды, поблагодарил и как-то быстро ушел, что я не успела спросить, кто он, откуда. А только ушел, меня как пронзило всю: догадалась, кто приходил ко мне. Почти сразу ко мне соседка пришла, спрашиваю ее, видела, мол, кто ко мне заходил? Она никого не видела и во всей деревне никто его не видел. Если б это обыкновенный странник был, разве он незамеченным по деревне прошел? А уже к вечеру стало мне сначала одну руку покалывать, затем другую. Утром слышу, телега ко двору подъезжает. Заходит председатель наш, Ефим Иваныч, хороший такой был мужчина. Ты, говорит, Петровна, не волнуйся. Мы тебя с ребятишками в беде не бросим. И что же ты думаешь? Два мешка хлеба привез. От колхоза. Вот так милый. А ты говоришь.

Но я ничего не говорил. Я слушал и верил. Тем более, что мне и раньше встречались люди, пережившие подобное. В самый трудный час приходил к ним легкий старичок с белой бородкой, с добрым взглядом и ласковой речью. Приходил, и отступала беда.

Петровна вдруг спохватилась:

- Заболталась я. Мне же еще скотину поить надо. Мы попрощались. Она пожелала мне легкой дороги. И дорога на самом деле оказалась легкой. Через часа три я передохнул в маленькой посадке. Очень хотелось, чтобы повстречался мне вот здесь, в поле старичок с котомкой за плечами и светлой бородкой. Он, наверное, появился бы, словно из-под земли. Что-нибудь спросил: под неспешные мысли я уснул. Когда проснулся, от утренней грусти осталось маленькое облачко. Дорога звала вперед. Но солнце пекло, время в запасе еще было, и я открыл книгу. Чтение для меня - одно из самых больших удовольствий в жизни. Помню, что отец научил меня читать очень рано, и я с удовольствием читал своим товарищам по детскому саду "Мойдодыра". Когда в восемь лет я очень тяжело заболел, и меня на целый год отвезли от родного дома в огромный город, столицу, в больнице я больше всего скучал по родителям, друзьям, дворовому псу Цыгану и своим детским книгам. Мария Иосифовна, профессор, буквально вытащившая меня с того света, стала опекать меня. Жила она одна, детей у нее не было, книги. Которые она мне стала приносить, были совсем не детскими; представляю, как было забавно наблюдать восьмилетнего мальчика, читающего Геродота. Но мне нравилось и за год я прочитал уйму книг.

С тех далеких пор чтение превратилось у меня в своеобразный ритуал. Я вначале стараюсь, все, что возможно, узнать об авторе. Хорошо представить не только его самого, но и его дом, в котором он жил, окружающую местность, близких людей. Перед чтением стараюсь минут на десять отключиться от всего, и мысленно переносюсь в дом к автору книги. Он предлагает мне кресло, стул или циновку, заваривает чай или травы. Я начинаю слушать. Не обязательно я соглашаюсь с тем, что он мне говорит. Но я стараюсь не спорить, - ведь я в гостях. Тем более, что даже в заблуждении много мудрости.

Пусть сегодняшний день не будет исключением. Достаю маленькую книжечку и я уже не в средней полосе России конца двадцатого века, а в Китае четвертого века нашей эры. Маленький домик, пять ив, склонившихся под кровлей, журчание ручья под горою, кругом холмы, покрытые сливовыми садами. Здесь живет Тао Юаньмин, один из самых великих китайских поэтов. Живет в бедности, почти нищете. Ведь за достаток, богатство надо платить.

И страшно, когда плата эта - жить так, как не хочешь, как не велит тебе совесть. Поэтому он бросил чиновничью службу в столице и живет в деревне. Обрабатывает землю, растит сыновей, пишет стихи, читая их, вернее, напевая всем тем, кто заходит под его кровлю. Сегодня постучусь я. И вот мы сидим с хозяином, в стене поет сверчок. Теплый летний вечер черным пологом закрыл от нас соседнюю гору, видом которой мы только что любовались. Звучат стихи. Я закрываю глаза и вслушиваюсь в негромкий голос:

Я поставил свой дом
в самой гуще людских жилищ,
Но минует его стук повозок и топот коней.
Вы хотите узнать, отчего это может быть?
Вдаль умчишься душой, и земля отойдет сама.
Хризантему сорвал под восточной оградой в саду,
И мой взор в вышине встретил склоны Южной горы.
Очертанья горы так прекрасны в закатный час,
Когда птицы над ней чередою летят домой!
В этом всем для меня заключен настоящий смысл...
Я хочу рассказать, и уже я забыл слова...

Современники дали Тао Юаньмину посмертное имя Цзинцзе, что означает "спокойный и чистый". Не без сожаления прощаюсь с Цзинцзе: мне пора идти дальше. У нас в России тоже сейчас вечерет.

Вскоре вхожу я в большое село. Это Новоселебное. Вечер принес прохладу. В пруду ребяташек смешили загорелые и пропыленные взрослые. За каждым забором движение, хлопоты, предвечерняя суета. Еще тридцать минут ходьбы, и меня встречает поселок Шварневский. Маленький, опрятный, зеленый. На улицах только мамы с колясками да стайки подростков. Тихо. Покойно. И хорошо.

5 июля. На Голгофе.

У меня есть добрый знакомый, мой земляк, уехавший из родных мест лет двадцать тому назад. Как уехал он из родной деревни с мешком за плечами и связкой книг по физике, так больше в отчие края ни разу и не попал. Теперь он преуспевающий человек, правда, относительно большинства своих сограждан, не более того. Вечерами, отдыхая от трудов праведных, после второй или третьей рюмочки, очень он любит вспомнить родную деревню.

- Вот ведь красота где, - горячится он, будто с ним кто-то спорит, - Сама деревня на холме. Дома стоят вокруг старого пруда. Рядом церковь, сад старинный: Затем он вспоминает своих друзей, подруг, родственников, знакомых, говорит о том, как хорошо бы выбраться на землю предков, искупаться в пруду, походить по родным полям, надышаться чистым воздухом, сбросить с себя всю эту городскую пыль, суету и прочую мерзость.

О знакомом вспомнил я совсем не случайно. Деревня, о которой он так любовно рассказывал, находилась в десяти верстах от Шварца, и я решил зайти туда. Все будет приятно другу, если передам поклоны от его знакомых. Утром, простившись с тихим и уютным Шварцем, отправился в путь. Только выйдя из поселка, дорожка сразу же повела в рощу. День обещал быть погожим, птицы встречали его начало дружным хором, не смолкавшим ни на минуту. Под столь чудесное звуковое сопровождение я и дошел ближайшей деревни. Однако это была не Ивровка, куда я шел, а Петрово. Деревенька, почти нежилая, мирно дремала под солнцем, глядясь в мутные воды маленькой речушки, на берегах которой стояла. Мне объяснили, что до Ивровки добраться очень даже просто, только путь будет все на гору и на гору. Ивровка

действительно располагалась на возвышенности. Правда, уже с первых шагов я почувствовал, что это то единственное, что соответствовало описаниям моего приятеля. Пруда уже давно не было. Редкие дома поражали своим беспризорным видом и бедностью. Все кругом буквально по колению в грязи, по уши в лебеде, крапиве, лопухах. Повсюду валяется брошенная сельхозтехника. Вернее то, что раньше было ею. И ни одного человека вокруг. А вот и церковь. Пробираюсь сквозь заросли травы и груды металлолома. Церковь используется как склад. Двери на огромном амбарном замке. Пытаюсь посмотреть, что внутри. Какие-то весы, старая рухлядь. Из окошка тоненькой полоской пробивается луч. Постепенно начинаю привыкать к темноте. Я ошибался. Это даже не склад, просто бросили сюда все, что не нужно, закрыли, а ключ, наверное, бросили куда-нибудь в ближайшие заросли, чтоб не дай Бог, кто-нибудь не вошел в церковь. А есть кому приходиться сюда? Деревня если еще не умерла, то при смерти, и надежды на спасение не осталось. Как и в заброшенной церкви под Козельском, здесь тоже сохранились остатки росписи. Могу разглядеть совсем немного. Христос несет крест. Голгофа близка. Вокруг люди. Насмешливые, равнодушные, жестокие, смеющиеся лица. "И неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, поеврейски Голгофа. Там распяли Его" (Ин. 19, 17-18). И горечью обожгло почти физическое ощущение того, о чем знал и думал раньше. Ивровка - это Россия. Распятая на кресте, который она несла. Воскреснешь, Родина моя, или так и не сойдешь с Лобного места?

Я не скажу своему знакомому, что заходил в его деревню. Он ведь все равно никогда не соберется сюда. Пусть тешит свою ностальгию воспоминаниями о красивой деревеньке вокруг старинного пруда. А может быть, сказать? Дом умирает не тогда, когда рушатся его стены, а когда в нем некому жить. Пусть и его поглотит совесть: Поглотит ли? Он ругает московский воздух, суету и прочую городскую мерзость, но в душе очень доволен, что все так в его жизни получилось. Что можно придти вечером и, после трудов праведных, опрокинуть две-три рюмочки и вспомнить родную деревню. А еще лучше спеть:

К тебе мое сердце по-прежнему просится,
А я все не еду: дела и дела...

Давно осталась позади Ивровка, а боль в сердце не проходила. Уже исчезли за горизонтом пятиэтажки Красного Яра, центральной усадьбы большого совхоза, скрылось за лесом Романово. Вечерело. Дорога поднималась на горку, я еще не видел, что там, на ее вершине, но уже слышал собачий лай, петушиное пение. И я понял, куда привела меня дорога. На самой границе Киреевского района, неподалеку от старой деревеньки Шувайка, лет десять назад выросло новое село. Большие добротные дома, красивый водоем, лес. Серебряные ключи - так называли новое место жительства люди, приехавшие с оренбургских степей. Это были немцы. Окрестные русские встретили их без неприязни, а когда увидели, как любят трудиться их новые соседи, как ловко и споро наладили они жизнь на новом месте, немцев заужавали. Но было это десять лет назад. Давно уже нет первых жителей Ключей все уехали в Германию. Из тех же степей приехали новые немцы, но теперь в поселке жили и армяне, и русские, короче, настоящий интернационал. Как я смог убедиться, жили вполне мирно и дружно. Но как мне рассказали, немцы потихоньку продолжают уезжать в Германию. Мне, с детства жившему с немцами, это было горько слышать. С тех пор, как их предки оказались в России, они много друг для друга сделали хорошего. Россия для немцев и немцы для России... Помог мне найти дорогу в ближайшую деревню паренек лет шестнадцати. Немец. Я спросил его, а собирается ли он в далекие края. К моему удивлению, парень ответил так:

- Вы думаете, что все немцы уедут? Наверное, большинство - да. Но не все. Я уезжать не собираюсь.

Ну дай-то Бог, дай-то Бог. Но пришла пора оглядеться. Начинался Веневский район, начинался

лес. Места, где не ходят. На моей карте к веневской деревне Ананское вела небольшая дорога. Но бабушка в Грецово, своеобразном пограничном селении, огорошила сразу:

Милай, да что ты?! Какая дорога? На Октябрьской есть дорога, а на Ананское... Лет десять там никто не ходит, поди все заросло. Да если бы и ходили, там в лесу даже местные плутают. Ночуй, милай, а завтра иди на Октябрьский. Мы еще поговорили о житье - бытие. Она поведала мне грустную историю своей деревни: за последние тридцать лет Грецово передавалось то одному, то второму, то третьему району, затем все начиналось сызнава. И так до десяти раз. И до сих пор не нужны никому. Сама бабушка зимой живет в Туле у дочерей, а летом здесь, в маленьком вагончике, поскольку дом ее "подожгли лет пять назад злые люди". И все же идти завтра в Венев через Октябрьский - это еще тот крюк. Да и после сегодняшнего дня хотелось побыть одному. А потому я поблагодарил бабушку, и пока еще тьма не покрыла землю, поспешил в сторону леса. Когда я вошел под его своды стало ясно: идти дальше уже нельзя. Я уже не мог разглядеть своей вытянутой руки.

В ночном лесу страшновато первые минуты, когда самые запоздалые сумеречные тени сменяет сплошная крошечная мгла. Не зря в старину говорили, что ночью миром начинают править совсем иные силы, - силы зла. Суеверия? Не знаю, но в это легко поверить, когда над твоей головой вдруг что-то охнет, вскрикнет, где-то раздастся короткий, как выстрел, стук, и ты гадаешь, то ли ветер прошумел в кронах деревьев, то ли сыч полетел за добычей. А может быть, это старина леший разминает кости после дневного отдыха?

Расстилаю на земле спальный мешок, кладу под голову рюкзак. Стараюсь делать все как можно тише: я должен отойти ко сну также спокойно и незаметно, как лесные обитатели. Те из них, для кого активная жизнь начинается ночью, наверняка заметили меня, но чем быстрее сон смежит мне веки, тем быстрее промчится короткая летняя ночь, тем спокойнее будет всем нам. И я не буду гадать, чья серая тень на секунду закрыла мутный лунный диск. Над миром опустилась ночь.

6 июля. Лунный город.

А ведь я действительно заблудился. Долгие часы послушно шел я за тропинкой, то и дело становясь перед выбором, когда маленькая лесная дорожка делилась на двое и убегала в разные стороны. Но я не отчаивался; голубое небо над головой словно успокаивало: скоро лес кончится, и ты выйдешь на простор. Так оно и получилось. Правда, к тому времени солнце показывало, что на дворе давно полдень. Да и не в Ананское я вышел, а совсем к другой деревне. А до Венева идти и идти. Таким этому дню и суждено было остаться в моей памяти. Карта спрятана далеко, иду напрямик, спрашивая дорогу у случайных прохожих. Одна чудесная картина украсила этот самый обычный день. У деревни Теребуш, только очередной лесок отпустил меня из своих объятий, выхожу на освещенное солнцем открытое место. И вижу бескрайнее "снежное" поле, причем "снег" будто мартовский - в нем уже нет январской ослепительной белизны. Это цвела гречиха. В воздухе ровный, спокойный гул тысяч и тысяч пчел. И вдруг все это, весь этот гул словно по чьей-то команде, стихает. Из-за далекого горизонта, закрывая собою все небо, медленно движется черно- синяя туча. Двигается, вроде бы не спеша, но с каждым новым мгновением солнечная часть гречишного поля становилась все меньше и меньше. В лицо подул налетевший ветерок. Секунду- другую я стоял на рубеже двух миров: темного, грозного и яркого, сияющего. Оглядываюсь назад. Синева кажется мне такой родной и близкой, что почти физически чувствую тоску по уходящему солнцу. Но все это длилось не меньше двух моих выдохов. Затем дыхание перехватило: стена воды обрушилась на меня, на гречиху, пчел, землю, так долго не оплодотворявшуюся дождем. Всего второй дождь во время моего странствия. Но как он отличен от того, первого, так испортившего мне встречу с Белевым! Этот налетел неожиданно как счастье. Капли весело отскакивали от перегретой

земли, от пыльной травы. Божий мир пил небесную воду, укрывался. Из ближайшего дома кто-то кричал мне весело:

- Бегите скорее, бегите, а то сухой нитки не останется! Уж какая там сухая нитка, я чувствовал, как вода добирается до моей святой святынь - середины рюкзака, где лежат мои книги. И вот я стою на маленьком, неказистом крылечке. Хозяйка несколько раз торопливо крестится. Слава тебе, Господи! Послал дождичек. Глядишь, зимой с картошкой будем: на час дождь не меньше. И сильный какой!

А впереди на краю неба уже блеснула лазурь. Пока робко, будто ненароком. Но через час я действительно сошел с крылечка в умытый, словно заново рожденный мир.

В Венев я входил поздно вечером. Так поздно, что на улице не было ни одного человека. Венев - совсем маленький город, пусть не такой древний, как Козельск или Дедилово, но его четыре с лишним века вызывают уважение гостя, входящего или въезжающего со стороны Тулы, Венев встречает микрорайоном однотипных панельных пятиэтажек. Как я понял, основное население города живет именно здесь. Все административные и культурные учреждения находятся в старой части. Вот об этом Веневе мне хочется написать несколько слов. И дело не в том, что тихие пустынные улочки, дома начала века, колокольня, освещенная луной, луна, придающая всему какой-то фантастический вид, гулкие шаги редкого прохожего, - как-то незаметно и сразу очаровали мое сердце. Венев подтвердил две мои недавние догадки, причем подтвердил так убедительно, что я теперь абсолютно убежден в следующем: можно посетить десятки, сотни городов, обходить все их музеи, улицы памятные места, однако, город все равно "пойдет" мимо вас. И чтобы этого не случилось, желательно приезжать (приходить) в город поздно вечером, когда суета, толкотня, посторонние шумы и прочие приметы дня покинут город до следующего утра; когда только редкие прохожие, чаще влюбленные или наоборот, очень одинокие люди повстречаются вам на пути. Тогда никто и ничто не отвлечет вас от домов, мостовых, деревьев, всего того, что зовется собственно городом. Поверьте мне, любой дом может так много рассказать, и рассказ этот пройдет через вашу душу, в подсознание, неся такой поток информации, какой не может дать ни один справочник. И чем старше дом, чем больше таланта и сердца вложили в него создатели, тем интереснее будет рассказ. Но это еще не все. Очень важно входить в город с мыслью, что это ваш родной город, просто вы очень долго находились в отсутствии, так долго, что многое кажется незнакомым. Входите в город так, как путник возвращается в родной дом. И случится чудо. Вы действительно почувствуете себя здесь как дома.

Так вошел я в Венев, - маленький, неприметный на первый взгляд городок на северо-западе Тульской области. И он подарил мне несколько сказочных часов. Я знал, что завтра днем город будет другим, но это не страшило меня: теперь я знаю его таким, какой он есть.

Время близилось к полуночи. После того, как из раскрытых окон донесся знакомый голос известного артиста, мне стало ясно, что на улицах города остались только двое: я и еще луна, светившая мне там, где фонари на окнах не горели. И мне стало отчего-то жаль веневцев. Так и захотелось крикнуть: "Люди дорогие! Да ведь сегодня купальская ночь, неужели вам не надоело сидеть у своих телевизоров?" Но, боюсь, это бы был глас "вопиющего в пустыне". Незаметно для себя я оказался за речкой, в поле. Искать папоротник, как велит древний обычай, не входило в мои планы, да и прыгать через костер охоты не было. Я всего-навсего сорвал березовый листок и бросил его в воду. Но утонул ли он или поплыл дальше, я так и не узнал: в тот момент луна скрылась в облаках.

7 июля. В гостях у артельщиков.

Как я и предполагал, утром передо мной предстал совсем другой город. Центральная улица, примыкавшая к рынку, шумела, пела, хлопала дверьми. Пахло хлебом и соленой рыбой. Судя по всему, все взрослое население района приехало или пришло на рынок, в местные ларьки и магазинчики. Но уже совсем скоро, перейдя знакомый мостик, я бодро шагал по пустынному в этот воскресный день шоссе. Придорожный указатель любезно сообщил, что до Серебряных прудов 33 километра. Но не прошел я из них и четырех, как меня заставило остановиться большое бурое пятно на асфальте. Если вспомнить, что вчера днем прошел сильный дождь, то можно сделать вывод, что кровь свежая. А в том, что это кровь, я не сомневался. Перекресток буквально давил тишиной и безлюдьем, но вскоре я заметил приближающегося из-за посадки человека. Он оказался местным жителем, от него я и услышал о трагедии, произошедшей прошлой ночью.

Трое молодых людей, два парня и девушка стояли поздно вечером у обочины дороги. Мимо проезжал "КАМАЗ". Все трое остались лежать на асфальте. "КАМАЗ" развернулся и умчался. У одного из парней, добавил прохожий, в прошлом месяце умер отец. Каково будет его матери?

Человек ушел, и вновь над перекрестком опустилась тишина. И сразу же как-то померк этот солнечный день, одиночеством повеяло от серой ленты шоссе. Одна секунда - и уходят из жизни три совсем юных человека. Уходят в тот момент, когда на их родной город легла тихая летняя ночь. Никто не узнает, на каком слове оборвался разговор, о чем подумалось каждому из них, когда грузовик вынырнул из темноты...

Из грустных мыслей меня вывела моя старая знакомая. Трясогузка сидела на ветке придорожного куста и бодро покачивала хвостиком, словно приветствуя меня. Впрочем, я написал "словно" только из-за боязни оказаться смешным в чьих-то глазах. Сам же был уверен, что она действительно приветствует меня, что это она разделили со мной 357 жарких, трудных и счастливых километров. Как обычно, птичка проводила меня, пролетев от куста к кусту метров двести, а затем так же незаметно, как и появилась, исчезла. Но я уже шел прибодренный. Не знаю. Телепатия то или нет, но она мне прошептала: "Не горюй, странник. То, что случилось, страшно, но это жизнь. Никто не знает свой последний день, час, мгновенье. Никому не дано знать, когда придет Ангел смерти и перережет нить, связывающую душу человека с его телом. У каждого своя судьба. Твой час еще не настал. Но идти тебе предстоит еще немало. Так не медли. Иди с Богом". Переночевать я думал в деревне Александровка, находящейся на самой границе Тульской и Московской областей. Маленькая и опрятная деревенька, но до вечера было еще далеко, и я пошел дальше. Пока в конце концов не оказался в Шеметове, центральной усадьбе большого совхоза. В местном общежитии, кирпичном одноэтажном строении, жили семь или восемь человек шабашников. Мне повезло, поскольку сегодняшняя ночевка была для них последней, общежитие завтра закрывалось. Шабашники, а так они величали себя сами, считали, что их обманули в этом совхозе, и как люди вольные, в мыслях находились уже в другом хозяйстве. Как я понял, очень много мужики не просили, требовали всего двух вещей: постоянной работы и выполнения дирекцией взятых на себя обязательств. Встретили меня очень дружелюбно. Посетовали, что я не успел к ужину, но пообещали что-нибудь "сварганить". Отказываться было бесполезно и скоро мы уже сидели на кухоньке, на столе картошка, квашеная капуста, молоко. Послеужина, далеко за полночь, продолжается разговор. Ребята, как оказывается, в основном с Украины. Насколько успеваю заметить, старший среди них Женя, он же и самый молодой. Говорит рассудительно, тщательно обдумывая слова. Так же и слушает. В его землянке Леше не трудно определить человека, не понаслышке знакомого с "зоной". Выдает и речь, и внешность. Я встречал многих таких людей, и всех их роднил какой-то общий для всех отпечаток, наложенный годами, проведенными за колючей проволокой. А вот что у всех очень индивидуально, так это глаза. У Алексея оказались очень живые и добрые глаза. Впрочем, когда познакомишься с человеком, а

через несколько часов прощаешься с ним навсегда, в душу стучаться не очень удобно. Но то ли им уже поднадоело общество друг друга, то ли грядущий переезд взбудоражил, но мои гостеприимные хозяева оказались прекрасными собеседниками. Известно, я немножечко по-другому поглядел на шабашников, о которых с юных лет имел стойкое представление, не очень лестное для них. Они не скрывали, что их цель заработать деньги, много денег, но они согласны были работать, много работать. Эти мужики умели почти все: класть кирпичи, плотничать, крыть крыши, прокладывать дороги. Мне вспомнилось, что в приснопамятные времена ходили по России артельщики. Степенные, уважающие себя люди. Вся Русь с уважением говорили о ярославских иконописцах, владимирских плотниках, тверских сапожниках. У нас само понятие шабашник стало олицетворяться со словом "рвач". Пришли, урвали деньги и дальше пошли. Неужто никто не хотел замечать, что трудятся шабашники с раннего утра до позднего вечера; разве их вина, что в нашей стране каждый получал не по способностям или по потребностям, а сколько положено. Язнавал прекрасного станочника, делавшего сложнейшие детали, и причем, удивительно быстро. Но стахановцем, как я замечал, он становиться не стремился. "Ради чего? Если б я от этого что имел. А то пересмотрят расценки и только и добьюсь, что буду получать на десятку поболее напарника своего Васи, который особенно на работе не потеет".

Во втором часу ночи кто-то вспомнил, что завтра рано вставать. Мне показали мою кровать. Скоро я уже мог услышать похрапывание моих соседей. Перед сном успел подумать, что "артельщик" все-таки звучит куда лучше, чем "шабашник".

8 июля. Человек под дождем.

Когда же проснулся, в общежитии уже никого не было. На тумбочке лежала записка, в которой Женя сообщал, что они решили не будить меня в такую рань, что завтрак на кухне и что с ключом нужно поступить так-то и так. В самом конце приписка: " По дороге в Пруды сверните в деревню Курбатово. Там живет Владимир Васильевич Кулагин, очень интересный человек. Вам с ним будет интересно поговорить. Он самим Павловым из зоны бежал. Мы с ним утром увидимся и расскажем о вас". Как я понял, "интересный человек" Владимир Васильевич уже меня ждет. Надо идти. Но кто такой Павлов? Среди Павловых, о которых я что-то слышал, былиученый, герой Сталинграда и премьер-министр, теперь уже бывший. Но вроде никто из них на зоне не сидел. Впрочем, нет. Память подсказала мне, где я еще встречался с этой фамилией. Один мой знакомый , человек с солидным уголовным прошлым, рассказывал, что во время этапа ему попадались надписи такого содержания: "Помним Павлова". Может быть, это тот самый Павлов?

Деревушка Курбатово притулилась у огромного карьера. Домик Кулагина я нашел очень быстро. Он действительно уже ждал меня, причем ждал с полной папкой своих статей, стихов и фельетонов. Уже через несколько минут я убедился, что новый мой знакомый - действительно очень интересный человек. Весь словно пропитанный энергией, он каким-то чудодейственным образом избежал суетливости, свойственной таким "заводным" людям. В детские годы он лишился кисти на одной руке и трех пальцев на другой. И вот этими двумя пальцами Кулагин не только построил себе дом, не только умудряется держать пчел, ухаживать за огородом, но и писать стихи, отправлять письма в ООН и лично президенту Бушу. К нему у Владимира Васильевича особая симпатия. У меня сложилось впечатление, этому неугомонному человеку до всего в мире есть дело. И весь мир для него умещается в его маленьком доме. А может быть, весь мир - его дом? Он переживает, когда идет война в Ираке, и когда в Серебряных Прудах, на его взгляд, плохо промышленность готовится к грядущему рынку. Но ему мало волноваться, негодовать. Кулагин обязан сделать так, чтобы его слышали другие. Неважно, кто это будет: читатели местной районки или мировое сообщество. Самое главное, и Владимир Васильевич глубоко в этом убежден, наш мир губят равнодушные люди. А

потому - от них все беды.

- Вы представляете... - И Кулагин начинает рассказывать очередной случай, как он приходит к человеку, занимающему высокий пост, говорит ему о проблеме, не своей, разумеется, а общественной, а тот отвечает, что проблема для него не новость, и добавляет: - "А вам-то до этого какое дело?" Когда бюрократа ничем не прошибешь, Владимир Васильевич прибегает к своему главному оружию - сатире. Он мне с гордостью показывает свои стихотворные творения - басни, эпиграммы, стихи на политические темы. Надо честно сказать, что графоман Кулагин - преизрядный.

Время от времени пытаюсь увести наш разговор от животрепещущих событий современности к дням юности Владимира Васильевича, к Павлову, но мой новый знакомый ловко уходит в сторону. Уже и чаю с медом попили, и все стихи мне хозяин прочитал, и с внучкой познакомил. И вдруг резко поднялся, будто что-то окончательно решил.

- Пойдемте, я провожу вас. В Пруды есть дорожка живописная, да и короче немного той, что вы шли. Родничок заветный свой покажу. Ну что ж, проводить, так проводить. А дорога действительно живописная. Узенькая тропка ведет нас вдоль Осетра, пожалуй, самой чистой реки в центральной России. Мой спутник рассказывает:

- Здесь в старину осетр из Оки нереститься ходил. Ругаем прошлое, а люди тогда не в пример нам были. Хозяева. Когда осетр шел, батюшка в церкви нашей, как старички мне говорили, в эти дни в колокола запрещал звонить. Вот как природу берегли.

Вдруг он неожиданно замолчал. Часть дороги шли молча. Откуда-то снизу раздалось тихое журчание. В пяти шагах от реки из-под корней старых пробивался родник.

- Дальше я не пойду, - Кулагин сел на придорожный валун и рукой пригласил меня сделать то же самое, - а вот водички этой испить советую. А если фляжка какая есть, налейте, прекрасная вода.

Он закурил. По всему чувствовалось, что во Владимире Васильевиче шла внутренняя борьба.

- Ну да ладно, - видимо, решившись, после длительного молчания заговорил мой спутник. - Не люблю, правда, о себе рассказывать. Но раз вы специально ради этого заходили... Расскажу, а вы уж хотите верить, хотите нет. Обратили внимание на мои руки? У нас в деревне во время войны бои приличные были. Соответственно и железок осталось. Одна такая штука в моих руках и рванула. Говорили, что легко отделался. Но жизнь моя с тех пор пошла совсем не так, как у большинства моих сверстников. В конце сороковых меня, совсем тогда еще пацана, посадили. За стихотворение. По нашим временам совсем обычное. А по тем... Осторожности во мне и сейчас нет, а тогда и в помине не было. У знакомых почитал стихи, те попросили им переписать, а через три дня за мной пришли. Осудили быстро, я даже не успел понять, что со мной произошло. Так я оказался на берегах Камы, в Услаге. Вы, наверное, много уже читали о сталинских лагерях. Сейчас об этом много пишут, поэтому чего-нибудь нового добавить вряд ли удастся. Хреново, одним словом, было... Лучше расскажу о самом побеге.

Где-то год я уже в лагере пробыл, когда Павлов, а с ним я в одном отряде был, предложил всем бежать, все согласились: все равно в этих комариных болотах погибать. А на работу нас водили в лес. Павлов план разработал, говорил, что все берет на себя. Он ведь в разведке воевал, до майора дослужился. Его в самом конце войны в Венгрии арестовали. За что я, честно говоря, особо не вникал. Да и он не из разговорчивых был. Так вот, во время работы Павлов скомандовал: "Ложись!" и мы, как условились, бросились на землю: По-моему, никто еще не

успел ничего сообразить, а Павлов уже повалил охранника, разоружил его и приказал всем остальным поднять руки. Я даже немного разочарован был: все произошло как-то буднично, что ли. Уже после, присмотревшись к Павлову, я понял, что он все делал так - спокойно, четко, без эффекта, но результат всегда был стопроцентный. Тогда, на лесоповале, он спросил нас: "Кто со мной?" И еще вчера все готовые к побегу, сегодня стояли, понуриив головы. Только два человека присоединились к нему, оба совсем еще зеленые юнцы. Мне кажется сейчас, что согласились только из понятий юношеского романтического кодекса чести: ведь мы же обещали: Один из двух тех юнцов перед вами, а второго звали Валера. Насколько помню, его отец работал одно время вторым секретарем обкома или крайкома на Дальнем Востоке. Тихо журчал родник, неспешно вел свой рассказ Владимир Васильевич. Признаюсь, вначале меня охватило очень сильное скептическое чувство. Урезониваю себя: ну какое ты имеешь право не верить человеку? Но вскоре я забыл не только о своих сомнениях, настолько увлекательным был его рассказ. И вот уже я сам с беглецами бреду по болотистой тайге северного Урала. Словно кто-то невидимый показывает мне кинокартину, и я не только слышу, но и вижу. Вижу погоню, многодневную, упорную, вижу, как беглецы вопреки всякой логике выбирают самый гибельный путь, избегая дорог. Им везло: на складе лесоматериалов они находят оставленные кем-то комбинезоны, пропитанные живицей. Но погибает Валерка. Владимир Васильевич помнит только сухой выстрел, и как почти одновременно с ним неловко опрокинулся на бок их товарищ. Но взять Павлова ни живым, ни мертвым, так и не удалось. Погоня же потеряла трех человек.

А они, после долгих недель блуждания, оказались в Ленинграде. Павлов и там, казалось, предусмотрел все. В Швецию везли оборудование. Вместе с оборудованием поплыл на корабле и Василий Иванович Павлов. Поплыл один, без товарища, который на все уговоры ответил одно: "Что я буду там, за границей, делать?" Через некоторое время его взяли. По иронии судьбы досиживал Владимир Васильевич в том лагере, откуда бежал. Правда, могло все кончиться хуже, но на суде, в ответ на вопрос, стрелял ли он в своих преследователей, беглец чистосердечно показал свои руки: чем стрелять-то?

Сомнения пришли ко мне опять, когда я подходил к Серебряным. Уже больше часа прошло, как я попрощался с Кулагиным. Он пожелал мне доброй дороги, просил при случае навещать к нему. Но по всей вероятности, мы вряд ли еще раз увидимся. Не знаю, как он, я же вынес из этой короткой встречи самые добрые впечатления. Может быть, когда-нибудь поподробнее узнаю о легендарном человеке Василии Ивановиче Павлове. А пока я запишу и забуду эту историю: негоже обижать недоверием человека, который отнесся к тебе с доверием. А Серебряные Пруды помогли мне сделать это гораздо быстрее. Весь остаток дня я ходил по улицам этого большого поселка. Достопримечательностей немного. Памятник маршалу В.И. Чуйкову, уроженцу здешних мест, да развалины церкви. Между прочим, это самый далекий район в Московской области. Он располагается клином между Тульской и Рязанской областями. Даже бросив беглый взгляд на карту, видишь, что ему гораздо сподручнее относиться к одной из этих двух территориальных единиц. Но по словам местных жителей: "Земля вокруг нас богатая, вот нас Москва к себе присоединила". Неподалеку от гостиницы - уютный стадиончик. Вечер. В воздухе душно: приближается гроза. Хотел лечь пораньше, но с улицы услышал крики, звон мяча, такой знакомый и волнующий, и вот я уже на стадионе. Группа людей самого разного возраста увлеченно гоняет мяч. Но это не совсем обычный поединок. Мне сразу вспомнилось детство. Знакомая игра, мы называли ее "жопки". Одна команда, человека три-четыре, становится в ворота, соперники поочередно бьют по воротам. Затем роли меняются. Нужно забить больше голов. Проигравшие опять становятся в ворота, но уже не лицом к соперникам. Победители должны, как это ни сурово, тем же мячом бить в те же ворота, но не с целью забить гол, а попасть в проигравших. Отсюда и название игры. Проигравшим остается рассчитывать только на промах или великодушие победителей. Но

какое тут великодушие: полчаса назад ты самбыл победителем. Сколько лет прошло, а до сих пор помню это ощущение, когда, тесно прижавшись друг к другу, мы вслушивались в разбег. Мяч сырой, тяжелый, таким мячом быков убивать. Удар! Кожаное ядро со свистом пролетает над нашими спинами. Вздых облегчения: пронесло! Сколько там ударов осталось? Все это припомнилось мгновенно, буквально в секунду. Но "насладиться" зрелищем не удалось. Ко мне подсел молодой человек. Пьян он был весьма. Видимо, для полного счастья ему не хватало общения. К сожалению, такое общество интересно, когда ты сам находишься в подобном состоянии. Если же нет... Он очень вежливо попросил разрешения подсесть... Поскольку я не умею, разговаривая с человеком, смотреть в другую сторону, то финала поединка на поле не увидел. Слышны были только радостные вопли болельщиков и бьющих, когда мяч попадал в кого-то из проигравших. А я никогда не думал, что человек может так надоест через пять минут. Через десять я уже хотел бежать, но меня попросили не обижать и пойти в гости "распить бутылочку". Еще через десять минут меня выручил дождь. Под аккомпанемент грозы он стеной обрушился на поле. Все бросились бежать. Их примеру последовал и я. Мой новый "друг" попробовал догнать меня, но это ему было трудно сделать. Он остановился, развел руками, словно сетуя на что-то, а потом понуро поплелся по беговой дорожке. Порой его заносило в сторону, но он вновь возвращался на дорожку и словно одинокий марафонец брел к финишу. Я остановился. Возникло желание вернуться к человеку и пригласить его к себе в номер. Но желание так же быстро погасло, стоило только вспомнить двадцать минут нашего общения. Больше я вряд ли выдержу. Да к тому же еще немного и на мне сухой нитки не останется. Так оправдав себя, я открыл двери гостиницы. А человек все брел по кругу. Одинокий человек под дождем.

Придя в номер, в дневник я записал только одну фразу: "В маленьком городе одиночество в сто крат страшнее, чем в большом. 8 июля 1991 года. Серебряные Пруды".

9 июля. Журналист из "Правды".

Сколько ни живи человек на земле, а не привыкнуть ему к красоте восхода. Лазурью сияли небеса. Изумрудными россыпями сверкали росы на стеблях травы. Даже грязные лужи, в которых отражались высокие облака, потеряли свою обычную унылость. Что говорить тогда о больших прудах, которые тянулись слева от меня длинной серебряной лентой. Это они дали название поселку. Я был бы не прочь подойти к ним поближе, но тропинка упорно уводила меня в сторону. А быть внимательным просто необходимо: граница областей, бездорожье. Почти не останавливаюсь в небольших деревнях, смотрю в карту и спрашиваю встречных прохожих, как дойти до следующей деревни. Но вот пройдена последняя деревня. Поле. Холмистое, бескрайнее. Маленькая речушка. Мостик. Неуверенно перехожу его. Куда идти дальше? Где-то впереди рязанская деревня Студенец, но какая из трех дорожек ведет туда. Ошибешься, считай, весь день потеряешь. И, как назло, ни одного прохожего. Озираюсь по сторонам: пусто. Единственный, кто видит меня, так это жаворонок; высоко в небе звенит его голос. Решаюсь делать то, что делал всегда в этом походе. Молюсь. Тихо, сосредоточенно. Прошу помощи. Сразу вспоминается дом в Оптиной, та волна, что охватила меня, когда припал к раке с мощами Преподобного. То чувство защищенности, уверенности, покоя не покидало меня с той поры ни на миг. Вот и сейчас, стою в этом бескрайнем поле, но нет ощущения беззащитности, одиночества. Откуда-то из-за кустов ивняка вышел человек. Я даже вздрогнул от неожиданности: почему я его раньше не видел? Брезентовый плащ, кепка, кирзовые сапоги. А лица почему-то не разглядел.

- Что стоишь, мил человек? Заблудился?

- В Студенец направляюсь, а дороги не знаю.

- В Студенец? Видишь, впереди несколько деревьев? Да не там, правее. А от них по телеграфным столбам.

Благодарю его. Мы прощаемся. Минуты через две оглядываюсь. Что за чудеса! Безлюдное поле, жаворонок звенит в вышине. Никого. В Студенец мы пришли одновременно, - большая черная туча и я. Бегу к первому попавшемуся дому. Старенькая терраска, за столом играют в карты пожилая женщина и две совсем еще юные девушки. Играют в самую популярную русскую карточную игру - в "дурака". Судя по всему, играют не первый час. Все ясно, приехали из города. Хорошо, конечно, молочка у бабули попить, да скучновато.

- Четвертым не будете? - после приветствия обращается ко мне женщина. Девушки с интересом рассматривают нежданного гостя, но молчат. Включаюсь в игру. Говорит женщина, мы молчим. Особого азарта нет, хотя вроде бы нам с партнершей везет. Но дождь не утихает. Наконец, женщина тоже устает рассказывать о том, какая это дыра - Захаровский район, как трудно даже до райцентра добраться, до Прудов в три раза ближе, но зато бездорожье... Эх! Опять проиграла! Успокаиваю ее, обещая, что по приметам, кому не везет в картах, повезет в любви. Кратковременное оживление на лицах девушек - и опять сосредоточенное молчание. Будто не в подкидного играем, а в шахматы.

Но всему приходит конец. Ушли в сторону юга тучи. С сочувствием смотрю на девушек: сколько партий им еще предстоит сыграть? Стоило ради этого ехать из Москвы?

В Коровино, большую, хаотично застроенную деревню я пришел поздно вечером. Переночевать решил в местном общежитии. На мой стук открыл дверь чернявый мужчина средних лет, очень пьяный. За его спиной виден другой, повыше, рыжеволосый. Тоже пьяный. В комнате дым коромыслом. Пытаюсь объяснить, кто я и зачем пришел сюда. Говорю, а сам заранее чувствую, что мне скажет этот человек. К сожалению, типаж очень распространенный. До него каким-то образом все же доходит, что я прошусь на ночлег. На лице появляется выражение собственной значимости, в глазах почти презрение.

- А почему я тебе, собственно, должен верить? Ты мне документы свои покажи, паспорт или удостоверение какое. Посмотрю, может, и пуцу. "Пуцу" было произнесено просто замечательно. В нем так и слышалось основательное, хозяйское. Правда, внешность человека никак не соответствовала важности тона: майка, выпущенная из-под брюк, босой, в руках самокрутка. Все ясно. Поворачиваюсь, чтобы уйти. Но тут из-за спины чернявого вырывается его друг.

- Мишка, кончай хреновину пороть. Вечно не поймешь, кого из себя строишь. Парень, не слушай его, проходи. Койка у нас свободная есть, переночуешь. Мы вот пьем. Может, и ты с нами сообразишь? Да не бойся, проходи. - Все это он проговорил почти без пауз. - Меня Андрюхой зовут, а это Мишка. Сидим здесь без толку, вот и пьем.

Так я познакомился с двумя рязанцами, приехавшими помогать подшефному колхозу. Как я мог понять, они готовили к уборке свои комбайны, но нужных запчастей не было, и большей частью им приходилось сидеть без дела.

- Представляешь, парень, - Андрюха завелся, - приходится друг у друга из комбайнов детали таскать! А что прикажешь делать? И к председателю ходили, и к начальнику мастерских, а толку никакого. Говорят... - он вдруг осекся, в глазах мелькнула мысль. При мне они одолели еще одну бутылку. Миша сидел на кровати, время от времени протягивая мне руку: "Паспорт покажи". "Иди ты", - говорил ему Андрей и пристально смотрел на улицу, что-то соображая. Так повторилось несколько раз, но Андрей, что-то обдумывая, забыл о нас. Я грыз сухарь и в

ответ на протянутую Мишкину руку отвечал: "Иди ты", он тупо смотрел и соглашался: "Ну ладно, оставайся".

- Послушай, парень, - вдруг заговорил Андрей, а у тебя есть документы, что ты в газете работаешь?

- В журнале. Есть.

- Ты мне должен помочь. Ну нельзя мне без запчастей, понимаешь?

- Понимаю. А как могу помочь?

- Я все придумал. Завтра пойдем на планерку. Представишься, скажешь, что ты мой двоюродный брат, работаешь в "Правде", и так, будто ненароком, спросишь: "А как у вас дела с запчастями?"

- Прости, а почему из "Правды"?

- Ну хоть откуда. "Правда" же главная газета.

- "Труд" еще есть, - с кровати подал голос Михаил.

- Неважно. Главное, из Москвы. А наши только Москвы и боятся.

- Хорошо, я спрашиваю про запчасти. Дальше что?

- Как что? Сдрейфит, как пить дать. И будем мы с Мишкой при запчастях. Я вначале пытался было отговорить Андрея от такой авантюры. Но чем более приводил доводов против, тем сильнее распалялся Андрей.

- Увидишь, парень, все пройдет, как по маслу. Ты только помоги. Поможешь? Что оставалось делать? Я согласился. Радостный Андрей умчался куда-то, и вскоре с улицы я услышал его возбужденный голос:

- Я завтра ему покажу. Я завтра корреспондента из "Правды" приведу.

- Откуда?

- Из "Правды".

- А что он здесь делает?

- Брательник мой. Двоюродный. В "Труде" работает. Завтра посмотрим, как председатель вертеться будет.

Время подходило к двум часам ночи. Я не без улыбки представил завтрашнюю планерку. Может быть, встать пораньше и уйти, пока мои соседи будут спать? Стыдно. Обещал все-таки. Рядом бормотал что-то спящий Мишка. Я прислушался: "А почему я должен верить, что ты журналист?.. Паспорт покажи..."

- Иди ты! - сказал я как можно громче и погрузился в туман сна.

10 июля. День добрых встреч.

К моему огромному удивлению, встав утром, Андрей упорно прятал от меня глаза. Я все понял. Он был трезв. Сегодня парень вернулся к обычной жизни. А это значит, что ничего-то всеильному "преду" не покажет. Но попрощались мы тепло. Андрей был рад, что я не заговариваю про вчерашнее. А Михаил даже охотно объяснил, как быстро добраться до большака на Рыбное.

А минут через двадцать я уже проходил мимо местной школы. Место, кстати, было на удивление живописное. По всей видимости, раньше здесь находилась помещичья усадьба. Старые сосны, следы старых построек, старый человек, косивший траву, все это как-то умиротворяюще подействовало на меня. Я не заметил, как вышел на асфальт. На указателе была написана цифра 44. Столько километров мне предстоит идти до Рыбного.

Асфальт был плохонький, пейзаж довольно однообразный: поля, с кусочками леса, деревеньки на обочине дороги. Движения на шоссе почти не было. Короче, ничто не отвлекало от мыслей. Я так задумался, что чуть было не наступил на что-то лежащее на дороге. Еж. Задавили его ночью. Сколько встречаю на дороге раздавленных ежей, а всегда до слез жалко. Жалко этих удивительных зверьков. Пыхтящие, вечно сердитые, с каким удовольствием они сворачиваются в клубок, выставляя вперед спасательные колючки! А на самом деле добрейшие существа. Приручить их очень легко, нужно только немного терпения. И когда у вас это получится, вы вдосталь налюбуетесь их острыми мордочками со смышленными глазками, поразитесь их ловкости, смелости, сообразительности. Очень люблю ежей. Представляю, как ночью он перебегает асфальтовую серую ленту дороги, навстречу мчит что-то ревущее, слепящее глаза. Ежик не убегает, он сворачивается в клубок, выставляет иголки и с бешено стучащим сердечком ждет неожиданную опасность. Ему бы сделать несколько шагов, а он ждет приближения машины... Машина промчится дальше, а он так и останется лежать на асфальте, добрый ежик с колючим характером.

В деревне Токарево я вспомнил, что вроде бы и пообедать пора. На мое счастье, в доме, который мне приглянулся (может быть, оттого, что в палисаднике росли красивые цветы, а сам палисадник был аккуратный, уютный), жила тетя Нюра, очень добрая женщина.

- Ох, и устал ты небось, родименький, - запричитала она и дала мне на дорогу не только молока, но и огурцов, сала, хлеба. Долго пытался сунуть ей в руку пятерку, но у меня так ничего и не получилось. Обедал я в этот день просто великолепно. В следующей деревне, в Ходяйнове прямо к дороге подходил роскошный сад. Деревья в саду были уже почтенного возраста, поэтому под грушей мне с избытком хватило места. Не только мне, но и невесть откуда взявшейся кошечке, кузнечикам, то и дело запрыгивающим на спальник. Сквозь темно-зеленую листву солнце просачивалось "дождем". Было светло и тихо в саду и у меня на душе. Я долго ждал этого часа. С каждым днем я приближался к нему и вот, наконец, только на двадцатый день пути я вошел в это состояние. И дело было не в молоке, сале, уютном саде.

Что бы я ни говорил себе, что бы ни внушал, но только сейчас скопившаяся за год суета покинула меня. Двадцать дней я словно очищался и вот теперь, умытый солнечным дождем, я смотрю за игрой кошки с кузнечиками, трогаю узловатый ствол груши, затем откидываюсь на спину и лежу. Не знаю, миг прошел или вечность. Временами налетает ветерок, затрепещут листья. И опять тишина. И опять облака высоко в небе. И с какой-то блаженной улыбкой через несколько часов я легко иду по вечерней дороге, не думая о том, сколько мне еще идти, где я заночую. Мне ничего не надо. Я живу. И мне хорошо от одной мысли об этом. В деревне Пальные мне повстречался старик. Я только успел поприветствовать его, как он заговорил со мной. Так бывает, когда у тебя радость на душе, а поделиться ею не с кем. Случайный прохожий, просто незнакомец, проходящий мимо, - какая разница. Ведь радость, которой нельзя поделиться - не радость.

- Все. Сегодня здесь последнюю ночь ночую, - обратился он ко мне. В голове сразу пронеслось: "ночь ночую", разве можно так говорить? Но раз он сказал...

- А это хорошо или плохо, что последнюю?

- Конечно, хорошо. Завтра в Михайлов меня отвезут, в богадельню. Будет где перед смертью голову приклонить.

Внимательно смотрю на старика. Лет ему много, но он высокий, стройный, весь какой-то поджарый. Со спины посмотреть - мужчина в расцвете сил.

- По-моему, вам рановато о смерти говорить...

- О ней никогда не рано говорить, молодой человек. А когда столько лет за горбом, как у меня, то тем более.

Из раскрытого ворота рубахи виднелась татуировка. Руки тоже были разрисованы.

- Да и хлебнуть, наверное, пришлось? - спрашиваю, будто невзначай.

- С чего вы взяли? - поймав мой взгляд и холодно сверкнув глазами из-под кепки, в свою очередь задал мне вопрос старик.

- Я всегда думал, что дом для престарелых - это не то место, которому люди радуются.

- На моем месте и ему будешь рад, коли живешь, как пес. - Было видно, что на минуту покинувшее благодушие вернулось к нему снова. Так я познакомился с дедом Алексеем. Он действительно хлебнул в своей жизни горюшка. Сидел столько лет, что сам не помнит. Где-то живет дочь... Но где, не знает. Зачем он ей?.

Однажды дед пришел в Пальные. В крохотном общежитии - терраска, чулан, кухня и две комнаты с печкой - ему отвели место. В прихожей. Зимой живет один, летом приезжают механизаторы из Рязани. Те, что живут сейчас - славные люди, не обижают. Но все равно, что за жизнь в чулане? Правда, насчет еды нормально было. Пусть пенсия крохотная, зато здоровьем Бог не обидел. Да и руки подходящие. Дед Алексей даже посокрушался.

- Я ведь и колодец выкопать могу, и траву покосить. А хозяйки жалеют, старый, говорят.

Наконец он вспомнил обо мне.

- Я бы с удовольствием приютил, но я не хозяин. Надо у постояльцев спрашивать. А они на рыбалке, когда придут, не знаю.

Только он это проговорил, как из-за ближайшего поворота показались двое парней и девушка. Честно говоря, сегодня я не волновался о ночлеге. В душе были такие покой и радость, что и земля показалась бы мне пухом. Если нет места, зачем проситься к людям, стеснять их? Однако, глядя на лица подошедших, я не сомневался, что отказа не будет. Но все за меня сказал дед Алексей.

- О чем речь, - произнес старший из ребят. - У нас сегодня товарищ уехал, койка освободилась. Заодно рыбки свежей отведаете. Так я познакомился с Сашей, Юрой и Наташей. Хороший был день, и вечер выдался замечательный. Мы ели жареную щуку, сидя на траве под открытым небом. А какие светили звезды! Глядя на них, хотелось говорить о чем-то высоком, хорошем. У

каждого человека, чем бы он в жизни ни занимался, - ковырялся ли в железках, чистил ли навоз на ферме, - бывают минуты, когда хочется смотреть на небо. И я полюбил своих случайных знакомых. И не только за их доброту, внимательность. Мы все вместе ощутили нечто схожее. Временами кто-то по привычке ронял матерное слово. В другой раз он бы и не заметил этого. А сейчас он извинялся перед всеми, и это никому не было смешно. И даже зашедшие на огонек соседские ребята, причем зашедшие не с пустыми руками, а с бутылкой самогона, как-то странно присмирели. Видимо, общее настроение передалось и им. А потом мы замолчали. Каждый думал о своем. Звезды отражались в молодых глазах. Только было слышно, как на лежанке храпел дед Алексей. Что случилось с нами в этот вечер? Почему каждый из нас именно сейчас, в эту минуту хотел стать лучше, чище? Засыпая, я все думал об этом. Думал о том, почему это вдруг мы друг другу выплеснули свои сокровенные, хранившиеся в самой глубине души помыслы? Ответ мог быть только один: в эту летнюю ночь со мной и моими новыми друзьями говорил Бог. С каждым в отдельности и со всеми вместе. А может быть, я преувеличиваю? Просто пролетел Ангел и коснулся нас своим крылом.

11 июля. Загадочное женское сердце.

Летнее деревенское утро. Где-то скрипнула калитка, запел петух, и вот уже наполнилась звуками еще секунду назад мирно спавшая улица. В русской деревне встают рано, а в июле, когда день, согласно древней народной мудрости, год кормит особенно.

Прощаюсь с теми, кто пригрел меня на ночь. Они зовут меня задержаться на денек: оказывается, в этих местах хорошо ловятся раки. Я же вчера неосторожно посетовал, что уже забыл, каковы они на вкус. Уговаривают ребята искусно: вы, мол, отдохните, ведь не выспались, а мы и пивка достанем. Где вы в наше время еще отведаете раков с пивом?

Но я заложник. Заложник дороги. Вот она лежит передо мной. Я вижу, как она поворачивает влево, поднимается на противоположный берег реки и уже совсем тонкой ленточкой исчезает у горизонта. Дорога ведет в Рыбное, и сегодня я должен быть там.

Через полчаса оборачиваюсь назад. Большая деревня с сотнями жителей, среди которых теперь есть у меня друзья, превратилась в маленький зеленый островок в бескрайней степи.

Две фактически бессонные ночи сказались. Шел я тяжело. И дело было совсем не в жаре - к ней я привык. Это, наверное, особенности организма. Могу спокойно идти несколько дней с сухой коркой хлеба и полупустой фляжкой, но когда не выплюсь... К полудню чувство разбитости стало почти нестерпимым. Ищу места, где можно было бы передохнуть, но по сторонам шла длинная улица очередной деревни или унылая пыльная посадка тополей вдоль дороги. А отдыхать среди тополей последнее дело. Они, как никакие другие деревья, забирают у человека энергию. И только километров за шесть до Рыбного я увидел маленький лесок, почти вплотную подходивший к дороге...

Когда проснулся, солнце уже вовсю двигалось в объятия запада. Через час я входил в город. И чем дальше шел, тем больше он мне нравился. Железная дорога делила город на две части. Новые дома в основном в южной части. Северная половина города - это и административный центр и частный сектор. Небольшие деревянные дома с маленькими вишневыми садами под окнами. Правда, под ногами было грязновато, но как мне объяснили немного задетые моим замечанием местные жители, а все мы патриоты того места, где родились - "вообще-то в Рыбном не так грязно. Просто весь город перекопали, когда прокладывали коммуникации". И все равно, входя в Рыбное из степи, не замечаешь однообразных новых домов, грязи под ногами, толкотни на вокзале. По уютным вишневым улочкам неспешно добрался до гостиницы. Называлась она "Вожа". Это интересная особенность гостиниц в районных городках России. В

большинстве своем они носят имена рек, речушек, протекающих в данной местности. Но роднит их не только это. Уже открывая двери, у тебя возникает ощущение, что ты здесь когда-то был. Никогда не вызовет энтузиазма номер, в котором на голых стенах радиоточка, графин со стаканом на столе, сосед - командировочный, думающий о том, как бы поскорее сделать все дела и уехать отсюда. Но все это ждет тебя, когда дежурная выдаст ключ от номера. В "Воже" симпатичная, бойкая хозяйка сочувственно произнесла: "У нас мест нет". Около нее доваривалась картошка, вымыты свежие помидорчики и огурчики, порезано сало. А сало с чесноком, а картошка белая, рассыпчатая.

- Совсем нет? - без надежды, просто чтобы подольше повдохнуть эти божественные запахи, спрашиваю у дежурной.

- Самое смешное, что у меня целая комната свободна. Но оттуда сегодня утром человека с дизентерией в больницу увезли.

У меня появилась надежда.

- Так поселите меня туда, - предлагаю ей с самым невинным видом.

- Да вы что?! Заболеть захотели?

- Так врачи, наверное, все обработали. А я уйду завтра утром, и ваша совесть будет в любом случае чиста, ведь вы же меня больше не увидите. А картошка уже булькала в кастрюле. В дверь заглянула какая-то женщина: "Подруга, ну ты что копаешься?"

Понимаю, что просить бесполезно. Я уже поворачиваюсь к выходу. Но это загадочное женское сердце...

- Что же вы будете делать? - вопрос мне в спину.

- Искать где-нибудь приюта. Вечер на дворе.

- Послушай, Маша, - это она обращается к нетерпеливой женщине, а ведь у кооператора в номере еще одно место есть.

- Так он недоволен будет.

- А мне какое дело? Что ж, человеку на улице ночевать? Вот так я нашел приют в Рыбном. Остается добавить, что когда я готовил свою скромную трапезу - замачивал геркулес - в дверь постучали. Вошла дежурная и принесла картошки, сала, огурцов и помидоров.

- Зачем вы беспокоитесь, я совсем не голоден...

- Ешьте, пожалуйста. Находились за день. Ешьте и отдыхайте. А тарелки я завтра заберу.

Это загадочное женское сердце.

12 июля. В монастыре.

Сегодня праздник. День первоверховных апостолов Петра и Павла. Праздник высокого летнего неба, зреющих нив, теплых рос. В Рыбном нет церкви, буду же считать, что отмечу его под куполом небес, в поле. Отчего-то в тех местах, где я родился, из названия праздника ушло имя апостола Павла. Из-за краткости? Петров день сказать так вроде бы проще. Тогда почему на Руси было необыкновенно популярно имя Петр, а имя Павел встречалось куда реже?

Разумеется, я говорю о бытовом уровне. В Православной Церкви уважение к апостолу Павлу, больше всех сделавшему для распространению христианства на земле, огромно. И, стоя в церкви, люди русские с трепетом слушали великие Павловы слова, лучше которых вряд ли что было написано смертными: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею - то я ничто. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею - нет в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится (1 Кор.13, 1-8). Я читаю эти божественные строки, сидя на обочине дороги, ведущей в Константиново. Движение редкое, безлюдно. От Рыбного пройдено чуть больше десяти километров, но размышления заставили остановиться. Может, я действительно не прав, и все дело в удобстве произносимости? Тогда почему самое красивое созвездие нашего звездного неба - Орион - в народе назвали Петров крест? Читаю, и мне кажется, начинаю понимать. И Петр, и Павел приняли мученическую смерть за веру в Христа - и здесь они оказались равновеликими. Но Павел все-таки остался в большей степени учителем. Но всегда на расстоянии, он всегда выше тебя, как бы близко он к тебе ни приближался. А кто был Петр? Простой рыбак, бросивший дом, семью, и ушедший в неизвестность по первому слову проходившего мимо Странника. Бедный рыбак, деливший с Ним все тяготы Его земной жизни. Судя по Евангелию, - простодушный и немного наивный, весь, с ног до головы, земной. Такой же, как большинство из тех, кто жил, жив и будет жить на земле. С такими же слабостями. Поклявшийся не бросать Господа и трижды предавший его. Мне трудно без волнения читать вот это место из Евангелия от Луки: "Тогда Господь, обратившись, глянул на Петра; и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И вышел вон, горько заплакал". (Лук. 22, 61-62). И раскаялся Петр, искренно, чистосердечно, и прощен был Иисусом. Но кто знает, сколько раз виделся ему Господь, уводимый солдатами, обращающийся к нему на прощание. И самое непостижимое для нас, грешных: не было в прощальном взгляде Иисуса осуждения или презрения, даже укора легкого не было. Любовь - да, сочувствие: вот видишь, Петр, получилось совсем не так, как ты говорил. Благодаря скромному галилейскому рыбаку для всех нас, грешных, ближе становится Господь. Строгий и Милосердный. И уже легче жить с надеждой, что и нас Он простит когда-то...

Ближе к полудню я стоял на развилке. От основной дороги вправо уходила другая. Вела она в Пощупово, в Свято Иоанно-Богословский монастырь. Как быть? Мне и в Константиново к Есенину хотелось попасть, но надо было выбирать. Долго взвешиваю все "за" и "против". Очень люблю поэзию Сергея Есенина, тем не менее, утверждаюсь в мысли, что мне следует повернуть направо. И дело совсем не в каких-то приоритетах. Во-первых, оставалась надежда, что встреча с родиной Есенина, пусть позже, но состоится. Во-вторых, разве сейчас я шел не по родным есенинским перелескам, разве Пощупово находится не на Оке, разве не этими дорогами ходил он в Солотчу, Спас-Клепики, куда предстоит идти и мне, разве дух поэта - конкретное место, дом макет, имитирующий оригинал, а не эти березы, эти поля, васильки во ржи? И, все-таки, я все стою в нерешительности, словно ожидая знака свыше. Хотите верьте, хотите нет, но то, что случилось в тульской степи, повторилось опять. Правда, вначале мимо меня в сторону Константинова проехал большой желтый "Икарус", набитый пассажирами, а в сторону Пощупова пролетела над самой землей маленькая пичужка. Побегала по пыльной обочине, пострекотала что-то и исчезла так же стремительно.

В здешних местах деревни, лежащие на Оке, - основательные, просторные. Их правый берег

высокий, крутой, вид с него открывается славный. Левый же берег - зеленая окская кайма, ровная, насколько хватает глаз. И только виднеющаяся в дымке Солотча уже карабкается наверх, но она стоит на правом берегу уже другой реки. Первое, что я увидел в Пощупове, была колонка. Я бодро устремился к ней, но, увы, воды не было. И так на каждой улице. "У нас такое случается", - услышал я после пятой или шестой попытки набрать воды. А вот и монастырь. Влево от него шла тропка, резко уводящая вниз. Вижу несколько человек, спешащих по тропке, у всех в руках посуда.

- Куда он? - спрашиваю проходившую мимо девочку.

- А вы разве не знаете? К святому колодцу. Она и проводила меня до места, где было можно испить святой водицы. Шли мы быстро, по пути обогнав старика с ведром, группку туристов в шортах. Все шли к колодцу. На нем стояла икона. Вода струйкой текла к деревянному домику по искусно сделанному желобку и, к моему удивлению, исчезала в этом строении.

- А что это? - спрашиваю я, с наслаждением замирая от ломоты в зубах. Подоспел старик с ведром. Он и объяснил мне, что домик - купальня.купаются в ней и стар и млад, больные и здоровые. Никому вреда от нее не было и не будет. Это насчет того, что кто-то боится заболеть. Совсем наоборот. Вся хворь с Божьей помощью выйдет. А ежели вам еще далекоидти, - и он окинул меня взглядом, - то после купания здесь дойдете куда захотите. Вода-то не простая. Оставляю рюкзак на улице и отчего-то несмело открываю двери купальни. Там одеваются несколько монахов. Одеваются неспешно. Здороваюсь и сажусь в свободный угол. На полу предбанника грязновато, видимо, от следов обуви. Но в купальню идет чистая полоска. Раздеваюсь и иду по ней. В купальне на стене иконы. Очень чисто. Деревянные ступеньки исчезают в темной глубине. Повеяло холодом и сыростью. Монахи уходят, я слышу как стучит дверь. Голос высокого молодого монаха, обращенного к кому-то на улице: "Подождите, сестры, там мужчина. Выйдет, пойдете вы". Следовательно, мужчине следует спешить. Перекрестился, и вперед. На третьей ступеньке мне показалось, что сердце мое уже не стучит. Чего тянуть? Я прыгнул в глубину. Скажу откровенно, какое-то мгновение я не понимал, жив ли я или умер. Выпрыгивая, пытаюсь хватануть воздуха, но не могу. Но уже спустя мгновение слышу радостный стук сердца. Мне захотелось еще раз окунуться в эту темную воду...

Одеваясь, каждой клеточкой ощущаю, как вместе с теплом приходит какая-то неведомая сила. Словно и не было длинного пути, усталости. Но у меня нет времени вслушиваться в себя, надо торопиться. Женщин на улице все больше и больше. В монастырь я пришел, когда в его дневной жизни наступило короткое время затишья. Монахи разбрелись по кельям, не видно и паломников. Есть время осмотреться.

Монастырь очень древний. Сейчас он напоминает большую стройку. Действительно, работы здесь непочатый край. Что поделаешь, время безжалостно. Даже монастырские строения, когда-то сделанные на совесть, доброту, не выдержали. И надо восстанавливать. Монахов немного. Человек пятнадцать. В основном это молодые люди. В восстановлении им помогают паломники. Здесь рады каждому и каждому найдется место.

Вижу молодого человека, на вид совсем еще мальчика. Очень тихий голос, что-то у него с шеей: голова не поворачивается. Смотря на что-то или на кого-то, в данном случае на меня, поворачивается всем телом.

- Вы подождите немного. Должен пройти отец Иосиф, если он даст благословение, то можете остаться. Вы ведь паломник?

- В какой-то мере, да, но мне нужно завтра идти дальше.

- Подождите все равно. Хотя... Вы, наверное. Голодны? Вон в том сарайчике кухня, еще не должны были все убрать.

Благодарю Андрея, так зовут привратника, и иду на кухню. Несколько женщин, молодых и старых, убрали со столов, мыли посуду. Работали споро, молча. Я ничего не объяснял. Только присел на скамью, появились две тарелки - с вареной картошкой, огурцами, стакан компота и много хлеба. Впрочем, стоит ли описывать каждую минуту пребывания в монастыре? Это для меня они драгоценны и неповторимы, как знать, насколько это интересно другим. Время будто остановилось. Я оставил рюкзак, а сам отправился бродить по монастырю, от храма к храму, от строения к строению. Нежданно-негаданно летний зной сменился потоками воды с небес. Они словно послужили сигналом - монастырь ожил, появилось много людей. Все были чем-то заняты, один я зачарованно стоял и смотрел на купола. Их омывал дождь. Капли стекали вниз, а на старых деревьях по-весеннему заблестела листва. Но так же неожиданно все стихло. Показалось солнце и засверкало на куполах, листве, нагрудных крестах у монахов. Одного из них узнал. Высокий, худой, - тот, кто был в купальне. Он куда-то спешил. Вскоре я понял, куда и зачем. Над монастырем, над окрестностями, над миром раздался высокий и чистый колокольный звон. И замер. Затем второй, третий. Все увереннее и увереннее. Раскрылись двери храма. Началась служба. Ее начала ждал невысокий пожилой человек, одетый так, как одевались в России лет пятьдесят назад. Высокие сапоги, косоворотка. Лицо крестьянское, умное, движения основательные, неспешные. Он охотно рассказал мне о том, что служба будет праздничной, потому что завтра Собор 12 апостолов. А как известно, апостолом был и Иоанн Богослов, имя которого носит монастырь. Родом человек оказался из Уфы, там и проживал, по делам своей церкви приезжал в Москву, но никак не мог не приехать сюда.

- Монастырь этот славный, здесь праведников всегда было много. Народ рассказывает, что еще при Орде здесь немало чудес совершалось. Тогда еще он заступником за русскую землю был. Как же ему не подняться, как же не возродиться?

Действительно, и я вдруг вспомнил одну из легенд, слышанных мною, напрямую относящуюся к Иоанно-Богословскому монастырю. Говорят, жил в окрестностях монастыря пастушок, обычный крестьянский мальчик. Была у него заветная мечта, очень он хотел стать иконописцем. Но его не брали мастера в ученики, говорили, что бесталанен. Целыми днями молился пастушок, прося у Бога помощи. И однажды, когда в слезах сидел мальчуган у монастырских ворот, он и не заметил, как уснул. И во сне явился ему Иоанн Богослов и утешил его, и сказал, что будет он иконописцем. Так и получилось. И уже скоро слава о молодом иконописце достигла Рязани, и захотел князь рязанский пригласить к себе работать вчерашнего пастушка. Но возревновал княжеский придворный иконописец, и порешил тогда князь устроить между ними соревнование. И нарисовал наш герой сокола, да так искусно, что ахнули все: птица была как живая. А сокол вдруг встрепенулся, расправил крылья и исчез в высоком небе. Стало ясно, кто выиграл спор. Служба завершилась поздно вечером. Я давно так не уставал и давно так не было чисто и светло на душе. Старший среди паломников, Александр, взял надо мной опеку. Мы поужинали, и он проводил меня к двухэтажному кирпичному дому, бывшему когда-то спортшколой, а еще раньше монастырской гостиницей.

- Да тут все окрестные поля принадлежали монастырю, - рассказывает мне Александр по дороге. - А теперь сами видите, какой разор кругом. Но ничего, - и он произнес те же слова, что и человек из Уфы, - монастырь поднимется, обязательно поднимется.

Год назад в газете Александр прочитал объявление о том, что нужны помощники в деле восстановления монастыря. Взял отпуск и приехал сюда. Понравилось? Не то слово. Почувствовал, что это - его место. Сейчас живет здесь, как послушник. Всерьез подумывает о том, чтобы стать монахом. Служить Богу - что может быть лучше этого?

- Послушников и паломников немного, но они работают на совесть, не за страх, не за деньги, как в миру. Большая радость - общение с монахами, особенно с настоятелем, отцом Авелем. А вообще-то выбирайте время и приезжайте сюда хотя бы на недельку...

Так за разговорами мы пришли в бывшую спортшколу. Мужчины ночевали в большой комнате на первом этаже, женщины на втором. Мне сразу посоветовали понадежнее спрятать вещи в рюкзак, даже кроссовки. Крысы. У одного парня они половину кеда отгрызли. В комнате порядок. Народ постепенно подходит. Свет выключается относительно рано, но ведь и вставать надо засветло. Александр настоящий командир. Перед тем, как он выключил свет, я успел хорошо осмотреть комнату. Много маленьких икон, репродукций с картин и фотографий, на которых изображены апостолы, святые мученики, последний русский царь Николай Александрович. Особенно много изображений преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Молимся. Уже в потемках, как в далеком детстве, возникает разговор. Люди разные. Мне кажутся наивными некоторые рассуждения, вопросы, но и этой наивности столько веры, искренности, чистоты, что я стыжусь своих мыслей. Начинаю рассказывать об Оптиной. Чувствую, что никто не спит. Сначала Александр ворчит со своего места: "Завтра всех в пять подниму, вот увидите", но вскоре и сам увлеченно подключается к разговору. Мы говорим о чудесах, о святых людях Руси, о будущем России. Я слышу голос Андрея, старика из Уфы, тех, с кем познакомился недавно, точнее, только что. Лишь к полуночи над нашей комнатой воцарилась тишина. Хотя, нет. С кровати уфимца раздался мощный храп, но я уже его не слышал.

13 июля. Мещора.

Шесть часов утра. Александр уже помолился, но остальных пока не будил. Видимо, жалел. Его зычный голос раздался только тогда, когда спящих оказалось три четыре человека. Остальные были уже на ногах. Наступающее утро приносило свои заботы. Поймал себя на горькой мысли: только я, грешный и праздный, без дела хожу по земле. Сколько людей, самых разных, встретилось мне на пути. Но в одном все они были схожи. Новый день означал для них и новые труды. Я уходил в дорогу, унося с собой самые добрые чувства об этих людях. А что они думали обо мне, глядя мне вслед? Подошли Андрей и Александр. Объяснили мне, как дойти до парома через Оку, ребята прощаются. Андрей говорит мне слова, которых никто и никогда в жизни мне не говорил: "Пусть ваш ангел-хранитель будет всегда рядом". "Храни вас Господь", добавляет Александр.

Честно говоря, я так расчувствовался, что не заметил, как добрел до парома. Паромщик только что причалил к берегу. На нашу сторону он переправил небольшой табун лошадей и двух подростков-погонщиков. На другой охотников ехать было всего два человека - я, да невысокий мужичок в брезентовом плаще и кирзовых сапогах. Когда я спросил паромщика, как мне дойти по этой луговине до Солотчи, он, почему-то рассмеявшись, показал на мужичка: "А он туда идет. С ним и дойдете". Точно так же мой Харон рассмеялся, когда я протянул ему медяки: "Спрячьте и не смешите меня". И вот уже мы шагаем очень скоро по мокрой от росы траве. Я так и не узнаю никогда, как звали моего попутчика. Одно бесспорно: если бы не он, не скоро я дошел бы до Солотчи. Он выбирал тропинки, которые, по всем моим понятиям, вели в обратную сторону. Но вскоре оказывалось, что мы обходили очередную протоку. А якобы удобные тропы упирались в непроходимые водоемы. Вскоре я уже понял, что шагающий рядом со мной человек относится к тому типу людей, о которых у нас в России говорят предельно просто: "Чудаки". Чудачества их, мелкие и большие, видны во всем, что бы они ни делали. Через каждую минуту, после длительного бормотания под нос, мой попутчик вдруг выпаливал: "Жизни и делу жизни я несомненно соответствую". Как я смог понять, в данный момент жизни основной его заботой являлось поскорее отремонтировать доставшуюся ему от матери в наследство половину дома. Он с любовью и в подробностях описал его раза три или четыре. За

таким веселым разговором километры преодолевались быстро. А тут он меня добил совсем. Не помню точно, о чем пошла речь. Мужик неожиданно сделал свирепое лицо, как-то весь подался вперед, и на одном дыхании выдал цитату то ли из энциклопедии, то ли из популярной брошюры, касающуюся нашего разговора. Я так и подпрыгнул от удивления. Однако, все оказалось просто. Мой новый знакомый обладал великолепной памятью, а поскольку из-за отсутствия курева он, как и многие его односельчане, стал использовать махорку, понадобилась бумага. В дело пошли старые газеты, брошюры. А поскольку курил он много, то где-то часа два в день у него уходило на чтение тех обрывков, из которых сворачивались трубки. Спектр его знаний был необычайно велик: от агропромышленных вопросов до социалистического реализма. Слабость же его заключалась в обрывочности этих же самых знаний. В буквальном смысле слова. Цитата зачастую обрывалась на полуслове. "Дальше было порвано", - чистосердечно объяснял он мне. Уже в Солотче мой странный попутчик неожиданно свернул в ближайший переулок, не сказав ни слова. Я не успел поблагодарить его и расспросить, куда мне идти дальше. Впрочем. В этом не было надобности. Солотча - поселок небольшой, одноэтажный. Настоящее дачное место. Странно, но именно таким в детстве я представлял местожительство Тимура и его друзей, папы и его дочери из "Голубой чашки" и прочих произведений Аркадия Гайдара. Хотя чему здесь удивляться? Известно, что Гайдар неоднократно отдыхал в Солотче. Однако Солотча больше известна как одно из любимых мест не менее известного писателя - Паустовского. Многие ее жители расскажут вам о писателе, его привычках, привязанностях, увлечениях. Тихий, зеленый поселок. На окнах сидят важные кошки, загорелые детишки плещутся в удивительно красивой речушке, чинные старушки на лавочках. Возникает ощущение, что все здесь, от людей до воробьев и кошек, живет в своем особом ритме. Замедленном, будто бежал человек, бежал, да вдруг лень стало ему двигаться дальше, но двигаться надо. В райском уголке был пропитан ароматом чарующей лени даже воздух. Возникло сильное желание постучать в один из этих уютных домиков и попроситься пожить недельку-другую. Поесть вишни, искупаться в реке, побродить по тихим улочкам, которые, быть может, помнят Сергея Есенина, приходившего сюда пешком из Константинова к Анне Снегиной. Но нужно было идти дальше.

Поселок незаметно перешел в деревню Заборье. Все. Я входил в древний, как русская земля, мещерский край. Край непроходимых лесов, могучих сосен, деревень, спрятавшихся в чащобах, бесконечных болот, чистых рек. Уже следующая деревня, Ласково, вся располагалась в лесу. Деревня как деревня. Не мала и не велика. Я уже почти прошел ее, как на ум пришла мысль о том, где бы я мог раньше слышать название деревни. Ласково, Ласково. Где-то определенно слышал. Может быть, читал? Неужели?! Точно, это было здесь. "Прослышал Петр, что в Рязанской земле много врачей, и велел везти себя туда - из-за тяжелой болезни сам он сидеть на коне не мог. И когда привезли его в Рязанскую землю, то послал он всех приближенных своих искать врачей. Один из княжеских отроков забрел в село, называемое Лесково. Пришел он к воротам одного дома и никого не увидел. И зашел в дом, но никто не вышел ему навстречу. Тогда вошел он в горницу и увидел удивительное зрелище: за ткацким станком сидела девушка и ткала холст, а перед ней скакал заяц".

Здесь, в Ласково, жила мудрая русская девушка Феврония, ставшая женой муромского князя Петра. Древнерусская повесть с удивительной теплотой рассказывает об этих необыкновенных людях, о их любви, верности, жизни и смерти. О том, что ни при жизни, ни после смерти злая судьба и недобрые люди не смогли разлучить Петра и Февронию. Восьмого июля Православная Церковь отмечает день памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

В Ласково стоит часовенка, построенная в честь знаменитой уроженки этих мест. Мне рассказали, что восьмого июля сюда приехало множество людей со всех концов России. Люди помнят благоверную княгиню, нуждаются в ее помощи и молитвах. В мещерских окрестных

деревнях и селах я услышал много рассказов о ласковской крестьянке, ставшей княгиней. Настоящие апокрифы, родившиеся в народной среде сотни лет спустя после написания ее жития. Кстати, называют ее в здешних местах Хавроньей или Хевроньей. Запомнилась одна из таких легенд. Записываю, как слышал.

Рассказала Хевронья по простоте душевной своим подружкам, что выйдет замуж за муромского князя. И что приедут за ней послы княжеские, и поедет она в санях по глубокому снегу. Подняли Хевронью на смех. А когда зима прошла, ей и вовсе проходу не стали давать. Где же твой князь, кричат. Где сани, в которых ты поедешь? А она улыбалась им, не спешите, мол, посмотрим, кто последним посмеется. И что же вы думаете? Летом, как раз в эту пору, приезжают к ней послы от князя. А как уезжать собрались, снег пошел. Три дня метель мела. Пришлось им на санях в Муром добираться. А на прощание Хевронья сказала ласковцам: "Обиду на вас не держу, но за насмешки и неверие проучу немножко. Вот какое сейчас наше село, таким оно останется всегда. Больше не будет, но и меньше тоже". И так оно и получилось. Сколько с той поры лет прошло, а Ласково в тех границах и стоит. Человек, рассказавший мне эту историю, после небольшой паузы, не без смущения добавил: "Правда, так было до недавнего времени. А где-то с того лета Ласково прирост поимело. Дачники из Москвы строиться стали. Но они, известное дело, Бога не боятся".

В нескольких километрах от Ласково я обратил внимание на огромный муравейник у дороги. Муравейник был огромен, видно за ним ухаживали и оберегали его. Да и вообще, в этом краю люди мне показались более добрыми и простыми, чем в других местах. Это касалось даже такой вроде бы малости, как забота о нашем путешествующем брате. Я потерял счет стоянкам для отдыха, удобным и красивым. Чувствовалось, что ухожен был лес с любовью. Но меня поразило в тот момент другое. Тысячи, сотни тысяч муравьев в бесконечном, ни на секунду не прекращающемся потоке, сновали сплошной рыжей массой. Только сейчас я до конца понял, какое замечательное сравнение - многолюдного города с муравейником - было придумано когда-то.

Через час я повстречал совсем других муравьев - больших, черных, с огромными челюстями. Это была моя первая стоянка в мещерском лесу. Устраиваюсь в ельничке, помимо уже традиционных вещей достаю средство от комаров. Уж если это отродье меня так донимало в степи, что же тогда они сделают со мной здесь, в огромном лесу? Однако проходит минута, вторая, а комаров не слышно и не видно. Тут только обращаю внимание, что под ногами у меня песок и мох. Воздух удивительно сухой и чистый. Дорога осталась далеко в стороне, так что только изредка доносился слабый шум проезжающих машин. Не замедлили появиться муравьи. Интерес они проявили не ко мне, а к содержимому рюкзака. Осталось порадоваться своей предусмотрительности: все продукты были обернуты целлофаном. Оставив муравьев в покое, ложусь немного подремать. Путь предстоял еще не близкий, а потому решаю просто немного подремать, а потом идти дальше. Мне показалось, что спал я совсем немного. Правда, отчего-то стало в лесу как-то темнее. Неужто дождь будет? Смотрю на часы и успокаиваюсь. Самый нахальный муравей, видимо, отчаявшись добраться до еды, добрался до моего лба. Когда я осторожно беру его руками, он отчаянно начинает хлопать своими челюстями. Грозный мужик! Мне остается оставить своим черным приятелям немного хлеба и идти дальше. Еще раз смотрю на часы... На них все те же без пятнадцати пять. Стоят! И никакого дождя не предвидится, просто солнце уже садится. Почти бегом добрался до ближайшей деревни, где и узнал, что уже десятый час. Выходит, я спал больше шести часов! Усталость, свежий еловый воздух, отсутствие комаров сделали свое дело. И все бы хорошо, но до деревни Криуши, где я собираюсь переночевать, еще восемь километров. А в деревнях спать ложатся рано. Добрые люди в Кельцах предложили мне остановиться. Но тогда до Клепиков завтра мне придется идти почти сорок километров. Есть и еще причина идти в Криуши. Вчера, перед

самым Пощуповым, шофер проезжавшей мимо "Волги" предложил подвезти меня. Еще раз увидел я его, когда возвращался из купальни. Оказалось, что у Василия Андреевича, так звали хозяина машины, в Пощупове имелся дачный участок. Он с гордостью показал на уже готовый фундамент, сарайчик, в котором можно было хранить инструмент. Узнав, куда я иду завтра, он как-то очень неожиданно оживился. Вот тут-то я узнал, что живет в Криушах его отец, бывший лесник, Андрей Тимофеевич.

- Вы обязательно зайдите к нему, - сказал мне Василий Андреевич. - Мы мать недавно похоронили, тоскует он сильно. А мне с этой стройкой все недосуг к старику приехать. А от меня привет передайте. Стемнело. Я шел очень быстро. По моим расчетам рядом должны начинаться Криуши, но куда там: дорога, дорога, а кругом бесконечный лес. Самое интересное, что где-то в стороне я слышал крики петухов, лай собак, мычание коров. Пробую идти на звуки, но лес встречает темной непроходимой стеной. Деревня-призрак? Чуть вправо от большака пошла песчаная дорожка. Над головой проносятся совы, еще немного и тьма скроет от меня тропинку. Вдруг лес раздвинулся, и я вышел на берег очень живописного озера. На берегу деревянный стол. Три парня за столом, уставленном закуской - колбаса, свежие огурцы, картошка. Две бутылки водки. Одна уже пуста. Ребята мне все объяснили. Криуши действительно находятся на дороге, но на старой. Сейчас проложили окружную, вы по ней и шли километра четыре. А лесник Трофимыч и впрямь живет здесь, и живет неподалеку. Вы не дошли до его дома метров сто. Лучше всего вернуться на ту дорогу, по которой шли. Третий дом с краю. Вот что значит паника. Возвращаюсь на дорогу. И действительно, она, резко сворачивая, шла на окраину деревни. Найти дом лесника труда уже не составило.

Дверь открыл невысокий пожилой человек. Слушать он меня не стал, сразу схватил за руку и тоном, не терпящим возражений, произнес: "Чего на крыльце разговаривать? У меня гости. Ты, наверное, тоже в гости пришел. Заходи". Да, в комнатке вовсю шло застолье. С трудом объясняю цель моего позднего визита, передаю привет. Знакомлюсь с присутствующими. Собственно. Я немного преувеличил: праздник кончился, гости допивали чай и собирались на покой. Это были дети Андрея Трофимыча. Они так же тепло и радушно встретили меня, как и их отец. А ночью, когда над лесом зажгла свои звезды Большая медведица, Андрей Трофимович увлек меня в сад, на скамью, где мы повели неспешную беседу. Спать совсем не хотелось. Старик спал мало, а после смерти жены его вообще замучила бессонница, я же выспался сегодня на славу. "Какой у меня сегодня день, какой у меня сегодня день. Счастье какое", - повторял он, поглаживая симпатичную лохматую собачонку. "А завтра мы с ней опять одни останемся. Дети мои разъедутся, вы уйдете". Я многое узнал в эту ночь. И прежде всего узнал, что живет в затерянной мещерской деревне добрый, милый человек Андрей Трофимыч. В немудреных словах он мне рассказал о своей жизни, почти всю проведенную в Мещере. Только на войну отлучался.

- Василий-то у меня от первой жены. А эти четверо, кого вы видели, они ведь мне не родные. С их матерью я после войны сошелся. Какая женщина! Она ведь не хотела семью разбивать, но уж так получилось: я пришел к ней однажды и говорю: не прогоняй меня. А своих родных детей я не бросал никогда. И все они мне родные... Я ее схоронил недавно совсем. Болела долго. Тихо болела, будто стеснялась. А зачем мне без нее жить? Поверите, мы ведь с ней ни разу не поругались за сорок лет. Разбуяняюсь, раскричусь, - посмотрит так, что стыдно за себя становится. Да. Не хочу жить. Всякий раз, когда я ее во сне вижу, прошу: возьми меня к себе, матушка... - Андрей Трофимыч заплакал.

На крыльцо вышла его дочь.

- Папа, что ж ты человеку спать не даешь? Старик засуетился:

- Что ж это я? Разболтался. - Он посмотрел на часы. - Больше двух часов проболтал. Заговорил вас совсем.

- Ну что вы!

- А правда у меня хороший дом? И дети у меня хорошие! Будете в наших краях, хоть один, хоть с друзьями, заходите в гости. Всегда буду рад. Мы пошли к дому. Большая Медведица опускалась за лес.

14 июля. Клепики.

Дочери Андрея Трофимовича собрали мне на дорогу тормозок. Все большое семейство во главе с хозяином дома вышло проводить ночного гостя. Несколько раз оборачиваюсь, фигурки людей все меньше и меньше. А вскоре стена подступившего леса скрывает от меня не только их, но и деревню. Я же совсем по-другому смотрю на могучих зеленых богатырей. Не таким жизнерадостным кажется мне их шум. Судя по всему. Мещера станет еще одной жертвой "созидательной" деятельности человека. Старый лесник рассказал мне, как осушали в мещерских лесах болота, как исчезли сначала комары, потом птицы, ушло зверье. Песок наступает на леса, перестали расти деревья. Горечь была в словах Андрея Трофимовича:

- Вот вы говорите, как замечательно здесь у нас. Спору нет, замечательно. Но мы, те, кто родился в этих лесах, помним, какая была Мещера до осушения. А сейчас... словно на похоронах присутствуешь. Что детям своим оставим? - Он безнадежно махнул рукой и добавил, как гвоздь в гроб вогнал: - Погубили Мещеру. У деревни Малиновки стояло высокое сооружение, служившее, видимо, работникам лесного хозяйства для наблюдения за лесным массивом. Забравшись на самый верх, я еще раз вспомнил слова Андрея Трофимовича. Вспомнил, когда дух мой захватило от увиденного. Муравьиными строениями лежала внизу Малиновка, а кругом, куда доставал взгляд, величественно и спокойно стоял Лес. Вот именно так, с большой буквы. Это темно-зеленое море от горизонта до горизонта потрясало. Неужели все это погибнет? Погибнет от глупости человеческой, жадности, ненасытности? С севера шла огромная туча. Наверное, будет дождь с грозой. Но сколько бы ему не идти, он обязательно пройдет. Небосвод вновь будет голубым. А минует ли Мещеру гроза, что огромным невидимым фронтом встала над этим зеленым океаном? Минует ли?

Пытаюсь на востоке разглядеть Спас-Клепики. Но их не видно. Что ж, придется сегодня пошагать. Впрочем, дорога в этом лесном краю совсем не в тягость. Да и глаза не перестают удивляться. Взять, к примеру, местные деревни. Что народ здесь приветливый, я уже писал. Но добрые, отзывчивые люди встречались на протяжении всего пути. А вот коровы в здешних деревнях просто необыкновенны. Ходят буренки по лесу, словно лоси, пощипывают травку, пастухов не видно. Или выйдут на дорогу и перейдут ее, спокойно, с чувством собственного достоинства, и опять скроются в чаще леса. Наверное, в Индии такие же ходят. Впрочем, чем ближе я подходил к Клепикам, тем меньше мне встречалось бродящих по лесу коров. Зато все чаще стали попадаться стайки туристов. Окрестности реки Пры - рай для этой веселой неугомонной братии. Тихо и спокойно прошел для меня этот день. Клепики оказались очень милым городком. До гостиницы я добирался через весь город и потратил на это почти два часа. Только в центре города одноэтажные дома уступили место двухэтажным. Дома эти видели юного Сергея Есенина, некоторое время учившегося в местной школе. Да мне кажется, что не только отдельные дома, но и Клепики в целом остались такими же, как и восемьдесят лет назад. Такими же тихими, немного патриархальными. Так же, наверное, судачили женщины, облокотившись на крашенные заборчики, так же обсуждали местные новости, сбившись в кучку, мужики, чинно покуривая папироски. Вечером это можно себе позволить.

Гостиница в Клепиках находилась на самом конце городка. Я уже не надеялся ее увидеть. Тем более сладким показался мне чай, которым угостила дежурная, и мягче постель в скромном номере.

15 июля. Живут в Туме патриоты.

По всей видимости, почти месячная ходьба начинает сказываться. Вроде бы и отдохнул за ночь хорошо, а ноги как свинцом налиты. Медленно, с трудом бреду по направлению к рабочему поселку Туме. Отдыхаю часто, благо деревни попадаются через каждые три-четыре километра.

В одной из них познакомился с семьей Морозовых. Дом их почти крайний в Кобыленке. Войдя в деревню, я увидел старуху, сидящую у окна, словно в портретной раме. Старуха была очень древняя и слепая. Она подставляла лицо навстречу солнечному свету, и незрячие глаза ее, не моргая, смотрели вдаль. Это была мать хозяина дома. Не помню, с каких слов началось мое знакомство с этими простыми, но очень добрыми людьми. Помню только, что сидели мы на скамье под окном, меня потчевали молоком, хозяева рассказывали о своем житье-бытье, а над нами, в оконной раме, возвышалась старуха, время от времени произносившая одну и ту же фразу: "Вы пейте молочко, оно силы дает". А около соседнего дома сидел на лавке человек, несмотря на жару одетый в фуфайку. Он изредка бросал взгляды в нашу сторону. Судя по репликам моих новых знакомых, они не очень жаловали этого человека. Да и я забыл о нем, когда он исчез за калиткой своего дома.

Но когда я, попрощавшись с Морозовыми и дав им обещание при случае заглянуть в их дом, отправился дальше, из-за калитки соседнего дома меня окликнул чей-то голос.

- У вас закурить не будет? - голос принадлежал виденному мною ранее человеку. Я ответил, что не курю, и хотел идти дальше, но он спросил что-то еще, и я понял, что человеку очень хотелось поговорить. Позже, размышляя о произошедших за день встречах, мне стало ясно, почему встреченные люди так хотели общения. Я был чужой человек, для них не совсем обычный. Но не это главное. Они все нуждались в простом человеческом общении, потому что были одиноки. Дети их жили в городах, на родину наведывались редко, если наведывались вообще. А к кому-то и вообще наведываться было некому. Как к тому человеку в фуфайке, чье имя я даже не успел спросить. Жил он совершенно одиноко. Видимо, болел. У меня от жары пот выступил на лбу, а он зябко кутался в свою фуфайку. Он с удовольствием рассказал мне о деревне, куда я забрел. Узнав, что это раньше было большое село, спрашиваю его о церкви. Он как-то вздрогнул, на что, впрочем, я не обратил внимания, и глухо бросил: "Сломали ее перед войной".

Не знаю отчего, но я стал рассказывать о том, что во многих деревнях, где когда-то были сломаны церкви, мне рассказывали о страшной и трагической судьбе тех, кто кощунственно поднял руку на святыни. Они погибали в расцвете лет или умирали мучительной смертью. Истории были похожи, но от этого они не становились менее правдивыми. О случайности говорить тоже не приходится. Если даже в святотатстве участвовало много человек, Божья кара находила всех. В одной тульской деревушке бабуля рассказала мне, как пятеро подвыпивших мужиков в то страшное послереволюционное время залезли в церковь, вытащили иконы и, не обращая внимания на плач и крик священника, стали рубить их. Священника вскоре расстреляли, церковь разрушили, кирпич пошел на строительство школы. Но счастливее от этого жизнь сельчан не стала. А те, пятеро, в течение семи десяти лет покинули этот мир. Кого зарезали в драке, кто сгорел в собственном доме. Своей смертью умер один, умер от страшной, неизлечимой болезни. Умирая, он произнес: "А выходит, Он есть".

Мой собеседник как-то просяще посмотрел на меня.

- А если не по своей воле?

- Что не по своей воле? Он замолчал, затем, словно решившись, заговорил. Дикция у него была отвратительная, говорил он быстро, но не понять его я не мог.

- Я ведь тоже церковь рушил. Молодой был, в Бога не верил, но меня заставили, зачем бы я сам? Время какое было, сами знаете. Вызвали нас с двумя мужиками в правление и сказали, так, мол, и так. Я отказываться, а мне... Да что говорить... Тех двоих давно уж нет. А я... Болею вот много, но скриплю помаленьку. Наверное, от того, что не по своей воле вроде как снисхождение мне. Как вы думаете? - и опять какой-то просительный взгляд, будто от моих слов что-то решится в его судьбе. Не ко мне ему надо обращаться, ох, не ко мне. В Туму я пришел к вечеру, еле-еле передвигая ноги. На самой окраине поселка повстречался мне попутчик, местный житель. Гидом он оказался прекрасным. Пока мы шли по длинно-длинной улице, ведущей в центр, добровольный мой экскурсовод рассказал много интересного. К тому же он оказался страстным патриотом Тумы. Впрочем, это не удивительно. Патриотизму не важны размеры, он не зависит от масштаба. Чем ближе подходили мы к центру поселка, тем все более расхотелся рассказчик. На нас уже оборачивались.

- Не знаю, какой дурак присоединил нас к Клепикам. У нас ведь свой район был. А вы не знали? Да и сейчас Тума больше Клепиков. И промышленность вся у нас. А у них, вы видели, что у них? Несчастный швейный цех. А у нас и вагоноремонтное депо, и швейная фабрика, и колбасный цех, и МПК. Строительство же все у них, они там под себя все тащат..

- В каком смысле?

- Да в таком. Выделяют, к примеру, деньги на строительство. Области какое дело, они району денег дали, а там трава на расти. А в Клепиках они денежки делят. Вот и живем мы без строительства.

Спорить я не стал. Лично мне и Клепики понравились, и Тума. Конечно, жаль, что живут в Туме люди, почти не надеясь получить новое благоустроенное жилье. Но, если честно, и в Клепиках какого-то строительного бума я не увидел. Бедность. Наша проклятая бедность. Мы делим крохи, и те, кому крох совсем не перепадает, все свое негодование обращают на тех, кому что-то достается.

- Какой-нибудь выход есть? - спрашиваю своего экскурсовода, прощаясь с ним. Будет когда-нибудь Тума лучше жить?

- Разумеется, выход есть. Будем добиваться отделения от Клепиков, депутаты наши к этому делу уже подключаются. Хватит им на нашей шее сидеть. Это точно. Суверенитет так суверенитет.

16 июля. Умершая деревня.

Я думал, что такие люди встречаются только в книгах и кино. Его велосипед догнал меня, когда я уже отшагал два часа по дороге из Тумы в Великодворский. Невысокого роста, рыжая щетина, обветренное лицо. Представился Федором Кузьмичем. Довольно бесцеремонно спросил, слезая с велосипеда:

- Вы не возражаете, если я компанию вам составлю? Попробуй, скажи "нет" - обидишь человека.

- Я не спеша шагаю, а вы, наверное. Спешите, - сделал я робкую попытку отстоять свое

дорожное одиночество.

- Не волнуйтесь. Мне спешить некуда. А так мы время проведем с пользой.

- С пользой для кого?

- Для нас, для кого же еще? - искренне удивился он. Кузьмич был из породы доморощенных философов-самоучек. В багаже у него было три или четыре класса, длинная трудовая жизнь, на заключительном этапе которой в нем проснулось желание все узнать, все объяснить, используя свой жизненный опыт. В результате из всего этого получались довольно любопытные результаты. Почти час он рассказывал мне свою теорию мироздания. Это была чудовищная смесь православия, буддизма, язычества, материалов из популярных брошюр серии "Знание". Слушал собеседника он с интересом, но от него сразу отскакивало то, что ему не нравилось. За разговорами мы дошли до деревни Кузьмича. Прощаясь, он посетовал на нехватку времени:

- Книг много надо успеть прочитать. И еще... - Кузьмич внимательно посмотрел на меня, словно оценивая степень моей надежности. - Понимаете, хочу сделать вечный двигатель.

- Чего? - у меня глаза полезли на лоб. Мой странный спутник, довольный произведенным эффектом, сбросил с плеч холщовый мешок, поднял с земли прутик и на пыльной обочине стал лихорадочно что-то чертить.

- Да вы не подумайте, я все рассчитал правильно, - и он стал мне объяснять, чертя какие-то круги, рычаги, в которых я не имел ни малейшего понятия. Я попытался что-то ему рассказать об истории этого вопроса, но лихорадочный блеск в его глазах говорил, что переубедить Кузьмича невозможно. Впрочем, я резко оборвал себя: стоит ли спорить? Человек решил для себя все вопросы бытия, теперь он решил перевернуть одно из самых устоявшихся представлений нашего мира. Бог ему в помощь.

- Не сомневайтесь, все получится. Только вот материалов нужных нет, - прокричал Кузьмич, навсегда исчезая за поворотом.

За поворотом я и не заметил, как из Рязанской области вошел во Владимирскую. Поселок Великодворский на самом ее юге. В поселке живут стекольщики, что для Гусь-Хрустального района не удивительно. Но задерживаться здесь я не хотел. У магазина, где бабушки ждали рейсового автобуса, попытался уточнить дорогу до деревни Уляхино.

- Да мы, милый, туда и едем. Сейчас автобус придет. Объясняю, что я пешком. Что об асфальтовой дороге знаю, но она делает большой крюк, а у меня на карте отмечена еще одна дорога, через лес. Дружно охают, дружно сомневаются. Затем выносят вердикт.

- Есть одна дорога, как на Гусь ехать. Другой нет. И тут одна из бабушек, по виду самая древняя, молчавшая до сих пор, вдруг неожиданно заговорила.

- Ты прав, сынок. Есть еще одна дорога. Через лес. Ветка.

- Какая ветка?

- Раньше тамодноколейка проходила, на завод дрова возили. Уж сколько лет, как ее разобрали, теперь по ней никто не ходит.

Я обрадовался:

- А как, по-вашему, пройти можно по ней? Ведь короче.

- Да, короче, - как-то неуверенно согласилась бабушка. - До Трушкино дойдете по ветке, а там и до Уляхино близко. Да вот дойдете ли? Я с удивительной поспешностью заверил всех, что дойду обязательно. Проводили меня дружным оханьем и пожеланием доброго пути. Я бодро вошел в лес. После тридцатиминутных блужданий, с помощью собирателей черники наконец-то нашел ветку. Углубление в земле можно было разглядеть, но оно так сильно заросло деревцами, кустарником, травой, что назвать ее дорогой мог бы только сумасшедший. Теперь я понял, почему все встреченные мною люди ее упорно называли веткой. Дорогой называл ее только я. Давно посеревшее небо разродилось потоком воды. Шел дождь минут двадцать и, можно себе представить, во что превратилась моя ветка. Но отступить было некуда. И я пошел вперед, проклиная собственное легкомыслие. Ноги насквозь промокли сразу же, мерзко капало с деревьев. Вскоре сухой у меня была только спина под рюкзаком. А ветка не кончалась. По бокам ее заманчиво отливали синевой ягоды черники. Крупные, блестящие. Но только я наклонялся, чтобы сорвать их, как на лицо, руки опускались полчища комаров и мошки. Да, это не южная Мещера. А ветка была когда-то прямой, как струна. Опять полил дождь. И кругом лес, лес, лес.

Вспомнилось о моем прошлогоднем приключении, когда заблудился в лесу. Тогда целый день я не мог выйти из зеленого царства. Но здесь-то все должно быть подругому...

Лес кончился как-то вдруг. Поляна блестела под солнцем изумрудом. Мокрый, уставший, но счастливый я поспешил в деревню, видневшуюся на пригорке. Странно. Светит солнце, зеленеет трава, поют птицы, аккуратно скошенная трава у домов, но все производит впечатление какой-то омертвелости. В деревне, куда я вошел, никто не жил. Стояли дома, сохранившие каркас, но внутри порушенные, плодоносили сады. Это страшно - деревня без человека, без голоса человеческого. Стайка воробьев бодро купается в лужах.

Захожу в один дом. Ступеньки отвалились, в сенцах на полу кучи рухляди, кирпича, досок. Пытаюсь представить себе этот дом в ту пору, когда он был обитаем. Вот здесь, наверное, висели ходики, а здесь, на печке, любил греться кот... А людей представить не могу. Не получается...

Уляхино встретило большой плотиной, берега которой густо облепили рыболовы. Чуть выше ферма, чистая, даже ухоженная. Сама же деревня просто удивила. Мне показалось, что я не в русской деревне, а где-нибудь в Прибалтике. Аккуратные домики на главной улице говорили о многом. Спрашиваю первого встречного, есть ли здесь общежитие.

- Нет. Зачем оно нам? У нас своих работников хватает. Интересуюсь, у кого бы лучше остановиться на ночлег. Смеривает меня взглядом с ног до головы.

- И не пытайтесь. У нас у всех здесь ковры и хрусталь, кто же вас пустит? Что-то новое. Неужели, чем больше достатка, тем меньше гостеприимства?

- Вообще-то есть у нас гостиница. Но туда только по личному указанию председателя пускают. Попробуйте, хотя...

Все ясно. В деревне председатель всегда первое лицо, в этой, образцовой, он просто царь и бог, думаю я, и не ошибаюсь. Председательский дом нашел быстро. Рискнул постучать, поскольку время было еще не очень позднее. Степан Петрович принял меня на крыльце. Вижу по лицу, как в нем идет борьба. Скромно говорю, что я журналист, работаю в Москве. Вскоре я получаю свою "верительную грамоту" записку к заведующему гостиницей.

Кто бы мог подумать, я уж было собрался ночевать где-нибудь в стогу, а ночью не просто в гостиничном номере, а в номере шикарном. В гостинице, а проще говоря, доме для высоких и нужных гостей цветной телевизор, холл, столовая, три или четыре комнаты с прекрасной мебелью. Засыпая, благодарю мысленно Бога и доброго еврея-председателя с таким русским именем-отчеством, с такой русской профессией, живущим в таком не типичном для его народа месте. Вот что значит хозяин, - в последний раз восхищаюсь я, утопая в белоснежной нежности постели.

17 июля. Перед последним днем.

Один из самых грустных дней. Странствие мое приближается к концу. До Гуся не больше тридцати верст. Дальше идти не получится: не осталось времени, да и силенок уже в запасе не больно много. Уляхино проводило по-осеннему нудным дождем. Пустынная дорога до Курловского. От Курловского к Гусю пошел по железной дороге. Последний раз повстречался с моей доброй трясогузкой. Желая, видимо, скрасить мое одиночество, она в этот раз минут десять летела, сопровождая меня. Когда вдалеке показались трубы - я подходил к Курловскому, - она почти подбежала к моим ногам, что-то чирикнула и - серая точка растаяла в небе... Прощай! До Гуся я не дошел: ноги и впрямь еле двигались. Переночевал в деревне Нечаевская, в рабочем общежитии. Колхоз оказался тоже не из последних, но народ здесь был попроще. Зашедший на огонек в общежитие Николай, местный житель, зазвал посмотреть свой дом, стоявший через дорогу. Отказать я ему не смог, хотя особой охоты не было. Честно говоря, плохо помню наш разговор. Думал я об одном: завтра последний день. На душе было грустно и одиноко.

18 июля. Вместо эпилога.

Сегодня я возвращаюсь к своей обычной жизни. К своим обычным занятиям, заботам. Другой бы на моем месте радовался, мне же оставалось только успокаивать себя: Бог даст, на следующий год ты отсюда, из Гуся, пойдешь дальше по прекрасной своей земле. Дальше и дальше, к синим далям, старинным городам, к добрым людям, которых ты еще не встречал.

Осталось написать совсем немного. По железной дороге вошел в Гусь-Хрустальный. По обеим ее сторонам щедро плодоносила малина, не очень сладкая, но удивительно пахнущая. Этот запах долго оставался со мной. Пока ждал автобуса до Москвы не мог отказать себе в удовольствии и сходил в знаменитый музей художественного стекла. В автобусе напала странная дрема. Сквозь монотонный шум колес я услышал позавчерашний дождь в лесу. Вот именно, услышал, как капли падали на листья берез; как они стекали на ягоды черники. Я срываю эти ягоды, брызжет сок, и следы от него еще долго будут у меня на руке. А вот и ...

Фекла

Самое первое воспоминание ее жизни: белые хлопья снега бьются в маленькое окошко, возникая из мрака, из пугающей темноты. Мама дышит ей в затылок и не хочет снимать с пальца широкое медное кольцо. В кольце отражается свет от лампы и мамино лицо. И еще низкий скрипучий голос:

- Бедная девочка, руки как плети висят. Уж лучше бы померла, чем потом всю жизнь мучаться.

- А мне кажется, что правая стала лучше, может быть, еще отойдет? - робко, словно пытаюсь уговорить кого-то, откликается мать.

- Дай Бог, дай Бог, невестушка, - заключает низкий скрипучий голос, и в избе снова воцаряется

тишина, только хлопья снега без устали бьются в маленькое окошко.

Потом мама ей расскажет, каким горем для семьи стала внезапная болезнь девочки. До шести месяцев маленькая Феклуша росла абсолютно здоровой. И вдруг как-то ночью всех разбудил крик девочки. Кричала она несколько часов, будто раздираемая нестерпимой болью. А после затихла и оцепенела - полный паралич. Феклу носили к бабкам, фельдшеру, молились о ее здравии в церкви. И случилось маленькое чудо: сначала отошла правая рука, затем пришли в движение шея и плечо левой руки. Все остальные части тела до конца Феклиных дней так и остались недвижимыми. Но вот что интересно: у родных, соседей, односельчан язык не поворачивался жалеть это красивую, крепенькую, жизнерадостную девочку. Только однажды, когда семилетнюю Феклу отец вынес на крыльцо погреться на майском солнышке, проходившая мимо соседка - бабка Пелагея, сложив руки и, поддерживая подбородок большим указательным пальцем, запричитала: "Ой, бедная ты моя! И за что же тебе такое?! И как же ты жить будешь..."

"Как буду, как буду, - осерчала Фекла. - Разве ты не знаешь, что на все воля Божья?" - обиды у девочки проходили мгновенно, и вот уже бабка Пелагея, с трудом сдерживая улыбку, слушает рассуждения из всех сил желающей казаться взрослой Феклы: "Знамо, жизнь трудная, но я мамке завсегда первая помощница. Малые на мне и прясть уже научилась. А ты, бабушка, такие глупости говоришь..." И она не обманывала. В свои семь лет Фекла стала нянькой. Сначала для младших братьев и сестер, затем для детей Прокофия и Василия, старших своих братьев, а после племянников пошли внуки. Семьи в те времена были большие и жили все под одной крышей. Так повелось издревле: сын приводил в дом жену, и уже будучи главой семейства, уважаемым на селе человеком, в то же самое время оставался послушным сыном. Невестки, снохи, сыновья, куча маленьких детишек, - но вот что удивительно: ссор, крика, обид не было. Чуть затлеет огонек ссоры, как уже раздавался спокойный голос деда Ивана, главы этой большой патриархальной семьи: "Василий, Петр! Что это ваши жены разгалделись? Али делать больше нечего?" - и этих слов было достаточно, чтобы в избе вновь воцарилась тишина, а с нею и мир. Одна из невесток деда Ивана, Вера, как приданное за собой принесла в новый для себя дом швейную машинку "Зингер". Машинка была замечательная: легкая в управлении, надежная, и Фекла, крепко подружившаяся с Верой, упросила ту научить ее работать на этом механическом чуде. Все удивилась, как быстро Фекла овладевала швейными премудростями. И вскоре село Новоюрьево получило такую мастерицу, которой не было и в райцентре. "Не оставил Господь, - утирала украдкой слезы мать. - Будет у Феклушки кусок хлеба, когда мы с отцом умрем". А хозяин сам подошел к Вере:

- Дочка, уважь старика. Меня не будет, и разбредутся мои сыновья по разным избам. Позволь мне войти в долю...

- В какую долю?

- Пусть половина машинки останется за Феклой. Ты же видишь, как она к ней пристрастилась. Уважь старика, возьми деньги.

- Да пусть работает на здоровье, у меня до машинки руки не доходят.

- И все же, Вера, кто знает, как твой Прокофий с Василием и Петром жить будут. Хочу умереть спокойным за Феклушу.

Старик оказался прав. После его смерти надумали братья делиться. А на дворе был голодный тридцать второй год. Им бы друг за друга держаться, а они решили, что порознь будет легче. Фекла осталась с братом Василием и его женой Анной. Купили себе дома на стороне Петр и

Прокофий, и ушли из-под родительского крова. Окончательно порвать отношения братьям помешала Фекла. Ее любили все, да и поди объясни детям, что они больше не будут слушать добрые феклинские сказки. Особенно переживал разлуку сын Веры Василек. У него с теткой были особые отношения. Пятнадцать лет разницы, а дружба - водой не разольешь. Мальчик долго ходил за матерью и, хныча, повторял одно: "Мам, почему тетка больше с нами не живет? Мам..."

И однажды, когда все были на работе, мальчуган убежал в старый дедушкин дом. Двери в ту пору в деревне на засов не закрывали, и каково же было удивление Феклы, когда входная дверь заскрипела, и на пороге появился Васенька. Копна соломенных волос явно говорила о том, что по пути сюда ее владелец не миновал ни зарослей репейника, ни кустов крапивы.

- Тетка, пошли к нам, - без предисловий начал он. - Мне без тебя плохо.

- Мне без тебя тоже, ну как же я пойду? Ты же еще маленький и меня не донесешь. Мы потихоньку, ты же по дому передвигаешься... А надо сказать, что Фекла действительно научилась перемещаться по дому. Делала она это так: опускаясь на левое, здоровое плечо, Фекла при помощи правой руки подтягивала тело вперед. Поскольку телосложения она была крепкого, а неподвижный образ жизни привел к излишнему весу, такие пластунские упражнения отнимали у Феклы немало сил, а потому пользовалась она ими только в крайних случаях. До дома Веры и Прокофия - больше километра. Живут они на выгоне, почитай в чистом поле, значит, помощи ждать не от кого. А у Васька глаза полны слез, он теребит ее за руку... Фекла вздохнула: пошли!

И они пошли, вернее, шел мальчик. Он подталкивал тетку, стараясь изо всех сил. Она даже взмолилась: "Племяш, если ты будешь столько сил на меня тратить, мы точно никогда не придем. Лучше иди рядом".

Часа через четыре показался одиноко стоящий в поле дом Веры и Прокофия. На счастье, пришел домой их старший сын, семнадцатилетний Иван. В окошко он увидел ползущую Феклу и тащившего узелок с ее вещами брата. "Вот видишь, а говорила помочь некому", - радостно говорил малыш, едва поспевая за Иваном, несущим на спине Феклу.

Прибывшей вечером Анне Фекла спокойно сказала: "Мне хорошо было у тебя, Анюта. Но годик хочу здесь пожить. А появится кто, не сомневайся, нянчить приду". И слово свое сдержала. Да и Васенька к тому времени подрос, и маленькую Таню, младшую дочку Анны, они нянчили вдвоем. Девочка принесла много радости в дом. Лицом она была в мать, характером, веселым и добрым, в Феклу. По крайней мере, Анна часто смеялась: "Вторая Фекла растет. Все ей нипочем. Даже когда ушибется, - погладишь ее по головке, она засмеется и дальше побежит". Когда Танечке исполнилось три года, иначе как ангелочком соседки ее не называли. Девочка действительно была чудо как хороша: золотистые волосы, васильковые глаза... Кто бы мог предположить, что случится такое? В тот страшный день все, как обычно, ушли на работу. Анна обещала прибежать в обед и накормить Феклу и дочь. Маленькая Таня беспрестанно бегала из дома во двор и обратно. Фекла немного прихворнула - очень болела спина, - и решила немного вздремнуть. Здесь же, в доме стоял привязанный теленок, которому от роду было всего несколько месяцев. На печке грелось ведро с водой. Когда девочка в очередной раз с шумом вбежала в дом, теленок, шараясь в сторону. Как он зацепил ведро и свалил его, остается только гадать. Фекла проснулась от крика. То, что она увидела, потом многие годы кошмаром являлось во сне.

- Больно мне, тетя, больно! - захлебывалась слезами Таня и, мокрая с головы до ног, протягивала к ней ручонки.

Фекла скатилась с лавки. Впервые в жизни ее обуяли страх, растерянность и ужас. Она сначала бросилась к девочке, а затем, поняв, что ничем помочь ей не в силах, через кипящую лужу, лежавшего теленка выкатилась на улицу.

- Люди, ради Бога, помогите! - не кричала - выла она - спасите ее, люди! Из соседних домов бежали на помощь, но она уже ничего не видела и не слышала: сознание оставило ее. Фекла была бы счастлива умереть. Но сознание вернулось. Танечка уже лежала в постели. Вокруг нее хлопотало много людей, но помочь никто не мог. Три дня девочка боролась за жизнь, стойчески терпя мучения, которые вряд ли кто из взрослых мог выдержать.

Умерла Таня в яркий, звонкий день начала лета. Умерла также светло и тихо, как жила. Перед смертью простилась со всеми. Поцеловала маму, попросила не плакать о ней: "Мне ангелочек сказал, что там будет хорошо". А потом обратилась к Фекле уже слабеющим голосом:

- Жалко, что ты не сможешь на мою могилку приходить. - Фекла в своей привычной позе сидела в ногах Танечки. Кровать была огромная, девочка казалась в ней еще меньше, чем была на самом деле. Таня пыталась приподняться, чтобы лучше увидеть тетю, но у нее это не получалось. Тогда Фекла осторожно опустилась на живот и подтянулась до уровня лица девочки:

- Не углядела я, голубчик мой, не углядела, - слезы мешали видеть Танино лицо. Лучше б мне под тем ведром оказаться, все равно никому не нужна.

- Обними меня, тетя, - это были последние слова девочки. Фекла здоровой рукой бережно обняла ее головку. Две слезы горошинками упали на подушку. Поняв, что Тани больше нет, заголосили бабы, мать сползла на пол около кровати и запричитала: "И на кого ж ты нас покинула..." А Фекле вдруг сделалось легко и спокойно. Танечка лежала, будто спала. И, не слыша никого и ничего, Фекла вдруг запела. Сначала тихо, затем громче. Растерявшиеся от неожиданности люди разом смолкли, и в наступившей тишине, - только ходики мирно отсчитывали время, звучал низкий голос Феклы:

Сидела я у окошечка, Ждала себе милого,
Не могла дожждаться. Спать ложилася.
Утром встала - спохватилася, Гляжу на себя - вдова,
Кому мы поем, Тому добро будет,
Тому сбудется И не минуется.

После по деревне ходила молва, что так Фекла всем новую беду пророчила. А беда действительно была совсем рядом. Через десять дней началась война. Старые бабки говорили, что это - за грехи людские. За то, что церкви святые поразрушили, священников поубивали. Но если покается народ русский, добавляли они, то обязательно Россия супостата Гитлера одолеет. Фекла ничего не говорила, она только слушала. Странное дело: в опустевший дом Анны валом валил народ. Женщины приходили по вечерам, садились в ногах у Феклы. У нее на кухне было свое место под образами, на крашеной скамье. Сзади подушки, на столе швейная машинка - все тот же верный "Зингер". Шли к Фекле люди и с радостью, и с горем, что было чаще. Отчего так повелось, вряд ли кто мог объяснить. В домах остались старики да малые ребятишки, целый день - работа до седьмого пота. И вечная тревога: как там мой, на войне? Стали приходиться и похоронки. Вот и шли бабы в дом Анны, зная, что всегда на кухне, под образами сидит Фекла. Она почти ничего не говорила, но зато всегда в конце находила несколько слов, от которых самая смертная тоска становилась тише. И хватало ее сил радоваться чужому счастью, даже когда пришли похоронки на брата Василия, мужа Анны, и Михаила, старшего сына Веры. Лет тридцать спустя Анна так ответит своему племяннику, тому

самому соломенноволосому Васе, когда он спросит, почему она, молодая и красивая больше не вышла замуж: "А ведь и впрямь, предлагали. И не раз. Однажды уже согласие почти дала. Но не поверишь, Феклы постеснялась. Она мне говорила, мол, решай, Анютка, сама, и как решишь, так пусть и будет. Но, веришь ли, чувство было такое, будто предаю ее. А она мне вновь твердит: "Брата моего не вернешь, вдовою ты честною была, так что все правильно". Ладно, отвечаю, только ты жить попрежнему со мной будешь. Молчит, но чую, уйдет она к Верке, матери твоей, или еще куда, но уйдет. А мы же ведь с ней родней сестер стали, особенно после смерти Танечки. Подумала я, подумала и решила: значит, так Господь судил, но куда ж мне без Феклы, а ей без меня..."

И, как в прежние годы, двери в их доме не закрывались. Когда же утихал до будущей осени сиверко, и на майское солнышко выходил греться старый кот Рыжик, выносили Феклу на крыльцо. Сосед всегда смеялся:

- У тебя, Фекла Ивановна, настоящий политклуб. Как ни посмотрю, все вокруг тебя бабы. И о чем только вы весь день трепитесь?

- Эх, - смеялась Фекла, - что еще нам остается? Одна радость - языки почесать. Умерла Фекла на Святой неделе. И в этом народная молва усмотрела некий знак свыше. Умерла неожиданно, потому что не болела, по крайней мере, никто жалоб от нее не слышал. Она пила молоко и вдруг поперхнулась. Лицо посерело, кружка с грохотом покатила по полу. Никто ничего не успел понять. Фекла поняла все. Она уже не чувствовала тела, сердце, словно нехотя, стукнуло раз, другой - и остановилось. Вместо голосов - гул, вместо лиц - какой-то яркий свет. Последняя мысль: как жаль, что я больше не увижу тот замечательный сон - куст бузины у родительского дома. Мама, говорит она, посмотри, какие красивые ягодки. Можно я сорву их? И, не дожидаясь ответа, бежит к кусту. Бежит сама, бежит босая, а из окна смотрит отец и смеется: "Какая ты ловкая у меня, дочка..." Хоронили Феклу на Красную Горку - так в народе называют первое воскресенье после Пасхи. Бабам, готовившим ее в последний путь, так и не удалось выпрямить умершей ноги. Поэтому гроб сделали особенный - он больше напоминал квадратный ящик. Под старость Фекла значительно прибавила в весе, а потому шесть здоровых мужиков, которые несли гроб, останавливались отдыхать почти у каждого дома. Из домов выходили люди и клали в гроб крашенные яйца, так что вскоре было видно только лицо Феклы. "Христос воскрес, Феклушка", - шептали женщины и вытирали платками уголки глаз.

Перед тем, как повернуть на кладбище, похоронная процессия прошла и то место, где некогда стоял родной дом Феклы. Люди почему-то не вспомнили об этом, и не остановились. Может быть, и правильно, что не остановились: даже следов дома не осталось. Но, как и прежде, росла на своем месте бузина. Налетевший майский ветерок пробежал по проулку, ветки бузины затрепетали и слегка наклонились, будто прощаясь с Феклой. Прощаясь навеки.

Старая фотография.

В свои юные годы мне хотелось знать обо всем на свете. И, разумеется, - любимым занятием было чтение. Читал я горы книг, читал до одури, но эту "жажду" утолить не удавалось. Друзья называли меня "ходячей энциклопедией", это льстило и только давало новый толчок к узнаванию всего и обо всех. Сейчас об этом вспоминается с улыбкой, а тогда... К двадцати годам все острее вставал передо мной вопрос о смысле жизни и вновь, наивный, я отыскивал очередную книгу и свято верил: вот она, самая-самая, она научит меня жить... Впрочем, искать-то истину я искал, но и без элемента тщеславия, повторяю, не обходилось. Какое это было наслаждение, в компании, среди оживленного спора, небрежно бросить фразу - то ли Паскаля, то ли Ницше... А еще эффектнее, туша огарок сигареты или сделав последний глоток

портвейна и подержав рюмку перед глазами, будто увидел в ней что-то необычное, произнести: "У Монтеня есть хорошая мысль".

Вскоре я стал замечать, что уже начинаю мыслить цитатами - красивыми ли, остроумными, а то и просто мудрыми, но сам умнее не становился, может быть, даже наоборот. Книга стала моим другом, но не смогла объяснить те самые истины, ответы на которые я так тщетно искал. Много позже на глаза мне попалось стихотворение, - даже автора его не знаю. Четыре строки из него просто резанули по сердцу, - это были слова про меня, двадцатилетнего:

Я прозревал, глупея с каждым днем,
И прозевал домашние интриги,
Не нравился мне век и люди в нем
Не нравились. И я зарылся в книги.

Одним словом, книжная мудрость, не пропущенная через сердце, не обогащенная опытом жизненных ошибок и неудач, не сдобренная солью от пота трудов праведных и пройденных дорог, - всего лишь "суета сует"... С улыбкой листаю свои старые записные книжки: "Время потому исцеляет скорбь и обиды, что человек меняется: он уже не тот, кем был". Блез Паскаль, Время... Пришел однажды день, и я понял всю неумолимость, трагичность, жестокость времени. До этого я что-то "глубокомысленно" говорил на семинарах по философии, упражнялся в остроумии. А на Тульском кладбище, очень старом и заброшенном, мне стало понятно сердцем то, что раньше понимал только умом. Не знаю от чего, но куда бы я ни приходил в своих странствиях, обязательно шел на местное кладбище. Хожу вдоль оград, читаю фамилии на памятниках, считаю, сколько прожил человек. На кладбищах хорошо думается, а грусть тихая, сладостная. Когда-то Жуковский написал элегию "Сельское кладбище", где очень хорошо выражено настроение:

В туманном сумраке окрестность исчезает...
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.

Лишь дикая сова, таясь... То кладбище было уже заброшено. Многоэтажки городских окраин подступали к нему все ближе и ближе. Я долго ходил меж старинных надгробий и думал о людях, лежащих здесь, об их быте, теперь безвозвратно ушедшем; думал, точнее, представлял их жизнь, заботы... И вдруг на одном надгробье я увидел фотографию. Чуть ниже ее - подпись. Такие-то муж и жена... скончались... году. А на фотографии - они, в день своей свадьбы. Он - сидит на стуле, руки лежат на коленях. Завитые усики, ровнехонький пробор. Ему под тридцать, лицо очень серьезно, даже важно. Она - стоит, положив ему руку на плечо. Опереться на плечо, - думаю я, - как это верно, какое удачное и точное выражение. Рука у нее маленькая, беззащитная, а он такой уверенный в себе. Белое платье. Фата. Красивое лицо. Счастливое, но тоже очень серьезное. Наверное, так было принято - не улыбаться. Сдержанность даже во взгляде. Фотограф, представляю опять, - что-то щебетал без умолку, отпускал комплименты барышне, может быть, про птичку, которая вылетит, говорил... Щелкнул - и осталась фотография. Мгновение остановилось. Навсегда. Я стоял пораженный. Никогда не видел свадебную фотографию на надгробье. Вновь всматриваюсь в нее. И они, тогда молодые, моложе, чем я сейчас, смотрят на меня. Смотрят - и молчат. И только ветер чуть колышет траву, под которой они лежат. Между нами - вечность, между нами тишина, которую живым не услышать покуда они ходят по земле. И словно весточка оттуда - эта фотография. Когда они фотографировались, им, наверное, казалось, что впереди бесконечная жизнь. Разве думают на свадьбе о смерти? Только что они стояли в церкви у аналоя, хор им пел "Многая лета". Дома готово застолье, собираются гости. Целую неделю их свадьба будет главным

событием улицы. Потом начнутся будни. По утрам он будет уходить на работу, она хлопотать по дому. Вечером на стол поставят самовар, они соберутся вокруг него - сначала вдвоем, а затем, когда подрастет первенец, втроем... А окончится все этим могильным надгробьем... Защемило где-то внутри. Стало тоскливо. Я искренне горевал о незнакомых мне людях, которых видел такими красивыми, счастливыми, я тосковал по себе, потому что придет день, и я тоже умру, а кругом будет жизнь, плохая ли, хорошая, но жизнь. И никто не вспомнит обо мне, ходившем по этим же улицам, смотревшего на это же солнце... Но горше этой мысли была другая: для чего все, если такая красота, как у девушки с фотографии, превращается в прах, в ничто! И чем дольше я стоял, тем более был уверен: двое с фотографии смотрели на меня и что-то хотели сказать. Но что? И вообще, мистика какая-то, - я резко повернулся и пошел от могилы прочь. Но на самом выходе, когда перед глазами встали огромные дома. Остановился, затем бросил рюкзак - и вернулся. Мне никогда не быть здесь больше, так хоть постараюсь запечатлеть этот женский взгляд из прошлого... С тех пор я часто бывал в Туле, но на кладбище то не ходил, боялся. Вдруг тупой и безжалостный каток превратил его сначала в строительную площадку, чтобы потом на этом месте могла вырасти очередная многоэтажка. Но лицо, глаза той женщины всегда со мной, они живут во мне. Тогда, на кладбище старая фотография помогла мне ощутить всю зыбкость этого мира. Но только спустя годы я смог понять, о чем эти двое с фотографии хотели мне сказать. Но это уже моя тайна. А мудрые афоризмы я с тех пор не записываю. И лишь изредка, когда сумятица дел опутывает меня с ног до головы, я сажусь в кресло, закрываю глаза и предо мною встает прекрасное женское лицо с той фотографии. Несколько мгновений достаточно, чтобы вся паутина, опутывавшая меня, исчезла напрочь. Я дремлю и уже не понимаю, - то ли ветер гудит за окном, то ли он колыхает старый вяз над далекой могилой.

Шиповник

Сны ему снились каждую ночь, но он забывал их сразу же после того, как поднимался с постели. Но один сон, странный, оставивший после себя необъяснимую тоску, помнился до мельчайших подробностей. Вот этот сон. Ярко-зеленый от молодой травы пригорок, густо усыпанный полевыми цветами, на пригорке - церквушка. Было в ней что-то одновременно и сиротское, и величественное. Он бежит к церкви, бежит из последних сил, потому что знает там, за старыми кирпичными стенами, его взору откроется... Что именно откроется - этого словами не объяснишь. Родное, необыкновенно - чудесное, таинственно притягательное - все близко к сути, но все же не то. И чем сильнее ему хочется увидеть, тем труднее бежать: неведомая сила преграждает путь, заставляет напрасно перебирать ногами.

Местность, увиденная во сне, была незнакома, но он не сомневался: там, за пригорком, за полуразвалившейся церковью - его родная деревня. Странно. Четверть века прошло с тех пор, как он приезжал туда за матерью, чтобы забрать ее к себе. Несколько лет, как уже нет мамы, городская жизнь не просто захватила его - он по-настоящему забыл, что когда-то жил в деревне. И вдруг - эта тоска. Особенно она донимала поздними вечерами. Родные давно спали, все меньше светящихся окон в доме напротив, помаленьку отступали заботы и тревоги - отступали без борьбы, ибо знали: завтра утром они вернутся вновь. А на их место приходили бессонница и тоска. И еще воспоминания. Он вдруг стал замечать, что все увиденное или пережитое в детстве, помнилось до мельчайших подробностей. Старинный барский сад, таинственный в своем запустении - для него это было лучшее место на свете. Впрочем, нет. Разве меньше времени проводили они с ребятами на пруду. Кто первым бросился в воду, когда тонула соседская Любка? До сих пор в ушах стоит крик проходившей мимо женщины: "Люди! Ивансерегеева Любка тонет!" А уже через минуту Паша выносил на берег мокренькое тельце. Вот кто первым кинулся в воду - Паша. Любка только всхлипывала, беззвучно шепча "мама" синими губами и крепко обхватив ручонками загорелую Пашкину шею. Сколько же тогда нам

было? Семь классов закончили, точно.

Одно воспоминание цеплялось за другое, один эпизод вызывал к жизни другой - и так почти всю ночь. Наконец он решил, что единственная возможность вернуть сон и избавиться от тоски - поехать на родину. Просто и гениально. Там должны еще жить его тетки, двоюродные братья и сестры. На машине пути - меньше шести часов. Сказано, сделано. Пришлось, правда, выдержать атаки жены да провести соответствующую беседу с сыном, горячо выражавшим нежелание "вставать ни свет, ни заря и ехать в какую-то деревню"..

-Какую-то!? - с пафосом подвел итоги беседы отец. - Оттуда наши корни, а человек без корней, это... Это не человек. Понял?

Но все это было уже вчера. А сегодня раннее воскресное утро, старенький "Москвич" весело мчит папу и сына по шоссе. И чем ближе деревня, тем больше волнуется отец. Картины встречи с близкими и знакомыми людьми, одна сердечнее другой, теснятся в мозгу. Сын тем временем потихоньку щипал булку, торчавшую из дорожной сумки.

- Ты, что никогда хлеба не ел?

- А куда им столько? Ну, колбасы - это я понимаю, а то хлеб...

- Дурачок, так в деревне люди хороший белый хлеб ценят, не то, что мы. Так вот и ехали они - отец, с волнением ожидавший встречи с прошлым, и сын, недовольный тем, что его разбудили так рано и что он не посмотрит футбол.

- Да ты не переживай, Стас! Ты знаешь, как в деревне теперь живут? У тетки Полины посмотришь свой "Спартак" или что там еще будет? Пойми, мне очень хочется тебя там показать, пусть посмотрят, какой сын у меня вырос.

- Что я картина, чтобы меня показывать? Думал, хоть сегодня отдохну, завтра в школу топать.

Отец виновато вздохнул. Что поделаешь - молодость. Но вот справа показались пятиэтажки на берегу большого водохранилища.

- Ты посмотри, Стас, вот это да! Когда уезжал, здесь поселочек был, а сейчас смотри, настоящий город. Неплохо смотрится, правда?

- Господи, деревня деревней. Наш микрорайон раза в три больше этого города. Стасу были непонятны восторги отца, и он, отщипнув кусок булки, закрыл глаза и откинулся на сиденье. Еще минут через десять они свернули с дороги. Теперь дорога шла вдоль небольшого леса.

- Здесь малины, ешь не хочу! Да открой ты глаза! И он запел что-то веселенькое, но голос выдавал волнение. Стас улыбнулся:

- Первый признак старости - сентиментальность. Стареем, батя. Кстати, домов в деревне много? Ты что, глухой? Домов, говорю, много?

- Что? А, домов... До войны мать говорила, больше двухсот было. Сейчас, конечно, меньше. Но с полсотни, думаю, будет.

Миновали последний поворот. Вот и барский сад на пригорке. Но что за чушь такая? Сад на месте, а где пруд, где, наконец, дом? Машина остановилась. Он вышел и стал растерянно озираться вокруг. Сзади посвистывая, подошел Стас.

- Постой здесь, сынок. Ничего не понимаю. У сада, кажется, кто-то есть... Пойду узнаю, что к чему.

У кустов шиповника стояли белые "Жигули". Мужчина и женщина рвали крупные ягоды и бросали их в большую корзину. Женщина пару раз оглянулась в его сторону, что-то зашептала своему спутнику. До него донеслось:

- Успеется, успеется. Говорила тебе, вчера нужно было ехать. Люди не дураки, разнюхали. Рви быстрее.

Когда же он приблизился к ним, обернулась и очень даже приветливо спросила:

- За шиповником? Правильно, полезная ягода. Моему врач велел пить. А вы рвите, ягод всем хватит.

- Не за шиповником я, - осипшим, глухим голосом произнес он. - Хотел сыну родные места показать, приехали, а здесь будто сроду людей не было.

- В гости, значит? - Рассмеялась женщина. - Да тут уж поди пять лет ни одной души нет. Кто помер, кто в город уехал... Постой, а ты, чей будешь? Я ведь здешняя сама, а тебя не признаю. И она впервые с начала разговора оставила шиповник в покое.

- Да это Кузьминичны сын, - вступил в разговор ее муж. - Как она сама - то?

- В восемьдесят седьмом схоронили.

- Ну, ничего, пожила, дай Бог каждому, - супруги повернувшись к кусту, принялись опять за работу. И только женщина из-за плеча бросила напоследок: - Никого не осталось. Была деревня, а вроде как и не было вовсе. Зато шиповник здесь славный.

Он потоптался на месте, пытаясь продолжить разговор, но из этого ничего не получилось. Повернувшись, пошел в сторону сада. Из машины донесся крик сына:

- Па, ты чего? Никого ведь нет, поехали обратно. Может, к футболу успеем, - и для верности посигналил.

- Сейчас, сынок, сейчас, как-то угодливо, будто виновен в чем-то, ответил он. Ты выйди, разомнись.

Кругом простирались бескрайние поля. Где-то в вышине звонко пел жаворонок. Надо же, подумалось ему, когда здесь жил, все недосуг было посмотреть вокруг. Прав оказался отец: помянешь еще меня, сын, однажды позовет тебя земля. Позовет, - и никуда от этого не денешься. Говорил, когда провожал меня в город. А я спорил с ним...

Мысли его были прерваны сигналами, которые настойчиво подавал Стас. В тишине, стоявшей вокруг, они казались особенно громкими.

- Иду, иду.

Солнце катилось к закату. Машина плавно катила по автостраде. Чувствуя приближение дома, оживился Стас.

- Дома расскажем - обсмеются, - весело тараторил он. - Ехали к тете Поле, а приехали в поле. Ха-ха. Но ты особо не расстраивайся, мы из этих гостинцев дома пир устроим, так что все в

порядке. Бензина только жалко, правда, - и не дождавшись ответа, сделал еще одну попытку вовлечь отца в разговор:

- А как эта деревня называется? Название чудное, забываю все. И вдруг осекся, увидев, как по лицу отца, внезапно посеревавшем, текли слезы.

- Пап, ты чего это? Я же не хотел... Я же не думал... Прости.

- Ничего, Стасик, я не обижаюсь. Это я... Это моя... Что хотел сказать отец, сын так и не понял. А тот неумело вытер слезы, дал машине газ и произнес глухим голосом, словно прощаясь с кем-то навеки:

- Кибень... Кибень называется.

Березовый сок.

Я шел по тропе уже более двух часов. Под ногами противно хлюпала весенняя грязь. В этих лесных краях я оказался случайно и, пользуясь несколькими часами свободного времени, решил познакомиться с окрестностями, а заодно набрать березового сока. Вот почему за спиной у меня болтался рюкзак с пустой трехлитровой банкой.

Тропинка нещадно петляла по березняку, но подходящей березы пока не было видно. Вдалеке неожиданно мелькнула маленькая, немного сутуловатая фигурка. Обрадовавшись случайному попутчику, резко прибавляю шаг, почти бегу. И вот я уже могу различить старика, медленно идущего по тропинке. Вид у него был самый обыкновенный: сивого цвета борода, покрытое густой сетью морщин лицо. Одет в видавшие виды фуфайку, в руках - палка, за спиной холщовый мешок. Мы поздоровались. Затем минут пять шли молча. Казалось, он забыл о моем существовании. Тем более неожиданно прозвучали слова старика:

- За тем пригорком березовая роща, у нас, ее дальней называют. Там сока владеть.

- А откуда вы знаете, что я...

- Так в апреле городские только за соком приезжают, зачем же еще? Голос у него был высокий, хриплый, будто он не откашлялся, или долго молчал.

- Березовый сок говорят, даже от рака помогает. Опять пятиминутное молчание и лишь когда показался край рощи, сказал, прощаясь:

- Ну вот, иди в самую чашу, банку наберешь быстро.

- А разве вы не за соком?

Он как-то странно посмотрел на меня и, ничего не ответив, побрел дальше по тропинке, которая, став едва заметной, резко уходила в сторону. Скоро старик скрылся из глаз. Может он баптист или старообрядец? В этих краях их много. Ну и Бог с ним. Я достал банку и, решив не углубляться вглубь рощи, привязал посудину к крупному белому стволу березы. Вскоре мутноватая жидкость закапала в банку. Теперь остается подождать часок и...

Но все-таки, какой странный старик! Насколько я понимал, поблизости жилья не было, куда же он направлялся? Во мне проснулся следопыт. Заметив место, я быстро встал и пошел в ту сторону, где исчез старик. Шел быстро, но его не было видно. А вскоре тропа исчезла. Какое-то время шел скорее интуитивно. Наконец, молодой осинник заканчивается, и я стою на довольно

большой поляне. В самом ее центре - старая, корявая береза, возле нее сидит старик. Присмотревшись, вижу и два холмика с крестами. Могилки? Дед стоял на коленях ко мне спиной. Мне сразу стало стыдно за мое "следопытство" и я решил побыстрее улизнуть отсюда. Но сделал это неловко: сухая ветка предательски хрустнула под ногами. Теперь убежать было еще глупее.

- Простите, я не хотел вам помешать. Пока сок набирается, дай, думаю, похожу вокруг...

- Да ладно, что уж там, - старик уже поднялся на ноги. Затем не так отстранено, как раньше, когда говорил о соке, а почти дружески спросил:

- Куришь?

- Конечно, - отчего-то вновь солгал я. - Только я их в деревне оставил.

- Кури мои, - добродушно предложил дед. Курили молча. Я понимал, что ворвался в чужой мир, ворвался бестактно, а потому смущенно помалкивал. И когда я собирался прощаться, он заговорил:

- Тут до войны мой дом стоял. Я лесником работал. Хутор не хутор, кордон не кордон, а домик у нас справный был.

Спустя час я уже знал историю этого странного человека, имени которого так и не удосужился спросить.

На финской был тяжело ранен. И когда наступил сорок первый год, на фронт его не взяли. Жили они с Марией тихо и скромно. Подрастала дочка, ей тогда шел десятый годок. Война как-то обходила его дом стороной. Жил ведь на отшибе, с людьми виделся редко. Партизаны от них далеко были, как, впрочем, и немцы. В Поповке была у них жандармерия или как-то там еще, но никого они не трогали. Правда, когда их наши под Сталинградом жажнули, народ стал рассказывать, что залютовал немец, особо, где их партизаны донимали.

...В тот проклятый апрельский день он встал затемно. Странно, никаких дурных снов или предчувствий не было. Взял пару ведер, банки для сока, а жена только сказала:

- Приходи быстрее...

- К обеду постараюсь, - вот и все слова. И весь разговор. Она вообще молчунья была. В кого только дочка говорливой уродилась? А так копия матери: худенькая, словно былинка, несколько веснушек, серые глаза. Спала она, когда лесник вышел из дому.

И разве мог он знать, что через час не будет человека на свете, несчастнее его? Ведро не заполнилось и на треть, когда раздались выстрелы. Странно, когда бежал обратно, слыша только стук собственного сердца, в руках держал второе, пустое, ведро. Когда прибежал - дом горел вовсю. Карателей уже не было. Маша и Катенька лежали во дворе. Дочка в белой ночной рубашонке. На груди, словно след от вишен...

Два дня и две ночи выл он зверем. Почему не сошел с ума - сам не понимает. Впрочем, люди за глаза и посейчас странным величают - он ведь с той поры ни с кем первым не заговаривает.

А тогда... Вырыл на третий день лесник две могилы, сам сделал гробы, сам прочитал поминальную молитву...

- Скоро мне умирать, - хрипотца у деда исчезла, только голос немного дрожал. Всякий раз, когда прихожу к родным моим, прошу их взять меня к себе. Сорок пять лет прихожу и столько же прошу. Наверное, недолго осталось... А березового сока я с тех пор не пью...

Я понял, что должен оставить его одного. К тому же, моя банка, должно быть, была уже верхом.

Через три года я вновь побывал в тех местах. Среди прочих новостей мне рассказали о старике по фамилии Авдюшкин, умершем на глухой лесной опушке. Мой собеседник оживился:

- Вам, наверное, будет интересно: история необычная. У него в войну...

- Простите, - перебил я, - у меня только один вопрос: там, на опушке теперь три могилы?

- Три, - удивленно ответил рассказчик. Но затем, похвалив меня за осведомленность, стал говорить совсем о другом.

Рассказы-минутки

1. Прости меня.

Иван Иванович Тараканов внешне очень походил на знаменитого писателя Тургенева. Большой, красивый, с седой гривой волос. В Скуратовке он пользовался непререкаемым авторитетом. Другой деревенский старожил, дед Аверьян, так и называл Ивана Ивановича: "Наш цыганский барон".

- Какой такой барон, - усмехался Тараканов. - Вот председателем колхоза до войны был, но меня на пятнадцать лет в лагеря упекли, сам не знаю, за что... Бригадиром заключенных на Печоре тоже был. Там у меня в бригаде все больше артисты да писатели в подчиненных ходили. Да, никудышные работники, скажу вам, весь план приходилось с пятью работягами делать, артистов я жалел: неприспособленный народ.

Но вообще-то вспоминать о тех днях Иван Иванович не любил. Если пристанет с расспросами внук, городской студент, расскажет немножко - о комарах тамошних, о красавице Печоре, о людях, с которыми вместе отбывал срок, - и вновь замолчит. Иногда и я, когда приезжал к его внуку и моему другу в Скуратовку погостить на денек-другой, слушал эти рассказы. В тот мой приезд Иван Иванович сидел на скамейке перед домом, на своем любимом месте. Был чудесный июньский вечер. Уже прогнали стадо коров. Дед помог загнать таракановскую Зорьку и вновь тяжело опустился на скамью. В последнее время он все время жаловался на ноги: "Не хотят ходить, проклятушие". Уже появились первые звезды, и шум деревенской улицы потихоньку стихал, когда к скамейке подошла какая-то женщина. Мне и дедову внуку Александру, сидевшим на террасе, были слышны голоса.

- Здравствуй, Иван Иванович.

- И ты, Петровна, здравствуй. Загнала корову?

- Да, загнала. Она у меня спокойная.

- А наша Зорька вчера за Соловьев огород ушла, насилу привели. Наступило молчание. "Соседка, бабка Матрена" - не отрывая глаз от учебника по истории, сказал Александр. Мы готовились к экзаменам.

- Дело у меня к тебе, Иван Иванович, - наконец нарушила молчание Петровна.

- Давай, говори.

Опять молчание.

- Да что стряслось - то

- Помирать я собралась, Иваныч. А страшно мне - грех на душе лежит.

- Ну, это ты брось... Зачем помирать? - и только потом до деда дошла вся фраза старухи целиком. - Грех говоришь? Так я не поп, он грехи отпускает. В Чернь поезжай в церкву, там и ...

- Перед тобой грех, Петрович. Это я тогда на тебя бумагу написала... что ты зерно колхозное... на сторону продавал... Обиделась я тогда... ты мешок муки мне не..., - и вдруг женщина запричитала, опустившись на колени: - Отпусти грех, Иван Иванович, Богом прошу!

Дед ничего не ответил. Он поднялся и медленно пошел к дому. Никого и ничего не видящий прошел мимо нас, бормоча что-то про себя. Никто из домашних не осмелился приставать к нему с расспросами. А ночью я вновь услышал его бормотание:

- За мешок муки оказывается... Она меня за мешок муки... пятнадцать лет. А Матрена Петровна еще долго стояла на коленях, не обращая внимания на оборачивающихся редких прохожих, а затем медленно побрела к своему дому... .. Лет пятнадцать спустя, в одном маленьком городке я встретил Александра. Встреча была теплой. О многом поговорили, о многом вспомнили.

- А деда моего помнишь?

- Как же! Жив Иван Иванович?

- Еще лет десять назад похоронили.

- Да... жаль.

- А ту женщину помнишь? Что прощения у него просила?

- Конечно, помню.

- Представляешь, она ведь каждый вечер к нашему дому приходила. Как на работу. Приходила и становилась на колени. И так целый год, пока не умерла.

- А он?

- Если находился на улице, возвращался домой, а если...

- Нет, я о другом. Он - простил?

Александр отпил пива из кружки, затем медленно поставил ее на стол. Будто боялся ответить, а потому медлил.

- Нет, не смог. И даже ни одного слова ей не сказал. А когда узнал о ее смерти, заплакал...

Мы замолчали. Каждый из нас вновь вспомнил тот далекий июньский вечер. И еще красивого старика с густой копной волос, сидящего на скамейке.

- Здравствуй, Иван Иванович.

- И, ты, Петровна, здравствуй.

2. Скупой.

Эта пивная в народе звалась чайной. Может быть, в ней можно было и на самом деле заказать чаю, только я не припомню такого случая. А провел я в чайной, признаться, немало времени.

Среди посетителей чайной можно было видеть много колоритных лиц, но мне чаще всего вспоминается один старик. Высокий, худой, с вечной своей холщовой сумкой. Самое удивительное: в пивную он приходил каждый день, а пива не пил, даже когда его угощали. Обычно старик становился спиной к окну и ждал, когда освободится какой-нибудь столик. Затем подходил и подбирал оставленное, либо забытое: копейки, пирожки. Не брезговал он и недоеденными котлетами, просто кусками хлеба. Никто не знал имени старика. Одни, считая его нищим, давали ему деньги, другие, думая, что дед откармливает поросенка, кричали: "Папаша, иди хлеба возьми"!

Однажды местный завсегдатай, дядя Леша, предложил старику: "Слушай, отец, я тебе рубль дам, хочешь? Только угостись моим пивом. Сколько вижу тебя, ты не пил ни разу. Ну что, уважишь"? Глаза старика сверкнули. Было видно, что внутри его шла борьба...

Я никогда не видел, чтобы человек с таким отвращением пил пиво. Пил долго, явно насилуя себя. Дядя Леша призывно махал рукой окружающим, мол, смотрите на потеху. Но потехи не получилось. Дело, наверное, было в том, что от деда исходила какая-то мрачная сила. Он просто не мог выглядеть смешным. Допив кружку пива до конца, дед вытер губы, протянул руку к дяде Леше: "Давай деньги". Я впервые слышал его голос. Хриплый и одновременно высокий. Взяв помятую бумажку, медленно сунул заработанное в сумку и вышел. А когда на следующий день старик пришел в чайную, дядя Леша упорно прятал от него глаза. Но однажды он не пришел. Когда дед не появился в чайной неделю, кто-то заметил: "Помер, наверное, старик". "Наверное, помер. Отмучился" - ответили ему - и о старике больше не вспоминали. Никогда. Будто и не жил он на свете. Однажды в пивную зашел мой знакомый милиционер. Поговорив о том, о сем, мы заговорили о его работе:

- Какая работа у участкового? Собачья. Вот вчера один старик помер. Три дня мертвый у себя дома пролежал, пока пахнуть не начал, тут соседи и позвонили. Вот я заместо санитара и гробовщика одновременно там вкалывал. На секунду он замолчал. А потом вдруг оживился:

- Но, знаешь, и в нашей работе забавные моменты бывают. Того старика, ну, того, что помер, ты ведь знаешь: он копейки здесь собирал. Так вот. Комната, скажу я тебе: кровать, стол, стул, да шкаф пустой. Всего имущества - чайник, матрас, да подушка. Так вот. Понес я этот матрас выбрасывать и чувствую, что-то под руками шуршит, будто внутри бумага. Любопытство, признаюсь, разобрало. Взяли с ребятами нож, а там - деньги. Пересчитали - семь тысяч!

- Сколько?! - не поверил я (в те времена, о которых идет речь, на эту сумму можно было приобрести автомобиль).

- Семь, семь, ты не ослышался. Правда, до чего же помятые они были... Милиционер еще что-то говорил, я его уже не слышал. Мне стало невыносимо обидно за старика. Я никак не мог взять в толк: ради чего жить, отказывая себе во всем, униженно собирать копейки, голодать, - и лежать, в буквальном смысле этого слова, на тысячах? Но я тогда был молод и еще не знал, какую силу имеет над человеком страсть, когда она становится всепоглощающей. Но и тогда,

там, в пивной - прокуренной, шумящей - мне было невыразимо обидно за так прожитую жизнь. Впрочем, разве это можно назвать жизнью? Для старика она сводилась к тем минутам, когда, разменяв мелочь на бумажные купюры, он возвращался домой, ел картофельную похлебку, пил несладкий чай с подобранным в чайной хлебом, а затем вкладывал рубль в матрац. Раз в неделю он устраивал себе праздник: доставал все содержимое матраца и с наслаждением, долго-долго, пересчитывал деньги... Бедный старик!

3. Подсолнух.

Он был храбрецом, этот подсолнух. Рос он у самой дороги, всего в нескольких вершках от асфальта. Видимо, проходившая мимо баба, сплевывая на ходу семечки, уронила одно на землю. А оно и проросло. В воздухе стоял запах бензина и гари, огромные грузовики проносились мимо, грозя раздавить подсолнух, а он рос себе, словно кругом было поле.

Каждое утро я проезжал мимо него на автобусе, и казалось, будто машет он мне своей маленькой желтой головкой, словно приветствуя. И я отвечал шепотом: "Привет!" Однажды, стоящий впереди меня парень, удивленно ответил мне: "Привет!" Дитя обочины, подсолнух, не вышел ростом, листья его были густо облеплены слоем пыли, земля вокруг вытоптана. Но он все равно был красив, маленький подсолнух, крошечное солнышко, изо всех сил тянувшееся к своему старшему брату. Но однажды утром я не увидел его. Всмотревшись, обнаружил только одиноко стоящий стебель. Может быть, это смешно, но у меня было такое чувство, будто обезглавили моего друга.

Я еще не раз ездил той дорогой, но в сторону, где долго стоял пустой одинокий стебель, старался не смотреть.

4. НЛО.

Это было в то время, когда, казалось, все буквально помешались на летающих тарелках. Статьи в газетах, выступления очевидцев по телевизору, песни - все это походило на массовый психоз. Похоже, становилось дурным тоном - прожить и не увидеть НЛО наяву.

В тот вечер я гостил у приятелей. Было уютно и спокойно. Неторопливо текла беседа. Включили телевизор. Показывали интервью с женщиной, которую якобы похищали инопланетяне. Хозяйка и ее подруги ахали, слушая исповедь бедняжки, которую "вроде бы изнасиловали эти зеленые человечки, но я потеряла перед этим сознание". Мое замечание, что эта женщина, судя по всему, либо с большого бодуна, либо из психушки, было встречено очень гневно. Народ явно хотел чуда. И всяк усомнившийся в нем подвергался остракизму. Все стали вспоминать случаи, когда кто-то видел НЛО. Я упорно спрашивал их: "А кто-нибудь из вас видел?" И вдруг...

На черном фоне мартовского неба можно было отчетливо различить розоватое сияние. Оно несколько мгновений увеличивалось, пока не достигло определенных размеров. По форме это была настоящая летающая тарелка. Я тряхнул головой. Вроде и выпил немного... Галлюцинация? Рядом со мной мужчина ел голубец в тот момент, когда появился летающий объект. Судя по тому, что мужчина стал синеть, я понял: во-первых, он подавился, а во-вторых, он видел то же, что и я. Но всем было уже не до бедолаги. Толкая друг друга, люди толпились у окна. Сомнений не было: над нашим маленьким городком величественно плыла летающая тарелка. Кто-то заплакал. Все стали обниматься. Местный поэт, человек, не чурающийся патетики, громко произнес:

- Свершилось. Мы не одни в бескрайней Галактике! Я не верил своим глазам. Над городом

действительно плыл какой-то объект. Плыл бесшумно, словно дразня своими яркими огнями. Неужели НЛО и впрямь существуют? Но пока мои друзья кричали и обнимались от восторга, замечаю, что прохожие на улице спокойно идут по своим делам и не собираются, судя по всему, ликовать. Ничего не замечают? Выхожу на балкон - и все становится понятно: напротив нашего дома работал башенный кран. У строителей, видимо, был аврал, так что они трудились и поздним вечером. А "тарелка" оказалась ярким фонарем на стрелке крана...

Гости молча вернулись к столу. Вечер был испорчен.

5. Летогоще.

Вот уже три часа я мечусь по лесу, словно загнанный зверь. Никакого намека на присутствие человека. Утром, чтобы быстрее попасть в Кораблино, я решил проскочить через большой лесной массив, называющийся Ухоловским лесом. Лесник из Покровки на мой вопрос: "Возможно ли это?" - долго чесал затылок, а потом произнес:

- А почему нет? Некоторые наши ходят. Главное не ошибиться и свернуть у трех больших дубов влево.

Признаться, дубов этих я так и не увидел. У меня было такое ощущение, что я бегаю по кругу. Так продолжалось еще три часа. Вечерело. Небо стало темнеть. И когда отчаянье было готово захлестнуть меня - неожиданно ноги почувствовали торную дорогу. На ней виднелись следы от телеги. Где-то вдалеке залаяла собака. От радости, словно крылья выросли за моей спиной, будто и не было многочасовой ходьбы по лесу.

А дорожка становилась все тверже, трава на ней не такой густой. Вместе с дорогой спускаюсь вниз - там весело журчит ручеек, виден брод, который легко перейти, едва замочив ноги. Затем дорога резко поднимается вверх и выходит на лужайку. Честное слово, ни до, ни после я не видел такой красоты. Лужайка утопала в цветах. Не надоевшие одуванчики, а колокольчики, незабудки, гвоздики, звездочки, и еще десятки других видов, названия которых не знал. Из-под ног выскочила кошка, и я понял, что близко жилье. Как, оказывается, быстро несчастье становится счастьем. А вот и деревенька. На огромной, немного вытянутой поляне 10 - 15 домов. Где-то играла гармонь, мычала корова, возле домов щипали траву лошади. Это было какое-то чудо, сказка, только наяву. Минут через десять я уже познакомился с обитателями деревеньки, название которой - Летогоще - тоже звучало сказочно. Остановился на ночлег у древнего старика, Сергея Ермолаевича, и его дочери. Она была уже пенсионерка и приезжала к отцу на лето. После ужина мы сидели втроем на ступеньках крыльца. Наконец-то угомонился гармонист Петя. В летогощинских домах погасли огни, зато тысячи огней высыпали на небе. Ноги мои жутко гудели от усталости, но было так хорошо, так покойно и мирно на душе. Где-то кричала сова, в воздухе проносились летучие мыши. Над самыми верхушками сосен блестел Альтаир. И даже то, что завтра первым селом на моем пути будет село с названием Троица, радовало.

- А вы молочка парного еще не хотите? - спрашивает меня хозяйка.

- Хочу, - отвечаю я, хотя уже выпил целый кувшин. Дед улыбается одними глазами. Зинаида Сергеевна говорит:

- Мы с сестрами по очереди ездим к нему. Ему ведь сто скоро, а в город не хочет. Куда, говорит, я отсюда? Райское место, только живи... С той поры прошло немало лет. И что бы со мной ни происходило, в какие передряги жизнь не бросала, я хранил память о чудесной лесной деревушке, о ее добрых обитателях. Вернее она стала для меня нечто большим, чем просто

деревней сказочным символом России. И все годы я мечтал туда вернуться. И я вернулся. Спустя семь или восемь лет. Тоже пешком. Только шел по асфальту, который проложили. И также пришел в Летогищу вечером, когда звезды зажигались на небе. Все было как прежде, но что-то изменилось. Заросла дорога через ручей. Он же обмелел еще сильнее. Трава на лужайке была скошена. Многие дома заколочены. Две доски на двери - крест на крест, и вроде стоит дом, а вроде не дом это, а призрак. Потому что нет голоса человеческого. Заколочен был и тот дом, где я ночевал в прошлый раз. Захожу в крайнюю избу - там живут приезжие, муж и жена. В доме - одни пустые бутылки, кругом разорение, грязь и нищета. Как кошки, ходят по дому крысы. Одна, вторая... Смотрят на меня и спокойно идут дальше по своим делам.

- Как же вы живете? - вырывается у меня.

- А ничего живем, - был ответ. - А крысы... Они людей не трогают, вот только если будете ночевать, рюкзак к потолку повесьте... Я поспешил на воздух. Среди двух других обитателей Летогищи одна пожилая супружеская чета даже вспомнила меня. Я заночевал у них. Слава Богу, у стариков все было хорошо: в доме чисто и уютно, порядок в хозяйстве. Дети зовут их в город, рассказали они мне, но хочется и умереть здесь. А умрем мы - умрет и Летогище. Та пьянь, у которой вы были, долго здесь не усидит. Рассказали еще, что через год после моего первого прихода сюда умер Сергей Ермолаевич. Его дочь сначала приезжала, со временем перестала приезжать. Говорят, живет в Москве, болеет. Умер дядя Петя - гармонист. Без него скучно стало...

Я слушал, и мне хотелось плакать. Я прощался с доброй, светлой сказкой по имени Летогище. А может быть, прощался с Россией, которой уже не будет? Или все проще, и правы древние мудрецы - нельзя возвращаться туда, где когда-то был счастлив.

6. Автобусные страдания.

Автовокзал районного города С. был совсем новенький. Большое красивое здание возвышалось над одноэтажными домишками и было видно еще издали. Перед ним огромная площадь. Сам город С. был довольно-таки грязен и неухожен, но вокзал впечатлял. И внутри все блестело и сияло. Но самое поразительное, возле касс ни одной очереди. А уж это для районных вокзалов редкость. Может быть, автобусы не ходят? Ходят, с гордостью объяснили мне, но у нас ввели компьютерное обслуживание, и теперь можно когда угодно взять билет на любой рейс. "Ура!" возликовал я. Теперь и к нам в глубинку пришла цивилизация. Люди будут без толкотни заходить в автобус, не будет ругани, оскорблений, жуткой тесноты... Весь в радостных мыслях выхожу на улицу. От здания вокзала к площади ведет высокая лестница. Наверху - толпа, в основном бабушки с сумками. А дальше я увидел вот что. Вдалеке, на самом краю площади, стояли автобусы. Один из них тронулся и медленно поехал по направлению к вокзалу. Толпа бабушек неожиданно рванула вниз по лестнице, таща за собой мешки и сумки. Добежав до автобуса, который еще двигался, большая часть толпы испустила тяжкий вздох: "Это не грэсовский автобус!" И уже менее дружными рядами, люди вернулись назад. Пять десять счастливых заняли места в автобусе. Так продолжалось несколько раз, причем количество людей, желающих уехать в таинственный ГРЭС, все увеличивалось. В другие места автобусы уходили исправно, а грэсовская толпа, сметая все на своем пути, время от времени кидалась на площадь. Я все с большим уважением смотрел на старушек: их физическая готовность поражала. Но самое удивительное ожидало меня впереди. Я решил дождаться, чем все это кончится и появится ли долгожданный автобус. (Разумеется, никаких объявлений по вокзалу не было.) Народ, как ни странно, не роптал. Вот, наконец, еще один автобус стал медленно двигаться к вокзалу. Я, уже наученный горьким опытом, отошел в сторонку. Толпа, увеличившаяся почти в три раза, ринулась вниз по лестнице. Радостный крик: "Наш!" Но тут удивил уже шофер автобуса. То ли он сильно опаздывал, то ли парень был прикольный, но

автобус не остановился у вокзала, а стал двигаться вокруг площади на минимальной скорости и с открытыми дверьми. Наверное, и Суворов не мог придумать лучшего упражнения для своих чудобогатырей, когда они тренировались перед взятием Измаила. Бабушки на ходу бросали в автобус тяжеленные сумки, хватались за поручни, и кто как мог, попадали в салон автобуса. Народу было так много, что одного круга, чтобы всех посадить, шоферу не хватило, и он двинул машину по второму. Вскоре вошли, точнее, вскарабкались все. Счастливицы, успевшие занять места, гордо смотрели из окон, поправляя сбитые платки. Проехав до конца второй круг, автобус зарычал и, дав газу, исчез из поля зрения.

Право слово, я не знал, как реагировать на происходившее - плакать или смеяться? Мои мысли прервала бабушка. Она тяжело дышала, видно, спешила.

- Скажи, мил человек, - в руках она держала билет. - Автобус на ГРЭС уже ушел?

- Уже ушел бабушка. Только что.

- Вот не везет! - И вдруг крикнула кому-то в сторону неожиданно громким голосом:

- Петровна! Семеновна! Ушел автобус. Идите сюда! Будем вместе ждать.

Операция на сердце.

Ах, как мы самонадеянны в молодости! А еще ленивы. Впрочем, зачем я употребляю множественное число? Не лучше ли все эти упреки обратить к себе? Мог ли я предположить, что пройдет время - и сотрутся из памяти имена, фамилии, зыбкими станут лица... Словно держал в руках ожерелье, беспечно играл им, пока камешки послушно скользили по нитке. Вдруг оборвалась нитка, рассыпались камни по траве - и нет больше ожерелья... Пытаюсь восстановить его, ищу бусинки на земле, чтото находится, но большинство моих драгоценных камешков бесследно кануло... Но я продолжаю искать, воскрешая в памяти дни, лица, имена... День первый. Московская толпа целеустремленна, серьезна и равнодушна. Но стоит вырвать из нее почти любого, и он с готовностью поможет тебе. Наверное, поэтому я так быстро нашел Абрикосовский переулок, а в нем хирургическую клинику. Быстро шла и очередь к профессору-консультанту. Когда подошел мой черед войти в белую массивную дверь, я понял, отчего это так. Минимум слов, минимум жестов и совсем нет эмоций: "Ваши документы... снимки... разденьтесь... теперь на другой бок... можете одеваться". Видимо, так и должно быть: за мной сидела и ждала огромная очередь, люди приезжали сюда из самых дальних мест. Но все равно, я был разочарован: думал увидеть добродушного говорливого старичка доктора, поговорить с ним по душам, рассказать, что по утрам я бегаю, играю в футбол и вообще физически чувствую себя прекрасно. Ждал слов: "Ну и перестраховщики эти ваши районные врачи...". А этот человек в белом халате что-то написал на моем направлении и произнес всего три слова: "Операция необходима. Следующий". Сказал так просто и буднично, как говорят: "Закрой форточку, дует". Словно обухом по голове. Бормочу: "Простите, я бы хотел...". И на этот раз с долей легкого раздражения: "Я же сказал: идите. Я все вам написал". И вновь улица. Куда-то спешащая толпа. И я, с ватными ногами, бредущий не знаю куда. Как сквозь сон доносится от: "Ты что, слепой?" до: "Молодой человек, вам плохо?" Плохо... Это был конец, конец жизни. В двадцать пять лет. День третий. Оказалось, еще не конец. Наступило, пусть серое, зимнее, но всетаки утро. Затем другое. Произошло чудо: мне понадобился всего один день, чтобы пробить уйму бюрократических стен и попасть в клинику. Я знал, что люди ждут своей очереди много месяцев, а мне понадобился всего один день. Сейчас, спустя годы, я понимаю, что без Божьей помощи, без добрых людей никакой крепости моего лба не хватило бы. Но тогда я уже почти счастливый шел с пакетом в руках за медсестрой по длинному больничному коридору. Да, это не наша районная больница. И в помине нет ядовито-зеленых стен, коек в коридоре, запахов,

от которых с непривычки человеку дурманит голову. Блеск пола и пластиковых потолков, бесшумная вежливость персонала, комфорт в палатах... Но радостных лиц не видно. Хотя мои соседи по палате обрадовались новому постояльцу. Мальчик Сережа из Костромы вообще оказался прекрасным гидом: "У нас здесь, на восьмом этаже, люди обследование проходят. Затем тех, кто на операцию согласен, переводят на десятый этаж - там и готовят к операции. Ну а на тринадцатом операционная...". У Сережи очень редкая и очень серьезная болезнь: у него поражены с рождения все сердечные клапаны, их ему будут менять на протезы. Но столько в мальчике живости и энергии, что начинаешь сомневаться в его хворях. Мечтает после операции играть с соседскими ребятами в футбол и хоккей. Целыми днями надувает шар: врач так заставляет его увеличивать объем легких, он у мальчика недостаточен. Сережа с гордостью говорит: "Я раньше с двадцати раз этот шар надувал, а теперь с десяти. Но вообще-то надо с шести".

Да, все разговоры здесь - только вокруг здоровья. Целый день только и слышно: сердце, сердце, сердце. Очень быстро становится какой-то нереальной прежняя жизнь. Люди, для которых единственный шанс продлить жизнь - это сделать операцию, и которые всеми правдами и неправдами пытались помочь себе, целыми часами сидят у окон и все глядят, глядят на огромную, до самого горизонта раскинувшуюся Москву. Я ее плохо знаю, и москвич Саша с удовольствием показывает мне: "Вон там, видишь? - Это Плющиха. Фильм "Три тополя на Плющихе" видел небось?". Через два дня Саша умрет. Ночью, во время сна, так и не дожив до операции.

День пятый. Удивительно, но дни в больнице идут быстро. Анализы, процедуры, исследования... Постепенно знакомлюсь с людьми. А с медсестрами уже успел подружиться. Славные девушки. Особенно Лена и Ирэн. Подруги, они словно не знают, что такое плохое настроение. Такие люди в больнице на вес золота, больные их очень любят. За постом дежурной медсестры - несколько мягких диванов и телевизор. Для больных это своеобразный культурный центр. Обмениваются новостями, слухами - женщины и здесь остаются женщинами: они знают все и обо всех. Странно, но москвичей мало, в основном приезжие, хоть географию изучай: от Кавказа до Дальнего Востока. Я понемногу наблюдаю за ними. И в самом деле, просто поразительно видеть на одном "квадратном метре" столько жизнелюбия, стойкости. Поверьте, это не высокие слова. О своих болезнях, страданиях говорят очень обыденно и просто. Павел Евгеньевич из Ярославля уже лет пятнадцать вынужден спать сидя. Стоит ему лечь, что-то происходит с сердцем, оно начинает останавливаться. Николай из Риги. Ему дома сделали операцию, но неудачно. Сказали, что жить осталось недолго, но оперировать не хотят: "Мы вас обследуем, а потом езжайте в Ригу. У вас там есть свой сердечный институт". Ходит он с большим трудом, после трех-четырех шагов долго передыхает, в руках всегда нитроглицерин. Мне он объясняет, что дело в том, что шансов на успешную операцию у него мало. А у врачей тоже статистика своя, им не нужны неудачные операции, когда человек на столе умирает. "Но я не уеду отсюда все равно. Лучше на столе умереть, чем так жить".

Но есть и другие люди. По коридору взад-вперед ходит невысокий пожилой человек в спортивном костюме. На больного не похож. Оказывается, блатной, ежегодно ложится на месяц подлечиться. Подошел ко мне: "Парень, беги отсюда. Здесь людей, как собак режут. Беги". Засранец. Сытая, холеная физиономия. Так и захотелось съездить по ней. Коля отзывает меня в сторону: "Не кипятись, хотя и гад он еще тот. Разве можно на людей поклеп возводить. Врачи здесь мировые, не сомневайся". Я отвечаю, что не сомневаюсь, но нельзя же позволять у людей отнимать надежду. А именно надеждой живем здесь мы все.

День седьмой. Хорошо поговорил с лечащим врачом. Милая, какая-то вся уютная, домашняя женщина. Как же ее звали? Надо же, забыл... Несколько лет проработала в Африке. Рассказывает о дочке-школьнице, о домашней собаке породы "ньюфаундленд", из шерсти

которой она связала себе уже кофточку... Сережу перевели на десятый этаж. Недели через две-три ему сделают операцию. В больнице есть негласный обычай: не обмениваться адресами, даже если подружился с человеком. Я сначала думал, что это обычное суеверие, потом понял: это из чувства такта. Бывало ведь и так: приходит письмо, а отвечать некому... День тринадцатый. Все обследования закончены. Сегодня - последний день 1982 года. В столовой Ирэн и медбрат Володя наряжают елку. Больные с удовольствием им помогают. Первый раз в жизни встречу Новый год вдали от родных. Утром пришло письмо от родителей и сестренки. Волнуются, ждут встречи. Господи, почему я раньше не ценил все это - дом, семью. Оказывается, какое это счастье - просто идти по улице, встречаться с друзьями, стоять под дождем... Нам разрешили сегодня нарушить режим, тем, кто захочет, разумеется. Человек десять пришли в полночь в столовую. Каждый нес, что у него было. Желали друг другу счастья - и поднимали стаканы с компотом, кефиром и соком. За моим столом сидит очень красивая, небольшого росточка женщина. Неля. На ее щеках пунцовый румянец, похожий на крылья бабочки. Когда мы познакомились, я допустил бестактность: "Интересно, что с таким румянцем в больнице делать?". Но она не обиделась. После я узнал, что такой узор на щеках - признак очень слабого и больного сердца. Неля около года ждала, чтобы ее положили в клинику. И то, что это ей удалось, считала началом новой, светлой полосы в ее жизни. Через месяц Нели не станет, но я и по сей день помню ту новогоднюю ночь, стаканы с компотом. В воздухе словно разлилась какая-то удивительная атмосфера теплоты и нежности. Женщины, привыкшие ходить в халатах, конечно же, не могли одеть лучших своих нарядов, но принарядились, как могли. Включили телевизор. Но больше говорили. Мечтали о том, чем будут заниматься, когда сделают операцию, вспоминали родных, друзей.

- Ребята, поверьте, - произнес Николай, - мы еще выпьем шампанского. И твист станцуем. О, если бы вы знали, как я танцевал его в молодости! - Николай был очень артистичен. Он подошел к Неле и хорошо поставленным голосом, учтиво склонившись, пригласил ее на танец:

- Ну, а пока что медленный. Я сегодня готов на подвиги. По телевизору пели песню про лаванду, Неля и Коля танцевали, и я видел, что сегодня все, собравшиеся в этой столовой, были счастливы. Стало шумно. Пришел Володя. Судя по всему, он где-то встречал Новый год совсем не компотом.

- Ну вы даете, ребята! Меня так с работы уволят. Вы уж не шумите, пожалуйста. Сказал, и умчался дальше праздновать...

Прошло с тех пор немало лет, но до сих пор, когда я слышу по радио "Лаванду", передо мной как наяву танцующие Неля и Коля. Жив ли он? Хочу верить, что жив. И благодарен ему за тот заряд оптимизма, что он давал каждому из нас. День шестнадцатый. Новый год в больнице начался плохо. На операции, первой в году, умер мужчина. Я видел его всего пару раз. Он ходил с шахматной доской под мышкой и искал партнеров. Потом его перевели на десятый этаж. И вот случилось такое. Медсестра Лена сообщила подробности: врачи здесь не причем. Он умер до операции, но на операционном столе. От инфаркта. Страх разорвал его сердце. Неудачной стала и вторая операция. По горькой иронии, умерший - сосед шахматиста по палате. За обеденным столом я видел всегда их вместе. Он был полный, дышал, как паровоз. Ел обычно долго, и шахматист терпеливо ждал его, не уходя в палату. Лечащий врач на мои расспросы, ответил коротко: "Это же все-таки сердце. Бывает, все вроде бы пройдет успешно, а сердце пустить так и не удастся. А бывает такое безнадежное сердце - и все прекрасно заканчивается". Хуже, что началась паника среди больных. Многие выписались. Печально, что в клинике существовал суровый закон: тот, кто отказывался от операции и выписывался, вторично сюда не принимался.

И вот когда я собирался дочитывать уже изрядно надоевшего Дрюона, - этот автор был в те

годы очень популярен и книги его можно было приобрести за сданную макулатуру, - неожиданно в палату вошел хирург Вадим Прелатов. Он присел на мою кровать и сказал: "У меня к вам серьезный разговор. Давайте пройдем ко мне в кабинет".

Вообще-то для сердечников, ожидающих операцию, хирурги - боги. Каждый имеет своих поклонников, как какой-нибудь артист. Не знаю, как хирурги выбирали себе больных, но это быстро становилось известным. Когда я узнал, что в перспективе меня будет оперировать Прелатов, и спросил Николая, как к этому относиться, он ответил лаконично: "Самый лучший вариант".

Тогда Прелатову было под сорок. Впрочем, могу ошибаться. Тогда все люди старше меня казались солидными, как говорится, "в летах". А он и впрямь производил впечатление. Молчаливый, вид всегда суровый. Когда он стремительно шел по коридору, больные показывали новеньким на него: "Это сам Прелатов". Конечно, среди хирургов клиники были люди и с большей известностью, лауреаты, но Прелатов, в отличие от пожилых "звезд", достиг того возраста и такого уровня мастерства, когда больные, а это народ самый сведущий, говорили: "Пусть у академика В. больше наград, но к Прелатову попасть как-то надежнее". И вот я сижу в его кабинете. Молчание затягивается. Прелатов внимательно смотрит на меня, будто решая - говорить или нет.

- Видите ли, - наконец начал он. - У нас сейчас сложилась не очень нормальная ситуация. Надо бы людей поддержать. Две неудачные операции подряд для нас - ЧП. Одним словом, я хочу вас прооперировать.

- Когда? - только и смог спросить я.

- Завтра. У нас как раз операционный день. Не волнуйтесь. Даю вам слово, что все будет хорошо. Сердце у вас компенсировано, я видел, как вы утром по лестницам бегали...

- Легкие увеличивал.

- Правильно. Есть, правда, одна сложность, чисто техническая. Мы на операцию забираем с десятого этажа, туда и возвращаем после реанимации, а мест сейчас там, мне сказали, нет. Но мы что-нибудь придумаем. Странно, но на меня нашло какое-то удивительное спокойствие. Я обычно, перед тем как идти к зубному, дрожу как осиновый лист. А тут вдруг мелькнула мысль: "Наконец-то! Побыстрее отделаться - и дело с концом". Когда вечером Ирэн принесла мне целую кучу успокоительных таблеток, я отказался: "Зачем мне они?". Вообще-то я всегда был не прочь поиграть на публику, но в тот момент я действительно не рисовался. Хотелось только одного: чтобы быстрее прошло время. И я придумал себе занятие: взял справочник по какому-то художественному музею и до глубокой ночи переписывал имена художников и названия картин... День семнадцатый. Утро. Я почти механически почистил зубы, умылся. Подошел к окну. Январь, а снега еще нет. Вернее, он растаял после новогодней ночи. Москва была в дымке. Плющи не видно. Зашла Ирэн: "Ты не готов еще? Надо ехать". Прямо в палату ввезли каталку. Меня заставляют снять всю одежду. Натягиваю простыню до подбородка.

- Ирэн, да я сам дошел бы до оперблока.

- Не положено. И вообще, молчи, и набирайся сил. Меня везут по коридору. Из палат выходят люди. Впервые прямо отсюда увозят на операцию. Кто-то желает удачи, кто-то просто машет рукой. Ирэн пытается казаться строгой: "По палатам, нечего смотреть", но по глазам вижу, что переживает. Наконец и операционная. Последнее чувство, которое помню - стыд. Снимают простыню, а сверху, на балконах, за стеклом десятки людей в белых халатах. Наверное,

практиканты. Подносят маску. И - самая последняя мысль, перед тем, как глаза мои сомкнет сон: "Проснусь ли "?

* * *

День девятнадцатый. Открываю глаза. Пелена. Какой-то гул вокруг. Несколько секунд удивительнейшее чувство, которое ни до, ни после я не переживал: не знаю, кто я. Будто мое "я" улетучилось куда-то. Затем постепенно пришло понимание того, кто я есть. Но возник второй вопрос: где я, что со мной? Пытаюсь спросить. Из горла доносится какой-то хрип. Опускаю глаза - откуда-то из груди торчит трубка, вторая во рту.

- Чего - чего? - уже явственнее слышу насмешливый голос, Те, кого я принял за ангелов, оказались бригадой врачей - реаниматоров. Старшая из них подошла ко мне:

- Очнулся, голубчик?

- ... мени ... колько? пытаюсь спросить?

- Еще раз.

- Времени сколько?

- Много, голубчик. Третий день дрыхнешь.

- Третий?!

- Третий, третий. Мы тебя уже будить собирались. Храпел, как сурок. Так значит я живой, и операция прошла благополучно? Радость дала силы голосу:

- Я... не храплю. Это трубки... ваши.

- Гляди, разговорился, - а потом, когда трубки во рту уже не было, подошла и погладила мою руку:

- Молодчина. Все хорошо. А сейчас молчи и набирайся сил - они тебе еще пригодятся.

День двадцать пятый. Я-то думал, что после операции все останется позади. Наивный. Лишь несколько дней спустя до меня дошел смысл слов врача реаниматора: "Набирайся сил". Неделя в реанимации стала самой тяжелой в моей жизни.

Огромная комната. День и ночь горит яркий свет. Постоянно работает какая-то машина, гудящая как трансформаторная будка. Грудь моя, с огромным багровым шрамом, сшита титановой проволокой. Никак не привыкну к клапану: раньше я не слышал своего сердца, теперь и денно и ночью стучит в груди, как маленький молоточек. Но гораздо хуже другое: после операции начались осложнения. Обычные, как говорят врачи: воспаление легких, увеличилась печень. Кашель постоянный, с утра и до утра. Ощущение такое, когда кашляю, что кто-то невидимый бьет в грудь ножом. До крови кусаю губы, но кашель не подавить. Все из-за той же располованной грудины спать можно только на спине. Пить разрешено не более стакана воды в день. Почти вся она уходит на запивку уймы таблеток. Кто-то посоветовал сосать лимон. Правда, помогает это плохо. Мне кажется уже, что я, прожив двадцать пять лет, так ничего и не знал. Не знал, что такое боль, что такое жажда, когда ждешь следующего дня, чтобы сделать глоток воды. Не знал, что человек может резко измениться, даже внешне, в течение всего нескольких дней. Меня пришла проведать Ирэн. Попросил у нее зеркало. На

меня смотрел чужой человек: на исхудавшем лице одни глаза и огромная черная борода, особо чудно смотревшаяся на фоне светлых волос. Оказалось, что во время операции, которая продолжалась пять часов, в меня влили огромное количество донорской крови. Сильный наркоз дал скорый рост бороды, а чужая кровь - ее цвет. Но тогда я не мог с юмором отнестись к этой ситуации. Больше того, буквально с каждым часом я ощущал, как меня оставляет желание жить. Если бы меня, как положено, на третий день после операции перевели в обычную палату, где рядом находились бы люди, куда пускали родных - может быть, я легче переносил бы все эти муки. А здесь... Боль и яркий свет, жажда и непрекращающийся гул машины... На двадцать пятый день моего пребывания в клинике я окончательно решил: лучший для меня выход - уйти из жизни.

Когда решение пришло, стало даже как-то легче. Мозг работал лихорадочно. На окнах решетки, видимо, не я один иду по этому пути. Выпить горсть таблеток разом? Здесь люди опытные и быстро работают, вмиг откачают. Да к тому же медсестру не хочется подводить. Отчаянье душило меня. Каждый новый приступ кашля только усиливал становившееся непреодолимым желание умереть. Но Господь сжалился надо мной. Хотя в тот момент о Боге я вообще не думал. Мой ангел-хранитель явился в виде медсестры Тани. В тот день она дежурила на другом посту. На мое счастье, проходя по коридору, она заглянула в реанимационный блок, где я лежал. Девушка увидела мои глаза, и, наверное, все поняла. Я знал, что медсестру зовут Таня. Красивой и даже симпатичной назвать ее было трудно, а в то время я выделял девушек только по этому признаку. А потому Таня меня не интересовала. Когда она присела на краешек кровати, я вдруг впервые увидел ее глаза. Большие, теплые, в них застыло то ли удивление, то ли радостный восторг: люди, как прекрасен мир, как прекрасны вы сами, неужели этого никто не замечает? Таня, неожиданно для меня, положила свою руку на мою и стала говорить, говорить. О том, что учится на вечернем отделении мединститута, что любит свою работу, и какие здесь девчонки замечательные, как они помогают друг другу. Однажды она допустила какую-то оплошность в работе, а старшая медсестра, хоть и строгая женщина, но оставила ее упущение без наказания. Но больше всего Таня говорила о своей маме, какая она у нее замечательная, метеоролог, очень известный в Москве. У мамы друзья по всему Советскому Союзу, она по делам службы часто уезжает в командировки. Завтра Таня собирается ехать на аэродром, встречать маму. Ужас, как соскучилась по ее блинчикам. Обязательно принесет их мне.

Она говорила, а ледяной ком в груди словно таял. Так весной ручеек на пару с солнышком растапливают корку прибрежного льда. Я смотрел на Таню, на ее лучистые глаза - и не узнавал ее. Более красивой девушки я не встречал в жизни. И доброй. Лежу здесь никому не нужный, всеми забытый, а она говорит о своей маме, которую я никогда не увижу. Наверное, у нее и впрямь замечательная мама. А моя? Господи, неужели я такой эгоистичный дурак? Решил себя порешить и даже не подумал, что далеко-далеко, в маленьком домике не спит ночами, думая обо мне, моя мать. Но я, считающий себя забытым всеми страдальцем, так ни разу и не вспомнил о ней... А Таня все продолжала и продолжала говорить.

Ледяной комочек в груди растаял окончательно. Мне уже дикой казалась сама мысль о добровольном уходе из жизни. И тогда, именно тогда до моего сознания дошло: операция на сердце, начатая неделю назад, сегодня, сейчас завершилась. Начал ее хирург Прелатов, а закончила Таня. Холодное, эгоистичное и равнодушное сердце больное сердце. Человек, думающий только о себе, такой же сердечник... Впрочем, это я сегодняшней могу именно так вспоминать те дни, а тогда... тогда я понимал только одно: Таня спасла меня.

И надо же такому случиться, буквально через тридцать минут после ее ухода, с каталкой в реанимационную въехала сияющая Ирэн: "Тебя начальство разрешило вести к нам опять, на восьмой этаж. Сколько работаю, не припомню такого". И вот я на каталке, так и хочется

написать на "щите", бородатый, худющий, но уже ничего и никого не стесняющийся, еду по знакомым коридорам. Это был триумф, скажу я вам. День сороковой. Машина скорой помощи выехала из Москвы. Меня везут в санаторий Переделкино, восстановиться после операции. Машина останавливается прямо напротив центрального входа. Только что я ехал по грязным и мокрым московским улицам, в потоке машин. А здесь тишина. Сосны и снег. Неспешно и степенно гуляли люди. Белка сидит на ветке и смотрит на меня глазками-бусинками. Водитель скорой, молодой паренек, помог мне выйти. Предлагает подождать носилок, но я уже могу пройти в день до ста шагов, а потому прошу его не беспокоиться: "Дойду потихоньку". А сам стою и не могу надышаться. То ли солнце такое яркое, то ли соринка в глаза попала, но отчего-то они повлажнели. Неожиданно для себя самого, опускаюсь на колени и целую землю. Паренек растерянно стоит рядом, не зная, что делать. Остановились многочисленные гуляющие и удивленно смотрят в мою сторону. Но мне все равно. Я уже столько дней никого и ничего не стесняюсь. Не стесняюсь выражать чувства, не боюсь показаться смешным. Ну и пусть я смешной. Зато я знаю то, чего не знают ни парнишка - водитель, ни эти люди. Я знаю, какое это счастье - жить. Просто жить...

Вот я и нашел один камешек из ожерелья, которое рассыпалось в моих руках. Найти бы другие.

Сапожок

Этот маленький зеленый городок встретил меня петушиным пением, разноголосицей детских голосов и мелким, не по-летнему нудным дождем. Петухи и куры, не боясь машин, гуляли по проезжей дороге, детишки стрясали еще не созревшие яблоки, а дождь то затихал, то принимался идти снова, не особо мешая мне осматриваться по сторонам.

Сапожок - город старинный, но от прошлых лет остались старенькая церквушка, да на центральной улице стояли несколько домов постройки конца прошлого века. Они походили на стариков - аристократов, впавших в нужду: пусть одежда в заплатках, но все равно - порода видна. Фасад у домов был ужасен, но, возвышаясь над одноэтажными домиками городка, они еще хранили следы прошлой красоты. Не удивлюсь, если окажется, что на карте Рязанской области Сапожок числится не городом, а поселком. Уж больно он мал. А потому уже через два часа я прошел по всем его улочкам, посидел на топком низком берегу Мошки - глубокой тихой речки с неспешным, словно ленивым, течением. На воду можно смотреть бесконечно. Я засмотрелся и, видимо, потерял счет времени. Очнулся я от звука колокола, доносившегося со стороны кладбища. Колокол звал людей на вечернюю службу, но нетрудно было заметить, что на сапожковцев колокольный звон не произвел никакого впечатления. Народ продолжал заниматься насущными делами. Мне же делать было нечего, и я решил сходить посмотреть на службу. Здесь мне необходимо сделать небольшое отступление: Дело в том, что, несмотря на мое преклонение перед традициями, из коих Православие я считал стержневой, основополагающей традицией русской нации, на то, что я часами с восклицаниями мог стоять перед иконами, любил церковное пение и считал Иисуса реально существовавшей личностью, сам я был все же неверующим человеком. Когда приходилось заходить в храм, отчего-то всегда чувствовал себя неловко: так неловко чувствует себя человек, которому случилось без приглашения оказаться в большом дружеском собрании. Вроде бы никто не гонит, а понимаешь свою ненужность и неуместность. Даже креститься мне в церкви было стыдно образованный человек, а такие суеверия.

Но вернусь в Сапожок. Под вечер дождь пошел настоящий. Рюкзак стал намочать, под ногами сразу развезло. Вот и кладбищенская церквушка. Захожу несмело, вначале бестолково топчусь у дверей, не зная, что делать с торбой за спиной. Наконец, ставлю рюкзак у входных дверей и делаю несколько шагов вперед. Осматриваюсь. Полумрак. Священника нет, видимо, в алтаре.

Две старушки поют на клиросе. Еще одна за чтеца. И больше никого в храме, я один! Женщина на секунду прекратила читать, и осмотрела меня - буквально с ног до головы, точнее, с головы до ног. Повернуться и уйти? Но уйти сразу как-то неудобно, и вот я, переминаясь с ноги на ногу, стою посреди храма. Вдруг двери царских врат открылись, появился священник. Он что-то провозгласил и поклонился присутствующим. Поскольку в храме я находился в одиночестве, если не считать служек, то мне пришлось поклониться в ответ. Мелькнула мысль: впервые в жизни, пусть даже поневоле, участвую в службе. Запели старушки. Голоса высокие, дребезжащие, слова было разобрать трудно. Священник стал кадить. Вначале он кадил у алтаря, передвигаясь от одной иконы к другой. Затем батюшка спустился к нам. Бабушки встали так, чтобы не стоять спиной к каждению. Повернулся и я. Но, разумеется, никаких высоких или глубоких чувств при этом я не испытал. Более того, глаза привычно замечали мелкие детали, которые замечаешь всегда, когда делать нечего. Священник был пожилой. Взгляд быстрый, внимательный. На ногах калоши, из-под рясы торчали выдавшие виды старенькие брюки, забрызганные грязью... Про себя я уже решил: сейчас священник скроется опять в алтаре, и я уйду искать ночлег. Тем временем он оказался напротив меня, опять бросил на меня быстрый взгляд, пару раз взмахнул кадилом и ... До сих пор я уверенно мог описывать каждую минуту пребывания в храме: взгляд священника, одновременно отстраненный и суровый, резкий, показавшийся поначалу неприятным, запах ладана, мои неловкие поклоны ... Чтица, мгновением ранее произнесшая: "Слава Тебе Боже наш, слава Тебе", перекрестилась и я, подумав, что, наверное, в этом месте службы нужно креститься всем, тоже перекрестился. Не очень уверенно, поскольку делал это впервые в жизни, торопливо поклонившись.

И словно какая-то большая, теплая волна, подхватив, захлестнула меня. Тот же храм, те же люди, но будто другое все. Раздражавшее своей фальшивостью пение старушек неожиданно стало умилительно-нежным, ласкающим душу. Усталости как не бывало. Но самое главное было не в этом. Вся моя жизнь в мгновение ока пролетела передо мной. Жизнь непутевая, бестолковая, грешная. Непутевая по своей бесцельности, бестолковая - по той суетности, что делала мое существование одним сплошным мельтешением, и грешная - ибо любил я в жизни только самого себя. Даже те поступки, в которых можно было бы найти доброту и бескорыстие, по сути дела только ласкали мое тщеславие и самолюбие. Обо всем этом я мог бы рассуждать долго, а иной раз, раньше, я не без удовольствия поругивал себя, - но здесь, в церкви, здесь ... было иначе. Мне стало жаль себя, жаль моих друзей, живущих также бестолково. Вдруг представился день моего ухода из жизни, равнодушное сочувствие окружающих. А вероятнее всего, никто и не заметит моего ухода... Слезы текли по моему лицу. Я взглянул на иконостас перед царскими вратами. Христос глядел мне прямо в глаза. Нет, не так - в душу мою Он глядел, но не было суровости в этом взгляде. Была любовь, которая доселе мне неведома, которая испепеляла меня. Я отвел глаза. Но и с других икон на меня смотрели... смотрели живые люди. Николай Угодник, Сергей Радонежский, наконец, сама Божья Матерь. Раньше я читал о них в атеистических брошюрах, рассуждал о суевериях нашего народа, а сегодня, сейчас, я ощущал их реальное присутствие, их настоящее участие в моей судьбе: Они одновременно судили меня и как бы говорили: еще не поздно, еще не поздно. Словно гнойный нарост прорвался, и вместе со слезами раскаяния уходила пустота, столько лет жившая в моей душе. Не знаю, не смешна ли для чужого уха эта исповедь. Тем более что длилось все это - мгновение и мне вряд ли удастся передать то, что случилось со мной дождливым летним вечером в маленькой кладбищенской церквушке маленького городка... Кто-то тронул меня за плечо:

- Милый, служба кончилась, церковь закрывается, - женщина-чтица участливо глядела в мои глаза. - А может ты... вы... хотите с батюшкой поговорить. Он у нас хороший.

- Нет спасибо, мне пора. - Я был удивлен: то, что вроде бы длилось минуты, на самом деле

длилось больше часа. Говорить и вправду ни с кем не хотелось, да и ночлег еще не найден. - Спасибо.

Накинув на плечи рюкзак, я шагнул в сумерки летнего вечера. Все было прежним грязная дорога, старые дома, в незримой для людей дремоте вспоминаяшие век минувший, деревья в маленьком скверике. Другим был я. Не лучше, чем раньше, не хуже, - просто другим. В Сапожке состоялась встреча, которую я меньше всего мог ждать. Встреча с Богом.

Перед самой гостиницей под названием "Мошка", меня остановил местный житель. Был он в изрядном подпитии, но настроен весьма благодушно. Случайно, закурить нет у вас?

- Нет, не курю.

- Ну и правильно. А погодка-то ... налаживается.

- Кажется да.

- Лицо мне ваше не знакомо. Проездом или приехали к кому?

- Вернулся. Домой.

Молитесь за меня.

Все, опоздала! - матушка Евгения, запыхавшаяся от быстрой ходьбы, тоскливо глядела на пустую привокзальную площадь города. До монастыря, где она была настоятельницей, больше двадцати километров. Автобус в ту сторону пойдет только утром.

На автостанции матушке посочувствовали, но помочь ничем не смогли. Она уже внутренне приготовилась к тому, что придется заночевать в городе, как в дверях автостанции ее чуть не сшибла женщина, устремившаяся к окошку диспетчера.

- Люська! Люська, черт тебя дери! Уснула что ли? - Матушка Евгения при слове "черт" быстро перекрестилась и повнимательнее посмотрела на кричащую. Той было под сорок, потертые, выдавшие виды джинсы, серая куртка. Окошко отворилось. Женщина-диспетчер, тем же спокойным тоном, каким она минуту назад разговаривала с монахиней, ответила:

- Ну что ты кричишь? Вечно как угорелая носишься. Давай бумаги.

- Не ворчи. Просто домой скорей хочется. Тут только матушка Евгения поняла, что эта женщина - водитель такси. Ее серая "Волга" стояла у самого входа в автостанцию. У монахини затеплилась надежда. И хотя ни внешний вид женщины, ни ее манеры матушке не понравились, "Волга" была для настоятельницы последним шансом добраться затемно до монастыря.

- Простите, - окликнула она садившуюся в машину таксистку. - Вы еще работаете? матушка сделала вид, что не слышала разговора женщины с диспетчером.

- Отработала уже. Сейчас машину в парк поставлю - и домой, - ответила та.

- Видите ли, я в городе по делам была, и вот... опоздала на последний автобус.

- Да, до монастыря далековато, - в голосе женщины прозвучало искреннее сочувствие. Она на мгновение задумалась, а потом, словно приняв решение, махнула рукой:

- Ладно, мои оглоеды без меня поужинают. Садитесь, поедem.

- А сколько это будет стоить? - робко спросила матушка.

- Поехали, говорю. Там видно будет.

Долгие северные сумерки уже затемнили окрестные поля. Машина ехала по пустынной дороге. Таксистка включила музыку. Прислушавшись к тому, что поет певица, матушка перекрестилась еще раз.

- Выключить? - улыбнувшись, спросила водитель.

- Если можно, пожалуйста.

- Все правильно. Вам лучше такие песни не слушать. А мне, честно говоря, нравится. Жизненно.

- Мне это трудно понять, - вздохнула матушка. Еще пять минут назад она радовалась тому, что все так хорошо закончилось, а сейчас уже искренне скорбела, думая о таксистке.

- Вы меня простите, - обратилась монахиня к женщине, - как вас зовут?

- Анна.

- А по отчеству?

- Да какое там отчество, мы же шоферня. Начальника гаража по - отчеству зовем, остальных по именам.

- И что, с вами одни мужчины работают?

- Почему? Диспетчеры, бухгалтерия, - начала перечислять Анна, но потом, словно поняв подтекст вопроса, засмеялась:

- Нет, ребята меня не обижают. Да и за баранкой я уже лет пятнадцать.

- А вот вы в брюках, - матушка пыталась быть тактичнее. - И выражения всякие допускаете. Наверное, курите? Это все не спасительно.

- Курю, - вопреки опасениям матушки, Анна спокойно отреагировала на ее слова. Кстати, а как к вам полагается обращаться? Сестра?

- Нет, я настоятельница. Мать настоятельница.

- Вы думаете, мать настоятельница, я о своих грехах не знаю? - она махнула безнадежно рукой.

- Только ведь это в рекламе по телевизору дура какая-то под машину в мини-юбке лезет. Не видели?

- Я не смотрю телевизор.

Ну да, я забыла. А выражаюсь ... бывает, но не подумайте, что я сквернословка какая ...

Если матернусь ненароком, то по делу.

- А в Бога веруете? - матушка уже овладела ситуацией.

- А как же без этого?

- В церковь на исповедь ходите?

- В великий четверг ходила. Когда еще? Да, получается раз в год.

Надо чаще. И каяться, каяться надо в грехах. Их мало знать, надо с ними бороться. На вашей работе для женщины столько искушений. Наступило молчание. Анна о чем-то задумалась. Матушка уже не сомневалась, что Господь свел ее с этой женщиной не случайно. Вот и ворота монастыря. Когда Анна сказала, что денег брать с матери настоятельницы не будет, матушка Евгения обрадовалась, но уже не удивилась. И только в душе возблагодарила Господа, что она, грешная, своими словами тронула эту женщину. На прощанье пригласила Анну приходить в монастырь:

У нас служит на литургии отец Лонгин. Вот увидите: придете раз, захочется придти еще. И исповедник он замечательный. - И добавила:

- А я буду всегда молиться о вас.

Прошло несколько дней. В их быстротекущей череде постепенно забыла матушка Евгения таксистку Анну. Работы в монастыре было непочатый край, в город приходилось ездить по-прежнему часто, но пути женщин не пересекались. А однажды, во время короткого ночного сна, было матушке видение, Она и еще две женщины поднимаются на гору. Одна - прежняя ее знакомая еще по той, до монастырской жизни, а во второй матушка Евгения узнала таксистку Анну. Окрестности горы очень живописны, вершины не видно. Идут они легко, дружно. Вдруг городская ее приятельница говорит: "Не могу больше. Не идут ноги." Матушка удивлена, ведь идти так легко, так приятно. Дальше они идут вдвоем - матушка Евгения и Анна. Все круче подъем, все больше камней на пути. Вот уже и она чувствует, как деревенеют ноги, как усталость сковывает их своими цепями. Ее покидают силы. А что же Анна? Она по-прежнему идет легко, бодро. Только обернулась на прощанье, улыбнулась сочувственно - и пошла дальше. Наверх. Одна. Проснулась мать настоятельница с тяжелым сердцем. Она пыталась себя убедить, что сон из разряда пустых, ничего не значащих. Или это искушение дьявольское. Но сон "не отпускал". А где-то через месяц, в самый канун ее именин, сон повторился. В мельчайших подробностях. Да и сон ли это был? Матушка сидела в своей келье и, казалось, на минуту задремала... И она поехала в город, искать Анну. Нашла быстро. Та узнала ее, обрадовалась.

Давайте еще раз прокатимся? С ветерком! - у Анны было хорошее настроение. - В соседний райцентр через два часа поезд из Москвы приходит, я обычно туда за пассажирами еду. Вас довезти - крюк небольшой. Чтобы поговорить обстоятельнее, матушка Евгения согласилась. На этот раз она решила подробнее расспросить таксистку о ее работе. Ибо себе она уже расшифровала сон: гора - это путь на Небо, к Богу. Анна поднялась выше нее, ради Бога бросившую налаженную жизнь, надежды на создание семьи. Почему? Анна рассказывала охотно, ей явно льстило внимание матушки. Как живет? Да как все сейчас. Трудно. Раньше у них в парке было четырнадцать машин, осталось четыре. Считается, что шофер берет у руководства машину в аренду. Есть клиент, нет, а в конце месяца выложи положенные деньги. Запчасти, ремонт - тоже из своего кармана. Но ничего, выкручиваемся. Муж шахтер, грех жаловаться - пьет в меру, детей любит, целыми днями на даче возится. Впрочем, что ему еще делать - работает два дня в неделю, а деньги и за них не платят. Получается, всю семью кормлю.

- Да, - вспомнив, обернулась к матушке Анна. - А я ведь у вас в монастыре на службе была. Причаститься не получилось, а батюшка в самом деле понравился. Хорошо служит.

- Что же меня не нашла?

- По сторонам посмотрела - не увидела, а специально спрашивать как-то неудобно было.

И тогда матушка решила спросить напрямую.

- Когда мы виделись ... в тот раз ... я тебе о грехах говорила. Ты на меня не обиделась?

А на что обижаться? Вы же правду говорили. Вот, - и она показала на пачку сигарет,

лежащую под лобовым стеклом, - сколько раз обещания себе давала: брошу. А ни черта не получается. Ой, простите, - и она опять засмеялась своим смехом, который уже не раздражал матушку. Анна смеялась, откидывая назад голову, очень громко. Вырвалось.

А правду говорят, что ... нечистого лучше не вспоминать?

- Скажи, - словно не слыша ее вопроса, вновь обратилась к Анне монахиня, скажи, ты, наверное, в жизни ни на кого не обижаешься? Не осуждаешь никого, да?

Куда вы хватили! Чего-чего, а косточки мы бабы другим людям помыть любим. Я что, особенная? А обижаться, по-моему, тоже с умом надо.

- Как это с умом?

- Обидит меня человек несправедливо, а потом извиниться - мол, с горяча, - что же обиду в сердце держать? Бывает, и сама наорешь на человека, потом отойдешь, остынешь...

Последние слова Анна оборвала, не докончив фразы. Машина встала.

- Что-то случилось? - спросила матушка.

Чуть не проскочила за разговорами, - и Анна головой указала направо. Чуть сзади из маленькой деревушки на большак выходила полевая дорога. По ней почти бежали две старушки.

Да не бегите, "одуванчики", подожду. - И, обращаясь к матушке, добавила. Добросим бабок до села? Они за хлебом в магазин топают. Это, почитай, километров шесть в одну сторону.

В это время подбежали к машине старушки.

- Спаси Господи, спаси Господи! Здравствуй Анна, мы уж думали, что ты раньше проехала.

- Ну и прошлись бы. Говорят, полезно. Старушки увидели матушку. Лица их были знакомы ей, а уж то, что Анна везет матушку настоятельницу, привело их в восторг.

- Ладно, хватит кудахтать, - с деланной сердитостью проговорила Анна. - Я из-за вас к поезду опоздаю. Бабушки притихли, сложили руки на своих многочисленных сумках и словно окаменели. Но когда через пять минут они высаживались у магазина, старушки вновь загалдели, не жалея превосходных эпитетов Анне. Та только отмахнулась. Не успела за ними захлопнуться дверь, как перед машиной возникла женщина:

- Анна, помоги! Тут дед Михайло со вчерашнего дня околачивается. С Григорием скотником пенсию обмывает.

- Ну и флаг ему в руки. А я - то что могу сделать?

- Да бабка его, - она же тетка мне, - извелась небось, совсем! А он еще деньдва, с этим оборотом всю пенсию пропьет. Тебя-то дед уважает.

- Где он?

- Да вон у магазина сидит. Михаил Иваныч, - внезапно закричала женщина, - тебя Анна зовет.

К удивлению матушки дед не заставил себя долго ждать.

- Привет, радость моя! - изрядно поредевший рот старика расплылся в улыбке. - Че звала?

- Че звала, че звала... Такси подано, сэр. Садись, старый хрыч, довезу прямо до дому.

- Ладно шутить, ведь в обратную сторону.

Так из большого уважения, да и матушка благословит, а то ведь оставишь бабку свою без пенсии... По разговору Анны монахиня было трудно понять, когда та говорит серьезно, когда нет. Но дед послушно погрузился на заднее сиденье, "Волга" развернулась и понеслась в обратном направлении. Затем ехали полевой дорогой, сворачивали еще куда-то - матушка не знала этих мест, - пока наконец деда не довезли до самого дома.

Когда ехали обратно, матушка спросила:

- Вы же опоздать можете к поезду...

- А! - только махнула та рукой. - Пустяки. Да и вы разве по-другому бы поступили?

- Я? - переспросила монахиня, - и не нашлась что ответить... Она попыталась уговорить Анну высадить ее, чтобы той не делать лишний крюк, но таксистка была неумолима.

- Я же обещала.

Позже матушка у своих же послушниц узнает, что Анну знают во всех окрестных деревнях. И она никогда не проедет мимо идущего старика или маленького ребенка, если в машине есть место. Но это настоятельница узнает позже. Пока же, прощаясь с Анной, она поцеловала ее. Женщина смутилась, не ожидав от строгой, одетой во все черное монахини такого порыва.

- Матушка настоятельница, если что надо будет, довезти куда - только свистните, ой, то есть, ... позовите.

- Хорошо, Анна, - ответила та и быстро пошла от машины. Но у самых ворот обернулась. Анна уже заводила машину.

- Не слышу, матушка? - таксистка высунулась из окошка.

- Молитесь за меня, Анна, - тихо произнесла мать Евгения и скрылась в проеме монастырских ворот.

- Что вы сказали? - проводив взглядом монахиню, Анна посмотрела на себя в зеркало.

- Да, Анята радикулит ты себе уже нажила, а теперь, оказывается, на старости лет глухой стала, пора на пенсию.

Через секунду "Волга" неслась по дороге обратно в город, потому что к поезду из Москвы было уже не успеть.

Недописанный рассказ.

Однажды привели меня путевые дороги в маленькое село, затерявшееся среди тульских степей. Черняево или Черняхино - сейчас и не припомню. Прошел я в тот день около сорока километров, сил идти дальше не было, как же возликовало мое сердце, когда, поднявшись на очередной пригорок, внизу увидел огоньки. Деревня ложилась спать, но, к моему счастью, ночлег удалось найти очень быстро, буквально во втором или третьем домике от края. Мои хозяева оказались симпатичными людьми. После позднего ужина мы долго разговаривали. Алексей Иванович и Евдокия Ивановна были на удивление общительными, словоохотливыми, и вскоре я узнал много интересного из истории села, в которое завела меня судьба. Среди занимательных повествований о жизни черняевских селян одно показалось мне поразительным. Алексей Иванович вспомнил, что еще до революции жил здесь поляк, врач по профессии: "Кажется, ссыльный", - как выразился мой хозяин. Ни фамилии, ни имени его, увы, вспомнить он не смог.

По всей видимости, личность поляка, оказавшегося вдали от родины, в этой глухомани была исключительная. Словно легенду передал Алексей Иванович рассказ о том, как излечивал врач безнадежных больных, как спас от неминуемой смерти богатого помещика. И когда благодарный пациент предложил врачу огромные деньги "старики сказывают, Бобринский, помещик тот, на коленях стоял: позволь, мол, тебя отблагодарить, проси, что хочешь", поляк наш только усмехнулся: не в деньгах, говорит счастье.

Всю жизнь врач прожил холостяком, правда, опять-таки, местные легенды приписывали ему романтическую связь с дочерью местного богатея. Но больше всего, помнится, поразил меня конец рассказа Алексея Ивановича. Слова его я передаю дословно: "Дожил наш поляк до глубокой старости. Не знаю, почему он так из села и не уехал... Как же фамилия его была? Вот ведь памяти никакой не стало! Да, а тут немцы пришли. Оккупация у нас не долго длилась, власти, почитай, никакой не было. Немцев прогнали быстро, но все равно, время тяжелое, сами понимаете. Одним словом, обокрали наши мужики поляка, он с голоду и помер". Алексей Иванович произнес это несколько сконфуженно, будто он виноват в смерти старого врача. Хотя, конечно, жителей села эта история не красила. Меня же тогда словно током ударило. Отчего-то явственно представилась ужасная картина: одинокий человек, всю жизнь отдавший людям, лечивший их, может быть, принимавший роды у их жен, а они у него единственный мешок картошки украли... Уже на следующее утро Черняево осталось далеко за моей спиной, но история ссыльного врача не отпускала. Более того. Я так много думал об этом поляке, что вскоре он стал мне кем-то вроде родственника. Не написать о нем я не мог. У поляка появилась фамилия и имя - Йозеф, по-русски Осип Генрихович Млынарский. Постепенно родилась биография. Одним словом, прошло два - три года и Осип Генрихович стал для меня абсолютно реальным человеком. Но, самое главное, моя фантазия продиктовала и окончание всей этой истории. Врач на смертном одре прощал неблагодарных черняевцев или черняховцев, будучи всю жизнь лютым безбожником вдруг звал к себе священника, а поскольку был по вероисповеданию католиком, - принимал веру народа, с которым прожил шестьдесят лет. Вот почему для меня такими же реальными людьми стали выдуманные мною священник отец Василий, его жена, местный балагур старик Белоусов. Разумеется, не забыл я и о дочери местного богатея, которая стала учительницей и всю жизнь, несмотря на то, что у нее были

уже взрослые внуки, продолжавшая любить Осипа Генриховича. Не стоит и говорить, как душещипательно в моей фантазии представляла их несчастная любовь.

Впрочем, как бы сейчас я не иронизировал над собой, до сих пор чувствую, что мой вымысел почти все время соприкасался с правдой, с жизнью, которая бывает диковиннее самой изощренной фантазии.

Короче, историю ссыльного поляка оставалось только записать на бумаге. Я так долго мысленно начинал писать этот рассказ, что первые строчки лились будто сами по себе.

"Ходики на стене пробили полночь. Полная луна, смахнув с себя очередную тучку, осветила горницу в доме черняевского священника отца Василия. Он любил это время. Позади дневная беготня по требам, скромный ужин вдвоем с матушкой, вечерняя молитва. До завтрашнего утра можно не думать о картошке, которой в доме осталось полтора мешка, о худой церковной крыше... Отец Василий смотрел на луну, лившую свой тихий свет на уснувший мир. На душе было, - как он любил говорить сам - благостно.

Яко луну и звезды основал еси Ты, Господи, - прошептал он слова псалма, но даже сверчок за печкой не мог бы расслышать шепот отца Василия". Дальше по сюжету в окно постучали. Смиранный священник, не ропща, пошел по зову к умирающему врачу, хотя мысленно недоумевал, идя по пустынной дороге, зачем безбожнику, да еще поляку, русский священник? Также легко получился и диалог отца Василия и Осипа Генриховича. Я изо всех сил старался, чтобы умирающий, а точнее его просьба о крещении была убедительна. Осип Генрихович, откинувшись на подушку и глядя в потолок, беззвучно шевелил губами, словно подыскивая то, самое важное слово, с которого нужно начать разговор. Отец Василий тихо кашлянул.

- Да, да, я сейчас. Не пугайтесь, я в памяти.

- Ничего, ничего. И вправду, подожду.

- Удивлены? Я, признаться, сам... удивлен. Но вот решился, наконец.

- На что, простите, решились, - деликатнейший отец Василий продолжал недоумевать, что от него хотел Млынарский.

Осип Генрихович повернул голову и посмотрел прямо в глаза священнику:

- Василий Петрович, я перед смертью хочу православным стать.

- Вы?! - только и сумел выговорить тот, - но вы же...

- Я знаю, кто я. И как свою жизнь прожил, никто лучше меня не знает. А в Евангелии, если не ошибаюсь, есть притча о наемных рабочих, которых виноградарь взял на работу в самый последний момент, когда виноград почти уже весь собрали. И ведь за труд их заплатил, как и тем, кто работал с самого начала.

- От Матфея глава двадцатая, - почти машинально произнес отец Василий.

- Точно. Так что вас смущает, дорогой Василий Петрович? А! Мое безбожничество, которым я открыто бравировал вас смущает?"... Диалог получился большой. В конечном итоге, поляк убеждает священника совершить над ним таинство крещения. Я тоже старался быть во всеоружии и в специальной литературе вычитал, как должен проходить обряд обращения католика в православного.

Мой священник за долгое свое служение ни разу не совершал его. И вообще, он был ошеломлен просьбой Осипа Генриховича. А тот, думая, что молчание вызвано сомнением, продолжал убеждать - и священника и, видимо, самого себя: Я ведь из своих семидесяти восьми только семнадцать жил в Польше. А все остальное с вами, с русскими то есть. Посмотрите на мою комнату. От Польши здесь - вон та картина нашего художника Шерменовского. И все. - Он улыбнулся чему-то. - Даже привычки все ваши плохие - моими стали".

Дальше священник объявлял поляку, что по правилам он должен... Впрочем, мне опять легче будет сослаться на уже написанное: "Он долго листал книгу, наконец, обрадовано хмыкнув, прочитал вслух:

- Архиерей, или иерей, приходящего да исследует, како разумеет учение римсколатинской церкви; также покажет ему разнствие оного учения православной церкви... - на мгновение отец Василий поднял глаза, помолчал, а затем произнес с несвойственной ему решительностью:

- Случай особый. Будем считать, что я обо всем вас расспросил и вам рассказал. Смотрим дальше: " По довольнем же испытании и наставлении повелит ему исповедать все грехи, елики от юности своя памятьствует".

- Я не ослышался, Василий Петрович, от юности?

- Да, Осип Генрихович. И это очень серьезно, - и добавил, словно ставя точку: без исповеди нельзя".

Ну а дальше, как вы догадались шла исповедь. Рассказ мой плавно подходил к концу. Мне осталось дописать совсем ничего: священник читает отпускную молитву, причащает умирающего... Последние строки: хозяин дома, в котором я ночевал, будучи в Черняеве ведет меня на сельское кладбище, дальше следуют мои размышления о бренности земного бытия, о вечности... Но слова, доселе сами просившиеся на бумагу, будто исчезли куда-то. Несколько дней, что дней - недель, я мучился над этими последними двумя страничками. И все безрезультатно. Словно невидимая сила, могущественная и всеильная не хотела такой концовки.

Тогда я по самонадеянности решил идти напропалую: напишу, что напишется, пусть плохо, но рассказ должен быть дописан.

И буквально на следующий день я заболел, и мне было не до рассказа. Затем какие-то другие дела, проблемы. А однажды мне приснился сон. Мне приснилось Черняево. Я иду по его пустынной улице, на лавке возле одного из домов сидит старик. Увидев меня, он встает и уходит в дом. Я пытаюсь его окликнуть - не останавливается. И только на пороге обернулся: Ты думаешь, так легко простить?

Я проснулся - и все понял. Один подвиг мой герой совершил - он честно и бескорыстно всю жизнь служил людям. На второй - простить их за причиненное зло сил духовных не хватило.

То, что я хотел написать - было сказкой, красивой сказкой с умильным концом. Я за моего героя, не пережив и сотой доли того, что пережил он, совершил свой суд. Свой, а не его. Видимо, ссыльный врач сделал другой выбор. И не мне осуждать Осипа Генриховича. Наверно, Бог не захотел моей лжи. А потому я бросил рассказ недописанным. Правда, совсем недавно рука сама потянулась к бумаге:

"Умирал Осип Генрихович легко, без боли. Все время хотелось спать. И словно во сне, перед

ним вставали лица людей, которых он когда-то знал. Они приходили, молча и внимательно смотрели ему в глаза и уходили. Последней пришла покойная мама. Ему стало так одиноко, так тоскливо, такая жгучая обида обожгла сердце, что слезы сами потекли по его впалым щекам...

- Все напрасно, все бессмысленно, - прошептал Осип Генрихович. - Жизнь - сон. И ты сон, мама. Горький сон. - Мама тоже ничего не сказала. За окном на ветру клонился долу вяз, посаженный им сорок лет назад. Он один, один в целом мире, оплакивал Осипа Генриховича. Когда последний вздох вырвался из груди умиравшего, ветви вяза, влекомые порывом ветра, застучали в окно, но он их уже не слышал".

Жаль, но других листков я не сохранил. Так и остался недописанным, а точнее ненаписанным рассказ про жившего когда-то ссыльного польского врача, фамилию которому я придумал сам.

31.08.97 г.

Пашка

- Следующая станция - Тверь. Конечная. - Раздался голос из динамика. Задремавший Пашка вздрогнул, потом сладко потянулся. Все. До автостанции всего две минуты ходьбы. Затем три часа до райцентра. Там он поймает попутку и к обеду окажется в родной деревне Еськино. Те долгие полгода, что он жил в Москве, картина возвращения в отчий дом, рисовавшаяся ему душными летними вечерами, была для него единственной отрадой. Пашка знал, что товарищи по строительной бригаде за глаза посмеиваются над ним. После смены он спешил в прокуренный вагончик, опасаясь соблазнов большого города. К тому же ему, деревенскому тихоне, не нравились местные девчата: слишком уж они бойкие. В еде и питье Пашка тоже довольствовался самым насущным. Бригадир Петр Иванович изредка подтрунивал над ним:

- Ты, Павел, хоть и кацап, а почище нас, хохлов, будешь. Сходил бы погулять, пивка попил. А то лежишь целыми вечерами, будто тебе не двадцать лет, а все восемьдесят.

Пашка улыбался, краснел, но ничего не говорил в ответ. Пусть смеются, ему-то что. Он лежал на панцирной койке и представлял, как идет по знакомой до боли деревенской улице, как здоровается с соседями

- Привет, Марья Даниловна! Как здоровье?

- Иван Матвеич! Мое почтение!

А вот и родной дом. Мама и сестренка бегут навстречу. Сестренка у него замечательная. Невеста! Не в пример этим городским вертихвосткам. Не то, что вина, пива сроду не пила. А работающая какая! Они зайдут в дом, сядут на кухне под образами. Он достанет московские гостинцы, а потом достанет книжку "Северная повесть" писателя Паустовского - ее он взял из дома не только для того, чтобы читать. Так вот, он раскроет книгу на сотой странице, и мама с сестренкой ахнут: "Денег - то сколько!" А мама даже слезу утрет: "Кормилец ты наш". Пашка по хозяйски еще раз пересчитает каждую купюру и скажет важно:

- Ну, мать, отдаю тебе деньги, решай сама, что нам более всего надобно. Но, главное, про Танюху не забудь: свадьба у нее должна быть на высшем уровне. Мать всплеснет руками:

- Да как же я про твою сестру забуду? Не волнуйся, родненький, справим мы ей свадьбу. С такими деньгами и не справиться. Но ведь и тебе не мешает костюм новый купить. Почитай, как

с армии пришел, только кроссовки тебе купили.

- Ничего, - ответит он, - я себе еще заработаю...

- Такси, пожалуйста, такси, - голос мужчины в кожаной куртке вернул Пашку к реальности. Он отрицательно качнул головой и быстро пошел по знакомой аллее в направлении автовокзала. Моросил нудный осенний дождичек, утренние сумерки делали всех людей какими-то одинаковыми. Пашка отметил про себя, что все, кто встречался ему на пути, были одеты в кожаные куртки, что делало их еще более похожими друг на друга. Один человек шел рядом с ним, другой обгонял их. Он бежал во весь опор, видимо, опаздывал на автобус. Вдруг из его кармана что-то выпало. Парень, идущий рядом с Пашкой быстро поднял небольшой пакет: в нем, туго скрученные резинкой лежали доллары. Многие ребята из строительной бригады меняли рубли на баксы, поэтому Пашка знал, как выглядит доллар. На каждой из этих купюр четко выделялись три цифры - 100.

- Эй, гражданин, стойте! - Закричал Пашка. - Вы деньги потеряли. Но человек не услышал его, убегая все дальше и дальше.

- Молчи, дуралей! - Подал вдруг голос парень, поднявший деньги. Тут же денег куча. Что упало, то пропало.

- Но ведь чужие же, возразил Пашка и опять крикнул, уже громче:

- Товарищ, остановитесь! У вас день...

- Слушай, взмолился парень. - Я с тобой по-братски поделюсь. Не будь ты идиотом...

Пашка в жизни не брал чужого. Он непонимающим взглядом смотрел, как парень прячет пакет с долларами в карман. Нехорошо все это, ох, нехорошо. А парень говорил все горячее и горячее:

- Мы сейчас за угол встанем и все поделим. Я студент, на степуху сейчас разве проживешь? Да и тебе лишние деньги не помешают...

- Ребята, вы здесь ничего не находили? - Как из-под земли перед ними вырос мужчина, обронивший пакет. Был он рыж, одет в кожаную куртку. Маленькие серые глаза смотрели пристально и тревожно. Пашка хотел сказать: "Конечно, находили, я же кричал вам", но парень шепнул ему на ухо: "Пожалуйста, не выдавай меня, ради Бога!"

- Что вы шепчитесь? - В голосе мужчины послышался металл. - Вы деньги нашли?

- Нет, в один голос произнесли Пашка и его сообщник. Только Пашка сказал это неуверенно и тихо, а парень громко и где-то даже с вызовом.

- Показывайте сумки! - Произнес мужчина. - Я свои кровные сразу узнаю. Пашка хотел возмутиться, но решил, что лучше всего будет показать свои деньги. Ведь все они были в рублях, а не в валюте. Он покажет и уйдет, а уж как они потом с этим парнем разберутся - их дело.

Пашка достал "Северную повесть".

- Вот, смотри, это мои деньги. Твои я бы так быстро не спрятал .

- Кто тебя знает, может ты шустрый. - С этими словами мужчина взял книгу из рук Пашки и стал задумчиво перебирать купюры.

- Убедился? - Пашка стал заводиться. - Теперь отдавай. В этот момент парень, стоявший за Пашкиной спиной вдруг сказал:

- Отстань от человека, мужик, вот твои бабки, - и протянул пакет незнакомцу. Пашка с уважением посмотрел на своего сообщника. Молодец, все-таки решил отдать деньги. Мужчина с видимым облегчением протянул книгу Пашке, но произнес укоризненно:

- А говорите, не брали. - Сунул свиток в карман и быстро пошел прочь. Правда, почему-то в противоположную сторону. Однако Пашка, у которого словно камень упал с плеч, на это не обратил внимания. А парень произнес:

- Давай в разные стороны, деревня. Видать, мужик крутой. Как бы нам морды не набили. - И с этими словами побежал на другую сторону улицы. У кассы народа не было. До отхода автобуса оставалось пять минут. Успел! Пашка назвал место, куда ему надо было ехать и полез в сумку за Паустовским. Раскрыл книгу... Денег не было. Пашка похолодел. Руки и ноги вмиг стали ватными. Он лихорадочно стал листать страницы - все тщетно.

- С вас восемьдесят семь рублей пятнадцать копеек, - сказала кассирша. - Если можно, дайте с мелочью.

- Сейчас, сейчас. Простите. - Едва дышавший от ужаса, Пашка полез в сумку. На пол полетели одежда, свертки с гостинцами, документы. Денег нигде не было. И тут только до него дошло, что их украли. Украли эти двое. Забыв о сумке, он рванул на улицу. Потом бросился обратно, бормоча про себя: "Как же так?" и "Только не это, Господи!" Схватил сумку и вновь побежал на улицу. Пашка бежал, оглядываясь по сторонам, надеясь увидеть мужчину в куртке. Добежал до вокзала, бросился к таксистам:

- Вы... вы... - ему не хватало воздуха, - не видели человека в куртке кожаной, с меня ростом.

Таксисты засмеялись:

- А мы все в кожаных куртках, и все с тебя ростом. Как он выглядит, человек твой? Приметы особые есть?

- Приметы? Да, вспомнил - он рыжий. Опять дружный смех:

- В наших краях, почитай, каждый второй мужик - рыжий. Да что случилось-то?

- Деньги у меня украли, - тихо сказал Пашка. - Все деньги. Домой вез. - И вдруг заплакал. Заплакал по-детски беспомощно. Смех стих.

- Эх, паря, - произнес самый пожилой из таксистов. - Обули тебя. Много хоть денег было?

Пашка назвал сумму. Кто-то удивленно присвистнул:

- Ого!

- Я полгода в Москве работал. На стройке. Копил. - Продолжая плакать, и шмыгая носом, чуть слышно ответил Пашка.

- И денежки твои плакали тоже, - насмешливо произнес один из таксистов. - В следующий раз

умнее будешь.

- Замолчи, - цыкнул на него старший. - Человеку и так плохо. - Затем обратился к Пашке:

- Хоть какие-то деньги остались? В какие края едешь? Пашка назвал свой районный центр.

- Далеко!

- Может мне в милицию пойти? - С какой-то робкой надеждой спросил Пашка.

- Бесплезно, - махнул рукой пожилой таксист. - Да и не возьмут они у тебя заявление.

- Почему?

- А им это надо? Скажут, что свидетелей нет - и прощай. Вот что, ребята, обратился он вдруг к своим коллегам, - давайте поможем бедолаге. - И с этими словами дал пятьдесят рублей. Другие мужики тоже полезли в карманы, доставали деньги и передавали их старшему. В основном десятки. Затем тот пересчитал деньги.

- Вот, возьми, - протянул он их Пашке. - Сто шестьдесят рублей пятьдесят копеек, как в аптеке.

- Спасибо вам, - с голосом Пашки что-то случилось. - Спасибо. Я обязательно верну.

- Забудь. Ну, ладно, парень, счастливо тебе, а нам работать надо. Знакомая касса. Женщина - кассир накинулась было на Пашку: "Я билет пробила, а вы убежали..." Но посмотрев в Пашкины глаза замолчала. Он протянул деньги. Получив билет, растерянно остановился посреди шумного зала. До отхода автобуса оставался целый час. Вокзал жил своей жизнью. Мимо Пашки сновали десятки людей, на него не обращавших никакого внимания. И вдруг он почувствовал, почувствовал впервые в жизни, что ему не хочется жить. Как он теперь вернется домой? Какими глазами посмотрит на мать, сестренку? Вновь встала перед глазами картина: он идет по деревне, Танюха, завидев его, выбегает из дома и со всех ног бежит к нему. И картина эта, раньше доставлявшая ему столько радости, на сей раз причинила почти физическую боль. Он, не понимая, что собственно делает, бродил из угла в угол, время от времени наталкиваясь на спешащих людей, пока не оказался в вокзальном буфете.

Вообще-то он был непьющим человеком. Последний раз пил полтора года назад, когда пришел из армии. Он подошел к стойке и после недолгих раздумий попросил:

- стакан портвейна и котлету.

- Сколько будете брать хлеба? - невозмутимо спросила буфетчица.

- Два, нет, один кусок.

- Котлету подогреть?

- Не надо. Нет, подогрейте.

Он никогда не пил портвейна. Что означают три цифры 7 на бутылке, Пашка не знал. Но портвейн был самым дешевым из всех спиртных напитков, продававшихся в буфете. Пашка нашел свободный столик у окна. Ему было немножко неловко, поэтому он быстро выпил свой портвейн. Оказалось, что он пьется намного легче, чем водка. Сначала Пашка даже был разочарован: портвейн показался похожим на забродивший сок. Но уже буквально через минуту, когда он судорожно заедал выпитое котлетой, живот наполнила приятная теплота, а в

голове немного зашумело. Через минуту захотелось выпить еще. Пашка залез в карман и достал оттуда пятьдесят рублей. Может быть те самые, что дал ему старший таксист. Впервые за весь день безысходность и потерянности уступили место злости. Ему захотелось взглянуть в глаза тем подлецам, разыгравшим его, как щенка. Но их он больше не увидит, Пашка это понимал. А вот другим людям, которых было много вокруг, он вдруг захотел посмотреть в глаза. И вообще, разве это справедливо, что до него, Пашки, Павла Сергеевича Воробьева, никому в целом мире нет дела? Ему вдруг захотелось встать на лестницу, ведущую из зала в буфет и закричать на весь вокзал, нет, на всю Тверь... Опять нет, на всю Россию: "Люди, мне плохо! Я никому не сделал зла, почему же со мной так поступили? Люди!!!"

Пашка решительно отошел от столика, но вместо лестницы подошел к буфету. Достал смятый полтинник.

- Пожалуйста, мне еще... И вдруг взгляд его случайно упал в дальний конец буфета. Там, на полу сидела женщина, судя по виду, славянской национальности. На ее руках спал ребенок. Большой ребенок. В левой, свободной руке женщина держала табличку, на которой было написано: "Люди добрые! Помогите, пожалуйста. Нужны деньги на срочную операцию". Пашка слышал, что развелось полным полно людей, спекулирующих на чужой сердобольности. От ребят, коллег по бригаде, он слышал, что в Москве за день такие люди получают до тысячи рублей, которые потом у них забирает мафия. Но здесь была не Москва. А еще... Еще они встретились глазами с этой женщиной. И такую боль, такую безысходность увидел в них Пашка, что вдруг к своему удивлению почувствовал в ней родственную душу.

- Молодой человек, так я не поняла, вам чего?

- Мне? - Пашка вздрогнул. - Мне ничего. - И отойдя от стойки подошел к женщине с ребенком. Протянул ей пятьдесят рублей.

- Возьмите, пожалуйста. И не дожидаясь ответных слов быстро направился к выходу. До отправления автобуса оставалось пять минут.

Неожиданный разговор.

Суздаль остался далеко позади, до Юрьев-Польского было еще идти и идти. Ночь застала меня в какой-то большой деревне. Низкие серые тучи, разом смолкнувший лягушачий хор в местном пруду, больше похожем на огромную грязную лужу-все говорило о том, что будет дождь. Увы, ночлега в деревне найти так и не удалось. Без особой радости я покинул негостеприимное место. Быстро темнело. Деревенские дома не успели еще скрыться из виду, как на самом краю лощины я увидел непонятное строение. Обвалившееся крыльцо, дырявая крыша, - но в маленьком окошке горел свет. Я не очень смело постучал. Внутри что-то грохнуло, и секунду спустя хриплый голос недовольно произнес:

- Кто еще?

- Прохожий. Пустите переночевать.

За дверью молчали. Мне это молчание показалось бесконечным. Наконец дверь открылась. И спустя пять минут я уже сидел в полуразвалившемся доме в компании двух местных пастухов, Димки и Славки, как они сами себя называли. Предложение обратиться к ним по имени-отчеству, обоим польстило, но для них это было слишком непривычно. Остановились на Дмитрие и Вячеславе. В углу "комнаты" мирно дремал большой рыжий пес. За столом, устланным старыми газетами - бутылка первача, порезанное крупными кусками сало и хлеб.

Ребята оказались радушными: " Ночуй, нам-то что? Только вставать придется рано, надо стадо выгонять". Я помаленьку осмотрелся. Открывал мне дверь Вячеслав. Он был уже навеселе, вел себя шумно, все время что-то спрашивал, о чем-то рассказывал. Внешность его была ничем не примечательна, а вот голос - хриплый и неожиданно высокий, почему-то раздражал. Дмитрий больше молчал, а если что-то и произносил, то говорил короткими фразами, словно воздух рубил. По всему чувствовалось, что он здесь главный.

- Будешь? - и он показал на бутылку.

- Нет, спасибо.

- Как знаешь, - и опять замолчал надолго. Но меня слушал внимательно. Когда бутылка была выпита, Дмитрий голосом, не терпящим возражений, произнес: "Славка, беги к хохлушке. Скажи, деньги завтра отдадим". Его напарник обернулся туда - обратно в пять минут, и все продолжилось. Я, сонный и уставший, что-то рассказывал Вячеславу, любопытство которого было неиссякаемым. Когда мой рассказ подошел к концу, он произнес:

- Счастливый ты человек! По всему миру ходишь. А тут, - и он смачно выругался, утром коровы, днем коровы, вечером бутылка...

- А коли не нравится, иди, составь компанию человеку, - неожиданно откликнулся Дмитрий. - Только я ему не советую брать тебя.

- Это еще почему?

- Мордой не вышел. Из-за тебя, вас в первом городе в милицию загребут. Неожиданно для меня Славка совсем не обиделся. Я вообще замечал у многих простых русских людей эту смиренную готовность выслушивать о себе нелестные слова.

- Ну да, конечно. Я же так... помечтать.

- Помечтать, - на исходе второй бутылки и второй пастух стал разговорчивее. Каждый должен свое дело делать. Вот им, - и Дмитрий указал на меня кивком головы, - статьи писать, людей про жизнь расспрашивать, а тебе и мне - коров пасти. Другой вопрос, что и среди их брата пустых людей много. Я заметил, сало они почти не ели, так немного отщипывали хлеб. И пили как-то порознь, не дожидаясь друг друга.

- Ты... вы не обижайтесь, спросить я хочу, - это Дмитрий, лихо опрокинув свой стакан, обратился ко мне.

- Да.

- Стихи вы пишете?

- В юности писал, сейчас нет. Он помолчал.

- Не пойму я всего этого... Стихи там... прочее. Кому они нужны? Ну вот есть Пушкин - это я понимаю, Лермонтов...

- Есенин, Гоголь, - подсказал долго молчавший Вячеслав... Отстань, - отмахнулся от него суровый Дмитрий. - И тем более, вон сколько их. Сейчас они зачем нужны?

- Кто?

- Поэты. По мне, дармоеды все они. Про цветочки сочиняют, про любовь.

- Их бы к нам в колхоз, - хихикнул второй пастух.

- Да отстань ты, трепло! Зачем в колхоз, что в городе дела нет? А небось за цветочки эти деньги большие получают. Прав я или нет? Я молчал.

- Думаешь, что я серый, не пойму? Не бойся, докажи, что я не прав. Было видно, что мужик заводится не на шутку. Мне же меньше всего и именно здесь хотелось говорить о поэзии. Я попытался немного успокоить его:

- Причем здесь серый?

- Вот видишь, - победно улыбнулся он. - Вроде образованный, а объяснить мне, малограмотному, не можешь.

И тут меня взяла такая досада, которой не было даже сегодняшним вечером в деревне, когда мне везде отказали в ночлеге. Совершенно неожиданно для себя я взял со стола бутылку, налил все, что там оставалось, в Славкин стакан - и одним залпом осушил его. Вячеслав одобрительно крикнул и протянул мне большой кусок сала. Я же, словно не замечая его, повторил движение Дмитрия: отщипнул несколько крошек хлеба, затем поднялся и отошел к противоположному окну - теперь я мог видеть только спину Дмитрия и, глядя на его фуфайку, стал читать: Я уеду из этой деревни...

Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.

Я читал, а голос был словно чужой, он звучал как-то со стороны:

Мать придет и уснет без улыбки...
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.

Дмитрий медленно оглянулся и посмотрел на меня. Усмешка сползла с его лица, рука перестала катать катышек по столу.

Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу
Ты с ладони кормила меня.
Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеется во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней...
Не грусти на знобющем причале,
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.
Мы с тобою как разные птицы,
Что ж нам ждать на чужом берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,

Может быть, никогда не смогу...

Но однажды, я вспомню про клюкву,

Про любовь твою в сером краю

И пошлю вам чудесную куклу,

Как последнюю сказку свою.

Чтобы девочка, куклу качая,

Никогда не сидела одна.

- Мама, мамочка! Кукла какая!

И мигает, и плачет она...

Наступила тишина. Мне стало стыдно и своего порыва, и своего чтения. Когда стало казаться, что эта гнетущая тишина никогда не кончится, Дмитрий глухо произнес:

- Про меня... про меня это. Скажите, кто?

- Что, кто? - сразу не понял я.

- Стихи эти написал.

- Рубцов. Николай Рубцов.

Вячеслав сразу же вставил:

- Сразу видно, наш, деревенский.

На этот раз Дмитрий снисходительно отнесся к его реплике и тоже захотел узнать про Рубцова.

- Рубцов этот... живой?

- Нет, погиб лет двадцать назад.

- По пьяному делу?

- Да, говорят.

- Послушай, редко прошу, уважь: прочти мне еще разок этот стих.

- Извини, я спать очень хочу, устал, - я говорил ему правду. Он как-то неожиданно засуетился и заговорил со мной так, будто только что увидел меня:

- Извини, ты же небось весь день шел? Отдыхай. Только, - Дмитрий вдруг застеснялся, - ты же журналист, писать привычный, спиши мне про клюкву, а? Я выполни его просьбу, и это было последнее, что я мог сделать. Через минуту я уже спал богатырским сном. Когда я проснулся, на часах было девять утра. На столе стояла трех литровая банка молока, налитая доверху и краюха домашнего хлеба. На клочке газеты, прикрывавшем банку, было написано: "Витя спи сколь влезет. Молоко выпивай всю. Ключ положи под порожком. А лучше на денек оставайся".

Позавтракав, я отправился в дорогу. Старательно всматривался по сторонам, но стадо и пастухов так и не увидел. А жаль, так хотелось проситься с этими добрыми людьми...

И теперь, спустя годы, стоит мне открыть томик Рубцова, я вспоминаю тот вечер в полуразрушенном домике, затерявшемся в полях между Суздаlem и Юрьевом Польским, вспоминаю пастухов, приютивших меня. И еще я обязательно перечитываю чудесное

стихотворение Николая Рубцова "Добрый Филя" - о пастухе, живущем в глуши. Только последние его строки я, словно разговаривая с Дмитрием и Вячеславом, читаю немного по-другому:

- Мир такой справедливый, Даже нечего крыть...

- Димка! Что молчаливый?

А о чем говорить?

Реквием дождя.

1

Мелкий дождь негромко, но назойливо стучал в маленькое, не зашторенное окно. Моцарт открыл глаза. В такую погоду хорошо сидеть в "Серебряной змее" с кружкой пива или танцевать на маскараде в костюме арлекина. И сразу уходят из сердца заботы, улечучивается эта непонятная тревога. Когда на улице ясный день, когда светит солнце, жить как-то легче. Вроде не играешь роль беззаботного весельчака, любителя бильярда и пунша. А вот декабрьскими вечерами, когда по узким и пустым венским улицам несет ветер, а холодный дождь стучит в каждое окошко, как нищий странник, просящий приюта, тогда плохо, совсем плохо: вновь гложет сердце тревога, и прекращает звучать музыка. Но ведь сегодня, черт дери, только восемнадцатое октября! Откуда взялся этот проклятый дождь? Моцарт тяжело вздохнул, затем, потянувшись к столику возле кровати, открыл чернильницу. Надо работать. Поздняя ночь и раннее утро - лучшее время для сочинения музыки. Милый Зигмунд всегда попрекал меня за это. "Так не годится, Вольфганг! Работаешь до поздней ночи, чуть свет - опять сочиняешь, причем, не вставая с постели. Днем и вечером - сидишь за инструментом. Поверь мне, добром это не кончится. Пиши стоя, занимайся верховой ездой, наконец!" Зигмунд, ты как всегда был прав. Мне не хватает тебя, мой добрый ворчливый Баризани. Ты лечил мне не только тело, но и душу. Кто мне теперь объяснит, почему в последнее время я не могу лежать на левом боку, почему начинаю задыхаться, поднимаясь к себе на второй этаж. Констанца посоветовала пить настойку мяты, но пока она не помогает. Идти к врачу? А к кому я могу пойти после Зигмунда? Он умер четыре года назад, заразившись от больного... Да, чем дольше живешь, тем больше потерь. В том же году не стало и папеньки, любимейшего и наилучшего из отцов. Как бы они порадовались триумфу моей "Волшебной флейты". Я уже стал забывать, что это такое. А тогда, в театре... Господи, неужели это было всего три недели назад? Как быстро мчится время. Через три дня после премьеры пришел Антон Штадлер. Он просто сиял. Сказал, что братья в восторге от оперы и что сам Мастер заказывает мне кантату: ее будет исполнять при освящении нового храма нашей ложи.

При воспоминании о масонской ложе "Коронованная надежда", Моцарт вновь вздохнул. Храм вот-вот откроется, а кантата еще не готова. А может, действительно писать стоя, как советовал Зигмунд? Он уже приподнялся, чтобы встать, но через секунду вновь упал на подушки. Что происходит? Ведь я всегда любил сочинять, музыка звучала во мне даже тогда, когда с друзьями играл в кегли. Кстати, партитуру "Дон-Жуана" я начал писать в Праге, у Душека именно за игрой в кегли. И недурная музыка получилась, между прочим. Это после нее Зигмунд написал мне посвящение в альбом? Нет, нет это было незадолго до его смерти, я тогда исполнял фортепьянный концерт. Как там у него было:

Ежели твое искусство, в коем с тобой Равняются только Бах, Йозеф Гайдн,

Принесет давно заслуженное тобою счастье, Не забывай тогда твоего друга,

Который всегда с блаженством и Гордостью будет вспоминать, что он

Дважды служил тебе как врач И сохранил тебя на радость миру,

Но который гораздо больше гордится тем, Что ты - его друг, также как он

твой друг Зигмунд Баризани.

Ах, какого благороднейшего человека, любимейшего друга я потерял! Кто из моих теперешних друзей может сравниться с ним? Штадлер? Он душа компании обаятельный и милый, да и кларнетист от Бога, но до Зигмунда ему далеко. Михаэль Пухберг? Славный малый, обожает мою музыку, всегда ссужает деньгами, но как вспомнишь, что я должен ему почти полторы тысячи флоринов, так жить не хочется. Шиканедер? Но Эмануэль такой бравый гуляка, что после общения с ним рано или поздно станешь беспробудным пьяницей или бабником. Пожалуй, только Готфрид фон Жакин - умный и сердечный человек, заменил мне Баризани. Но и Готфрид, и его прекрасная сестра Франциска сейчас далеко Мне остается писать им письма. Причем, тайком от Костанцы. Жена начала ревновать меня к Франциске еще в ту пору, когда я давал ей уроки фортепьяно. Помню негодование Костанцы, когда она ненароком прочитала начало письма к Готфриду: "Вашей барышне сестре синьоре Дини мини нири я целую ручки 100000 раз..." Дини мини нири - так, дурачась, Франциска пародировала итальянскую речь. Я объяснил тогда Констанце, что глупо ревновать к этой девочке, хотя сам слышал, как фальшиво звучал мой голос. Или это вовсе и не фальшь была, а сожаление о чем-то невозвратно потерянном? Или о том, что жизнь сложилась не так, как думалось в юности?

Когда в Мюнхене умер старина Фридолин, отец моей Алоизии, а сама она через год вышла замуж за актера и стала зваться госпожой Ланге, мне казалось, что наши дороги с семейством Вебер разошлись навсегда. Кто же мог предположить, что Цецилия Вебер вместе с тремя другими дочерьми решит перебраться в Вену, где будет сдавать комнаты в наем, дабы немного поправить стесненное положение семейства. Узнав, что я снимаю у вдовы комнату, папенька был вне себя от ярости. Впрочем, помнится, что поначалу я пытался успокоить его: "Если я квартирую у них, то женюсь на дочери - какую глупость несут люди! Бог дал мне талант не для того, чтобы я погубил его из-за жены..." Что же случилось потом? Почему из всех сестер я выделил Констанцу? Может, оттого, что по сравнению с ленивой и грубой Жозефой, лживой Алоизией и легкомысленной Зофи она показалась мне ... несчастной? А в письме к отцу я даже назвал ее мученицей. Констанца обо всех в доме заботилась, была кротка и скромна. Но и в период начала моей влюбленности я мог трезво смотреть на будущую жену: не безобразна, но и прекрасной ее меньше всего можно было назвать - вся красота средней дочери Фридолина заключалась в двух маленьких черных глазах и прекрасной фигуре. Пожалуй, этого мало, чем еще Констанца пленила меня? Или все началось в тот день, когда пришел ее опекун, этот мерзкий Торварт? Он, якобы заботясь о репутации девушки, потребовал от Цецилии запретить нам видеться. А затем вроде бы смягчился, только потребовал от меня написать официальное заявление. Как звучит: официальное заявление! Десять лет прошло, а я помню каждое слово: "обязуюсь в трехгодичный срок вступить в брак с Mademoiselle Konstanze Weber; в том же случае, ежели для меня это будет невозможным, и я буду вынужден изменить мои намерения, она должна будет ежегодно получать от меня по триста флоринов". Но когда опекун ушел, Констанца потребовала от матери обязательство и разорвала его на моих глазах: "Дорогой Моцарт! Мне не нужно от вас никаких письменных обязательств, я и так верю вашим словам". С того момента эта девушка стала для меня еще дороже. Впрочем, когда я описал все случившееся отцу, он только рассмеялся, по-прежнему уверенный в том, что меня поймали в умело расставленные силки. И не приди к нам на помощь баронесса фон Вальдштедтен, папенька не дал бы своего благословения на брак... Моцарт посмотрел на часы: без четверти девять. Несмотря на непогоду, улица за окном ожила. Лучшее время для работы потеряно,

придется ждать ночи. Можно немного посидеть за инструментом, а затем сделать перерыв: постучать в стену соседу - советнику по учету придворной бухгалтерии, ревностному любителю музыки Иоганну Лойблю. Это был их условный знак: Моцарт стучал в стену, и сосед меломан посылал ему бутылочку вина из своего подвала.

- Дорогой Вольфганг! - раздался в коридоре голос жены. - Ты уже на ногах?

- Еще нет, но сейчас буду.

- Завтракай без меня. - Констанца появилась на пороге в верхней одежде.

- Ты куда-то уходишь? - Моцарт с удивлением посмотрел на жену. - В такую погоду?

- Дорогой, мне и самой не хочется, но я обещала зайти к одной приятельнице: она приболела и немножко хандрит.

- Я тоже приболел и немножко хандрю, дорогая.

- Вольфганг! Держи себя в руках. Тем более я скоро вернусь. Моцарт остался один. Eh bien! Прекрасно! Вот и решено - стучу соседу. Хорошее мозельское, надеюсь, отвлечет от мрачных мыслей и поможет скоротать время до вечера. Буду пить вино, играть на скрипке и размышлять о том, почему так странно устроена жизнь: невесты нас всегда понимают, разделяют наши вкусы и взгляды, а у жен на уме только деньги и наряды. Или я несправедлив к своей Констанце? Ведь в сущности, она добрая и любящая жена... И Вольфганг Амадей Моцарт что есть силы постучал в стену соседу бухгалтеру.

2

До этого дома ходьбы пятнадцать минут. Констанца почти автоматически сворачивала из одного узкого переулочка в другой, пока не оказалась перед обитыми железом массивными дверями, которые после стука тотчас же открылись: ее ждали. Сердце молодой женщины учащенно забилося. Ступенька, вторая, пятая... еще одна дверь. Пахнуло сыростью.

Он вновь сидел в кресле, в той же позе: голова немного наклонена вниз, указательные пальцы обеих рук прижаты друг к другу, остальные же сцеплены между собой. Любезная улыбка и внимательные холодные глаза, будто пронзающие тебя насквозь.

- Здравствуйте. Я не опоздала?

- Здравствуйте, милая Констанца. Извините, что не встаю, - человек глазами показал на свою правую ногу, - как непогода, так моя нога дает знать о себе. Впрочем, он не встал и в прошлый раз. Кто бы мог подумать, что раньше, когда Констанца случайно встречала на венских улицах этого человека или проходила мимо его часовой мастерской, ей виделся маленький суетливый человек с угодливой улыбкой.

- Вы необыкновенно точны, - человек достал из кармана сюртука часы, - без двух минут девять. И сегодня восемнадцатое октября. Как мы и договаривались... Это было спустя два дня после премьеры "Флейты", второго октября. Вольфганг, как обычно, работал, лежа в постели. Его дружок Штадлер появился в их доме ни свет ни заря. Она терпеть не могла этого человека. Пользуясь радушием и гостеприимством ее чересчур доброго мужа, к ним всегда приходили поесть-попить самые ничтожные люди. Паразиты, одним словом. Но даже среди них Штадлер выделялся. Подлец! Как-то он узнал, что Моцарт получил от императора пятьдесят дукатов. Тотчас разыграл из себя человека, который пропадет, если Вольфганг не одолжит ему этой

суммы. Что же делает Моцарт, сам, будучи должный чуть ли не половине Вены? Он отдает Штадлеру двое массивных золотых часов с тем, чтобы тот снес их в залог, и попросил принести ему квитанцию и своевременно выкупить часы. Негодяй Штадлер и не подумал этого сделать. Тогда Вольфганг, чтобы не потерять часы, дал ему пятьдесят дукатов и еще сверх того деньги на уплату процентов. Друг - кларнетист преспокойно получил деньга, а часы оставил в ломбарде. Однако это ничему не научило ее наивного мужа.

- Не слишком ли вы на этот раз рано, сударь? - Констанца не собиралась скрывать свое раздражение.

- Для кого рано, а для кого нет, госпожа Моцарт. - У Штадлера как всегда было отличное настроение. - Но вообще-то я пришел именно к вам.

- Ко мне? - удивлению Констанцы не было предела. Довольный произведенным эффектом, Антон протянул ей записку.

- Это от вашего опекуна. Прошу вас, читайте здесь. В записке Торварт просил ее немедленно встретиться с ним.

- А почему господин ревизор придворной дирекции сам не пришел сюда? - удивление Констанцы росло как снежный ком, грозя превратиться в лавину. - И что общего у вас, Штадлер и моего опекуна?

- Господин Торварт не хотел в силу ряда причин встречаться с Вольфгангом. К тому же, он уже бывший ваш опекун. А что между нами общего - узнаете в свое время. Иоганн Торварт всегда был для Констанцы авторитетом. Моцарт, к сожалению, его терпеть не мог и даже не скрывал этого, к месту и ни к месту вспоминая, что Иоганн служил в свое время лакеем. А для Констанцы это было доказательством незаурядности бывшего опекуна: проделать путь от лакея до влиятельного придворного - что-то да значит... И она пошла за Штадлером. Торварт встретил ее у того самого дома с железными дверями.

- Эта встреча, - сказал Констанце бывший опекун после приветствия, - может оказаться самой главной в твоей жизни.

- Вы не могли бы объяснить мне...

- Не могу. Тебя уже ждут.

Все это напоминало спектакль. Ей захотелось рассмеяться и сказать: "Иоганн, бросьте шутить, к чему весь этот розыгрыш?" Но ее спутники были серьезны, а увидев, с каким почтением они поклонились человеку, сидевшему в кресле, Констанца поняла, что имеет дело с важной особой. Воцарилось молчание. Немигающий взгляд незнакомца словно пригвоздил молодую женщину к спинке стула. Сначала ей сделалось страшно, но затем страх уступил место другому чувству: она вдруг ощутила себя маленькой и беззащитной, как в детстве, вокруг - жестокий и коварный мир, а в этой комнате было безопасно, от человека, сидящего напротив исходила какая-то теплая сила. А он неожиданно улыбнулся.

- Я очень рад видеть вас, госпожа Моцарт. - Голос у него был завораживающий. Вы уже не волнуетесь? Вот и хорошо. Здесь, - незнакомец глазами показал на Торварта и Штадлера, стоящих в некотором отдалении, - ваши друзья. Затем обратился к мужчинам:

- Берите стулья, братья, и подсаживайтесь поближе. Нам всем предстоит очень непростой разговор. Впрочем, я не сомневаюсь, что госпожа Моцарт примет сегодня единственно

правильное решение и уйдет отсюда не просто нашим другом, но и единомышленником.

Констанца начала догадываться с кем она разговаривает. Несколько раз муж говорил ей о ...

- Все правильно, Моцарт действительно говорил обо мне. Женщина даже вздрогнула от неожиданности.

- Простите, я не знал, как представить вас, господин Мастер, - подал голос Торварт.

- Считайте, что сейчас вы это сделали. - Человек приподнялся и слегка поклонился Констанце. Она быстро встала. - Сидите, сидите, дорогая госпожа Моцарт. Что значит имя? Звук. Назовите меня Якобсоном или Краузе - какая разница? Форма вторична, главное содержание. Вы понимаете меня? Констанца ничего не поняла, но послушно кивнула.

- Не страшно, потом поймете. Ведь в вас течет наша кровь.

- Ваша... кровь?

- Наша. Кровь избранных. Вы думаете, почему Торварт так помогал вам заполучить Моцарта? Кстати, это был недурной спектакль, не так ли, брат Иоганн? - Человек обернулся в сторону Торварта. Тот ответил сдержанной, но вместе с тем довольной улыбкой:

- Так ведь актриса, Мастер, была хороша. Видели бы вы ее в гневе, когда она рвала официальную расписку этого простака.

- Считайте, что видел, брат Иоганн. Правда, согласитесь, в один момент по вине вашей подопечной все чуть не сорвалось.

- Это, когда она в присутствии сестер рассказала жениху, как, проиграв фант, позволила на какой-то вечеринке некому кавалеру измерить свою икру? Констанца покраснела, вспомнив ту ситуацию. Неужели они и это знают? Да, Моцарт тогда чуть было не порвал с ней, слава Богу, все закончилось его длинным морализаторским письмом. Но оказалось, что Констанца сама не все знала.

- Молодость, молодость, - улыбнулся Мастер. Нам тогда пришлось подключить тяжелую артиллерию - госпожу баронессу фон Вальдштедтен. Женщина была поражена:

- Как, и она тоже?

- И она. Нас не много, ведь избранных не может быть много, иначе какие же они избранные? Но мы - везде. И вы в этом еще не единожды убедитесь. - На мгновение Мастер замолчал. - Мы думали, что среди них окажется и ваш муж. Ему была оказана величайшая честь, но он обманул наши ожидания. Жестоко обманул. - В глазах мастера вспыхнул какой-то странный огонь, но тут же потух.

- Обманул? Вольфганг? - Констанца не верила своим ушам.

- Впрочем, и ваши тоже, госпожа Моцарт, не так ли? Разве о такой жизни вы мечтали, выходя за него замуж? Посмотрите, что с ним стало? Моцарт перестал писать музыку, достойную его таланта. От него отвернулась настоящая публика. Вот уже пять лет он не дает концертов. Зато гордости, сколько гордости! "Я служу не людям, а Богу" - ведь это его слова, брат Антон?

- Его, Мастер. Я тогда ему сказал, - живо вступил в разговор Штадлер, - что так недолго и

оказаться забытым, а он говорит: "Ну и пусть. Я устал быть куклой вундеркиндом, я устал, в подражание итальянцам, писать легкую музыку". Вставил свое слово и Торварт:

- Мне рассказали, что издатель Гоффмейстер увещевал Моцарта писать музыку популярнее, иначе он не сможет его печатать и соответственно платить ему. И знаете, Констанца, что ваш муж ответил? "Ну, значит, я больше ничего не заработаю, буду голодать и плевать мне на это".

- Ему плевать, - взорвалась Констанца, - в доме шаром покати, мы все в долгах. Мне порой кажется, что он не на земле живет, - встретив сочувствие, она захотела выговориться. - Приходит как-то с клеткой, в ней скворец. Я говорит, купил его. Зачем, спрашиваю, нам скворец? Как ты не понимаешь, птицы - это ведь так чудесно. Я тут иду по улице и насвистываю мелодию из рондо, помнишь, из Концерта соль мажор, а скворец - пострелец услышал и повторил ее, конечно, немного изменив, но так комично. И я купил его. Если бы вы видели, как Моцарт носился с этим скворцом, а когда тот сдох - похоронил его в саду, устроил для него памятник с подписью - стихи сам сочинил.

- Точно, было такое, - поддержал Констанцу Штадлер, - а после еще сетовал: как жаль, что жена не понимает меня, Готфрид и Франциска поняли, а она нет. При упоминании этих имен кровь прилила в голову Констанце:

- Вот ее он взял в ученицы. А еще некую госпожу Траттпер. Я, говорит, могу преподавать только тогда, когда у меня возникает личное взаимопонимание с учеником, а преподавать фортепьяно ради денег - не могу... Человек в кресле неожиданно поднял руку. Констанца умолкла.

- Как я вас понимаю, госпожа Моцарт. Что же говорить обо мне, обо всех братьях, которых он предал?

- Предал? Вольфганг?

- Вы можете представить себе человека, - Мастер будто не слышал ее, - которому дали в руки бриллиант невиданной красоты, а он берет, и кидает алмаз в грязь. Его голос звучал уже не завораживающе, а гремел, в глазах вновь вспыхнул таинственный огонь и больше не гас. - Великий Соломон завещал нам построить Храм человеческой души, и мы усердно возводим его. Мудрость, Любовь и Служение - вот наши Великие Мастера Каменщики. Сотни религий принесли свои дары в наш алтарь. Древние Мистерии не исчезли, даже когда исчезла в океанских водах Атлантида и когда храмы Фив разрушило время. Христианство стало господствующей религией, но великий Бог Пан не умер. И то, что мы существуем - подтверждение этому. Именно наше братство - университет вселенского масштаба, в котором учат свободным наукам и искусствам души тех, кто раскроет им свои сердца. Наши ритуалы полны слов, рожденных боговдохновенными мудрецами и мыслителями. Каждый символ в нашем учении - несет огромный смысл, но он понятен избранным. Тем, кто хочет придти в Храм Света. Религия? Она бесцельно блуждает в лабиринтах теологических спекуляций. Наука? Ей остается бессильно биться о барьеры неизвестного. Только просвещенный разум может дать понимание человеку на пути к свету. Только философия может научить человека правильно родиться, хорошо прожить, достойно умереть и возродиться вновь.

Мастер умолк. Огонь в его глазах погас. В комнате наступила гробовая тишина. К Констанце подошел Торварт, встал сзади нее и обнял молодую женщину за плечи.

- Ты понимаешь, какое доверие тебе оказано? Я просто не могу...

- Мастер перебил его:

- Не так, брат Иоганн. Не доверие - Любовь. Наше общее любящее сердце чуть-чуть, совсем ни намного приоткрыло госпоже Моцарт дверь, за которой - вековая Мудрость. Если ее сердце ответит Служением за эту Любовь, значит она действительно избранная.

- Она наша, - неожиданно хриплым голосом произнес Штадлер.

- Наша, - вторил ему Торварт.

- Ваша, - беззвучно, одними губами откликнулась Констанца. - Что я должна сделать.

- Помочь мужу достойно умереть, чтобы он мог возродиться вновь, для более достойной жизни.

- Мастер словно чеканил слова.

- Почему? - но особого протеста внутри нее не возникло. Сейчас она была с ними словно одно целое и просто хотела узнать то, что знали эти люди.

- Он предал нас. Всех, кто взял его за руку и повел к свету. - Мастер повернулся к Штадлеру:

- Брат Антон, вам слово. Тот почтительно поклонился, а затем обратился к Констанце:

- Наш скворец, Госпожа Моцарт, оказался не таким уж простодушным добрым малым, которому свыше был дарован необыкновенный талант. Еще до премьеры "Волшебной флейты" он по секрету рассказал мне, что сомневается в ценностях нашей организации, что считает ее антихристианской... Но одно дело сомневаться, другое

- взять и предать, раскрыть тайны всех наших обрядов. Да, да, не удивляйтесь, госпожа Моцарт. Вы думаете "Волшебная флейта" - невинная сказка? Зарастро, принц Тамино, Царица ночи, ее дочь Памина - кто они по вашему? Сказочные персонажи? Нет, это вызов, брошенный каждому из нас. У вас, словно говорит Моцарт, свои символы, а у меня свои. И вот он не просто выносит на всеобщее обозрение ритуалы братьев, но и рассказывает о том, что мы якобы боремся с христианством...

- Пусть эта выдумка останется на его совести, - перебил Штадлера Мастер. - Но мы не прощаем предательства. Тем более, Моцарт умудрился еще усугубить свою вину: "Волшебную флейту" увидела чернь - ее поставили в народном театре "Auf der Wieden".

- Но вряд ли кто-нибудь понял, что это не просто опера, - робко подала голос Констанца. - Я видела, эти люди рукоплескали музыке.

- В том-то все и дело, - с горечью сказал Мастер, - если бы оперу написал какойнибудь Шмидт - это одна ситуация, но ведь ее написал Моцарт! И если наши венские тупицы ничего не поняли, это еще не означает, что через сто лет, другие люди, в другой стране тоже окажутся такими же болванами.

- Что я должна делать? - вдруг спросила Мастера Констанца. Мужчины переглянулись.

- Все, что мы сочтем нужным. Вы согласны?

- Да.

-Что ж, тогда перейдем к делу. Мы напишем свою оперу. Жаль, аплодировать нам не будут, но поверьте мне, от этого менее великой она не станет. Начнем с первого действия. Завтра вы, брат Антон придете к Моцарту и расскажете ему в каком восторге братья от его произведения,

а затем скажете своему другу, что для освещения нового храма нашей ложи мы заказываем ему кантату.

- Слушаюсь, Мастер.

- Брат Иоганн, вы внимательно слушали оперу? Сколько раз в "Волшебной флейте" появляется слово "жертва"?

- Я... я не обратил внимания.

- Тоже наслаждались музыкой? Три раза, Торварт. А с каким чином связан сюжет в опере?

- Кажется, с восемнадцатым.

- Правильно. Если я не ошибаюсь, этот же чин в нашей иерархии и у самого Моцарта. - Мастер стал походить на хищную птицу. - Брат Антон, что в нашей символике означает число 18?

- Жертву? - не очень уверенно ответил Штадлер. Мастер утвердительно кивнул.

- Итак, и в нашей опере будут и жертва, и восемнадцатый чин. Восемнадцать, восемнадцать... Мне надо еще лучше обдумать, как в партитуре использовать это число. - Было видно, что мысли Мастера уже далеко отсюда. Он умолк. Никто не осмеливался нарушить эту тишину. Констанце показалось, что длилась она бесконечно долго.

- Продолжение первого действия, - также неожиданно мастер заговорил вновь. - В течение двух недель вы, госпожа Моцарт, будете добавлять мужу в питье микроскопические дозы мышьяка. Повторяю, микроскопические. Он должен почувствовать недомогание. Нам этого пока достаточно. Все. Восемнадцатого октября, - на суровом лице Мастера мелькнуло подобие улыбки, - восемнадцатого октября, госпожа Моцарт, я жду вас на этом самом месте.

3

... Словно из темноты появились Торварт и Штадлер. Видимо где-то здесь потайная комната, решила Констанца.

- Не надо думать ни о чем постороннем, отвечайте только на мои вопросы, произнес Мастер. - Госпожа Моцарт, вы почти все делали правильно. Почти. Что случилось три дня назад?

- А откуда...

- Неважно. Привыкайте. Вам же было приказано: давать каждый день. Что за минутная жалость нахлынула на вас?

Констанца опустила голову и произнесла чуть слышно:

- Сама не знаю, что произошло. И Вольфганга стало жалко, и себя. Подумала: как буду жить одна, да и слух пройдет...

- Это все не ваши проблемы, и о вас мы позаботимся. Больше никакого ослушания. Вы меня поняли?

- Да.

- Вот и хорошо. Брат Антон, как продвигается наш заказ?

- Если честно, пока никак, Мастер. Вольфганг что-то захандрил. Все твердит о каком-то тупике, из которого ему надо найти выход.

- Интересно, интересно. Что ж, настала пора переходить ко второму акту. Теперь мы немножечко добавим мистики. Надо предупредить Моцарта о том, что его выбрали в качестве жертвы, но он, как та чернь в театре, об этом не должен догадаться.

- Разве такое возможно, Мастер? - не удержался доселе молчавший Торварт.

- Если ваш бог - разум, возможно все. Мы закажем ему еще одно произведение. Реквием. И он напишет его, клянусь Гермесом, напишет! Но сначала, брат Антон, очень убедительно попросите вашего друга постараться не огорчить братьев, с нетерпением ожидающих открытия нового храма.

- А когда будет открытие?

- Ровно через месяц, восемнадцатого ноября. Даже у невозмутимого Торварта холодок пробежал по спине. Мастер продолжал:

- Дальше. Вы, брат Иоганн, попросите Пухберга познакомить вас с графом Вальзеггом. Если я не ошибаюсь, оптовая торговля брата Михаэля размещается в доме, принадлежащем графу.

- Я должен буду посвятить брата Михаэля в суть дела?

- Ни в коем случае. Он слишком привязан к Моцарту, к тому же обожает его музыку.

- Тогда зачем...

- Так надо, брат Иоганн, так надо. Действующих лиц в нашем спектакле должно быть столько же, сколько и в "Волшебной флейте". Графу дайте самые подробные инструкции. И вот еще что: он должен придти в дом Моцартов ближе к вечеру, во всем черном и обязательно инкогнито.

- Я все понял.

- Думаю, братья, от хандры нашего друга не останется и следа. - После небольшой паузы Мастер тихо произнес, глядя прямо в глаза Констанце:

- Вы, госпожа Моцарт, затронули действительно важный вопрос. Ни на кого из избранных не должно упасть и тени подозрения в смерти Вольфганга Амадея Моцарта.

- А разве это возможно? Если Моцарт внезапно..., - Констанца боялась произнести это страшное слово.

- Смелее, - подбодрил ее Мастер.

- ...внезапно умрет. Как обойтись без пересудов? Вы говорили, что его оперу будут слушать через много лет, а если через много лет захотят узнать и правду о его гибели?

- Вы просто умница, госпожа Моцарт, - и неожиданно для всех Мастер захлопал в ладоши. - Bravo! Так и надо мыслить: не одним сегодняшним днем. Уметь предвидеть будущее - это удел избранных. Но наша задача еще величественнее: мы его сами смоделируем. Как демиурги: с холодной и ясной головой и пониманием того, что мы делаем благое дело. Хорошо, оставим на время нашу оперу и представим себе тот момент, когда занавес опустится. Вы, Штадлер,

продолжите заниматься тем, чем умеете - музыкой, искренне скорбя об ушедшем друге. Повторяю, искренне скорбя ведь мы даем ему шанс достойно умереть. С вас Торварт вообще никакого спроса нет. Думаю, года через два мы добьемся для вас дворянского титула, и вы будете самым счастливым человеком. Теперь вы, госпожа Моцарт. Вы заведете дневник, из которого люди узнают о вашей скорби. Но, кстати, памятник мужу ставить не надо.

- А если захочет кто-то из друзей?

- Вот увидите, никто не захочет. Или не смогут этого сделать. Долгое время вы не будете посещать кладбище, а когда там наконец появитесь, то не сможете найти могилы. Вы вторично выйдете замуж, скажем, за дипломата. Иностранного. Это вас устраивает? Жизнь ваша будет протекать тихо и счастливо, поверьте мне.

- А что же с могилой? - спросил Мастера Штадлер.

- Лет через двадцать возникнет слух, что Моцарта похоронили в общей могиле. Тогда же, безусловно, начнут перелистывать страницы истории и искать виновника смерти нашего общего друга. И очень быстро найдут его, точнее, мы поможем найти.

- Кто же это? - Чуть ли не хором воскликнули присутствующие.

- А вы попробуйте догадаться. Кто приехал сюда тридцать лет назад и диктует Вене моду на итальянскую музыку? Кто занимает ту должность, которую вправе занимать наш замечательный Моцарт? Кто, как говорят, безумно завидует ему.

- Сальери! Капельмейстер и придворный композитор его величества! Точно. И ведь поверят!

- Поверят, брат Иоганн, особенно, если талантливые авторы напишут об этом книги. Ведь сюжет - лучше не придумаешь: процветающая серость, страдающий талант, которому серость мстит за свои мучения от осознания собственной ничтожности...

- Для меня это слишком сложно, - сказала Констанца. Она вдруг почувствовала себя безумно усталой. - Можно я пойду?

- Я понимаю вас. - Впервые за все время их знакомства Мастер встал. - Братья, обратился он к мужчинам, - оставьте нас. Перед тем как мы простимся с госпожой Моцарт, я должен дать ей последнее наставление.

4

- Странная в этом году осень, брат Вольфганг, чем ближе к зиме, тем погода лучше. Посмотри, благодать какая. Даже домой идти не хочется. Послушай, давай рванем куда-нибудь? Что же ты молчишь?

- Что? Прости, милейший Штадлер. Осень действительно на славу. Кто бы мог подумать? Иди, мне надо побыть одному.

Над ночной веной густо высыпали звезды. Две мужские фигуры почти слились с силуэтом дома, в котором горело всего одно окно.

- Жаль. Не хочется чтобы такой день заканчивался. Слушай, брат Вольфганг, честное слово, я не понимаю тебя. Спокоен, как... как не знаю кто. Такой успех! Ты видел, многие братья плакали. Запомни этот день - 18 ноября. Сейчас половина двенадцатого ночи. Ну не могу я

просто так взять и уйти. Слышишь, сзади старина Лойбль плетется. Идея! Мы сейчас к нему завалимся в подвальчик и... Да ты слушаешь меня?

- Что? - Моцарт виновато засмеялся. - Я просто сочиняю сейчас, дорогой Штадлер. Ночь - это мое время. Надо же, - он поднял голову, - у Констанцы свет горит в окне. Пока, Штадлер. - И он постучал во входную дверь, всем видом показывая, что разговор закончен.

Констанца действительно не спала. В прихожей она встретила мужа со свечой в руках.

- А я вот ждала тебя.

- Переживала?

- Конечно. Как все прошло?

- Ты у меня самая лучшая женушка в мире. - Вольфганг поцеловал Констанцу. - Как все прошло? Говорят наилучшим образом. Кто-то даже плакал.

- Но ты как-то излишне спокоен...

- Слушай, дорогая, вы со Штадлером словно сговорились. Я же не мальчишка, тридцать лет на сцене. Да если честно, моя первая вещь, написанная для масонов, была куда сильнее. Наверное, тогда по отношению к ним я еще питал какие-то иллюзии.

- А теперь?

- Дорогая Констанца, спасибо, что дождалась меня, теперь иди спать. А я...

- Ты еще хочешь поработать?

- Обязательно. Я там сидел и жалел, что нет со мной пера и бумаги. Доброй ночи.

- Моцарт!

- Да?

- Я хотела сказать... Нет, в другой раз. Доброй ночи. - Женщина вдруг подошла к мужу и прислонилась головой к его груди.

Моцарт был явно растроган.

- Ты словно прощаешься со мной, дорогая моя женушка. Ты что плачешь?

- Нет, ничего. А я ведь вспомнила.

- Вспомнила?

- Ту траурную музыку, которую ты для масонов написал в восемьдесят пятом. Там еще слова пророка Иеремии были...

- "Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью... Воды поднялись до головы моей: я сказал: "погиб я".

- ...я тогда обрыдалась.

- Да ну? А я думал тебе соринка в глаз попала.

- Издеваешься? Все, иду спать.

Уже с неделю Моцарт не писал лежа: на левом боку сразу начинались перебои в сердце, а на правом писать у него не получалось. Он наловчился это делать так: сооружал на кровати что-то вроде сиденья, упираясь на две высокие подушки, на деревянной доске раскладывал бумаги, ставил чернильницу. Рядом лежала скрипка. Все-таки писать стоя, как это делают Лойбль и его коллеги, он не будет никогда. Стоя нужно либо играть, либо дирижировать.

... Часа через два он незаметно уснул, вернее, забылся в полудреме - полусне. Перо так и осталось в руке... Огромный зал, шум голосов, настраивается оркестр: ля, ми, ре, соль... А вот и он, Моцарт, красиво одетый, в блестящем камзоле выходит и кланяется публике, которая встречает его шквалом аплодисментов. Становится полубоком и к оркестру и к залу. Заиграла музыка. Ну, конечно же "Eine Kleine Nachtmusik" - "Маленькая ночная серенада". Боже, как легко скользит смычок, неужели эта дивная музыка написана им? В какой-то момент ему почудилось, что он скворец, сидящий на ветке. Звуки сами льются из трепещущего горла, славя прекрасный божий мир. А в зале, сколько в зале знакомых лиц! Кто там справа, в первом ряду? Неужели папенька? Анна Мария, дражайшая моя мамочка, и ты здесь?! Тебя же столько лет нет на свете... Впрочем, разве это важно сейчас? А вот и Мария Анна, любимая сестренка. И Кузиночка, Анна Текла. Она смотрит на меня такими же влюбленными глазами, как тогда, в Париже. А это кто? Иероним Коллоредо, зальцбургский князь-архиепископ? Негодяй! С какими словами он выгонял меня со службы: "Я не хочу иметь никакого дела с таким жалким подлецом". Титулованный хам в мантии, святоша, поднимающий глаза к небу, а с людьми обращающийся хуже, чем со своими собаками. Сколько не живу, кровь закипает в моих жилах при воспоминании об этом человеке. Но странно, сегодня меня это совсем не трогает... Штадлер, Пухберг, брат и сестра Жакины... Зигмунд! Я рад тебя видеть, дружище.

Что это? Закончилась третья часть серенады, сейчас начнется Rondo-Allegro, но я... я забыл ее?! Господи, как же так? Что играть дальше? В зале смех. Почему? Где мой камзол? Я голый! Чем же прикрыться? Парик, скрипка - больше у меня ничего нет. Они показывают на меня пальцем. И уходят, уходят, уходят. Коллоредо, Штадлер... Антон? Почему? И папа? Он встает. Любимый, наилучший из отцов, останься! Сел на место. И Зигмунд и сестра, и Кузиночка - они продолжают сидеть. Отчего они плачут? Но где же моя одежда? Мне холодно... Господи, помоги мне! Господи, погиб я! Не верю, что Ты не слышишь меня. Не оставь меня, Господи... Откуда это светящееся облако. Оно обволакивает сцену, меня, зал, скрывая дорогие лица. Я могу видеть их, словно через пелену тумана. Но стало тепло. И музыка... Музыка. Откуда она? Боже, какая чудесная музыка, разве возможно написать ее человеку? А сквозь розовый свет я вижу, как начинает наполняться зал незнакомые лица, их много, как их много. Но откуда это музыка? ... Моцарт открыл глаза. Со словами: "Я понял все", он вскочил с постели. Несколько раз в течение дня Констанца пыталась прервать его работу, но ни к обеду, ни к ужину, Вольфганг не вышел.

- После, после, милая женушка. Похоже, я успею дописать реквием. Я все, все понял.

- Что ты понял Вольфганг? Лицо его горело, Моцарт на секунду оторвался от бумаги:

- Это был сон. Или не сон. Но... мне трудно его передать. Главное, я все понял: не было тупика, Констанца! Я пошел своей дорогой, точнее, даже тропинкой. И в какой-то момент мне показалось, что я заблудился. Они звали меня...

- Кто - они? Ничего не понимаю, Вольфганг.

- Они звали: вернись, а то мы забудем тебя! Но я не вернулся.

- Это аллегория, дорогой?

- Нет, это жизнь. И еще я понял, что за талант надо платить. Сначала я пел, как скворец, и людям это нравилось. Но однажды мне услышалась другая музыка, понимаешь, другая! Значит, я заслужил ее. - Неожиданно Моцарт замолчал и грустно улыбнулся:

- Вот видишь, ты ничего не поняла. Пожалуйста, иди. У нас еще будет время поговорить.

Констанца поняла, что с ее мужем происходит что-то необычное. По всему полу валялись исписанные нотные листы. Она вышла из комнаты и вздрогнула от неожиданности: в коридоре стоял Лойбль.

- Ох, как же вы меня напугали, - Констанца схватилась за сердце. - Я и не слышала, как вы вошли.

- Люблю входить тихо, госпожа Моцарт. Сегодня ваш супруг не стучал мне в стену, вот я и заволновался, не случилось ли чего. И решил сам принести. - С этими словами Лойбль протянул Констанце бутылку вина. Странно, его лицо улыбалось, а глаза нет. Она посмотрела в них - и все поняла. Лойбль кивнул ей.

- Сегодня. Сейчас. Восемнадцать обычных доз в один стакан. - И добавил тоном, не терпящим возражения: - Идите!

Руки плохо слушались ее. Все приготовив, Констанца понесла вино в кабинет мужа. Неожиданно для себя она стала напевать, тихо- тихо. Голова кружилась. Как ей хотелось бросить это вино об пол и убежать - далеко- далеко, куда глаза глядят. Но сейчас они глядели в темно-красную жидкость, дрожащую на подносе.

- Дорогой, если уж ты не ел, то хотя бы...

- Что? - Моцарт поднял голову. Из его глаз текли слезы. Констанца поняла: Вольфганг просто не видит ее, находясь в мыслях далеко за пределами этой комнаты.

- Ничего, работай. Я завтра зайду. У самых дверей стояли Лойбль и Штадлер. Кларнетиста она никогда не видела таким: исчезла развязная улыбочка, он нервно теребил локон парика.

- Неужели Мастер ошибся в вас, дорогая госпожа Моцарт. Помните, вы - наша. - В голосе Штадлера слышалась явная угроза. - Идите обратно. Это надо сделать сегодня.

- Я не могу, не могу, не могу, - женщина заплакала. - Это выше моих сил. Вы же тогда о любви говорили. Пожалейте нас, пожалуйста.

- Все ясно. Лойбль, передайте мне поднос. Взяв поднос, Штадлер распахнул дверь...

- А вот и я, мой друг! Констанца медленно осела на пол. Лойбль презрительно фыркнул:

- Я всегда говорил, на женщину нельзя положиться.

5

Скончался Моцарт в ночь с четвертого на пятое декабря, через восемнадцать дней после освящения масонского храма. Реквием он так и не успел закончить. Лечащие врачи Клоссет и

фон Саллаба констатировали диагноз: ревматическая воспалительная лихорадка. Отпевание проходило в соборе святого Штефана, том самом соборе, где когда-то Моцарт венчался с Констанцей...

За гробом самого великого сына Австрии шло всего шесть человек: его ученик Зюссмайер, который позже закончит реквием, виолончелист Орслер, капельмейстер Розер, швейцар из "Серебряной змеи" Дайнер, венский меценат барон фон Свитен и... Антонио Сальери. Холодный дождь монотонно стучал о крышку гроба. Дайнер, слегка оробевший от присутствия столь важного господина, как Свитен, несмело произнес:

- Говорят, когда хороший человек умирает, идет дождь... Ему никто не ответил, но швейцар сделал еще одну попытку, обратясь уже к одному Сальери:

- Господин Моцарт был такой сердечный человек. Помню, зайдет к нам... Сорокалетний итальянец поднял на Дайнера невидящие глаза. Лицо его было мокро. Наверное, от дождя, который с новой силой заиграл свой реквием по венским мостовым и по крышке гроба - последнего пристанища Вольфганга Амадея Моцарта.

Живите с Богом

*Над всею Русью тишина,
Но - не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она.*

Н. А. Некрасов.

1

Много храмов на Руси. Каждый по-своему красив. Но нет прекраснее маленькой белоснежной церкви, что многие сотни лет стоит на святой и древней Владимирской земле. Храм Покрова на Нерли...

... В тот год я шел к нему через непролазные топи северной Мещеры, маленькие деревеньки, спрятавшиеся в лесах под Судогдой. До этого мне довелось видеть знаменитую церковь, построенную князем Андреем Боголюбским только на репродукциях и календарях. И стремление наконец-то воочию увидеть это чудо было так сильно, что я не обращал внимание на проливные дожди, сопровождавшие меня всю дорогу. Самый сильный дождь пришелся на предпоследний день пути, когда леса должны были вот-вот расступиться и уступить место лугам былинной Клязьмы. Вода лилась сплошным потоком, так, что дышать было трудно. Лесная дорожка, круто сбегаящая вниз, превратилась в сплошной поток. Я поскользнулся, и он, словно я сидел на санках и съезжал с ледяной горки, стремительно понес меня вниз. На мое счастье, в деревеньке Ширманихе, куда я благополучно "въехал", меня приютили на ночь добрые люди. Ложась спать в роскошную постель, уставший, но уже сухой, накормленный, трогаю губами медный образок с изображением святителя Николая:

- Спасибо тебе, угодник Божий, что не оставляешь меня в пути. Сделай, пожалуйста, так, чтобы завтра эти проклятые дожди кончились... Дай мне Господи Иисусе сил дойти до конца... Благослови людей, приютивших меня... Со стороны молитва моя может показаться наивной. Но многолетние странствия научили меня простой истине: чем искренней твоя молитва, тем более она кажется детской и наивной, но тем вернее она будет услышана наверху. А утро выдалось ослепительно ярким. Ничто не напоминало о вчерашнем ненастье. Солнышко играло

переливами на мокрых листьях, окнах дома и даже на перьях петуха, не просохших после ливня. Прощаюсь с Ширманихой и уже через два часа стою на полевой дороге, Сзади меня сплошной синей дымкой виднеются леса. Так величествен их вид, так пугающе огромны они, растянувшиеся во всю ширь горизонта, что я на миг усомнился: правда ли мне удалось пройти сквозь эти леса? Впереди меня - болотистая низина Клязьмы. Чем дальше иду, тем тропка уже. Скоро не понимаю - дорога ли это, или коровьи тропы. Правда, в деревне меня предупредили, что разумнее всего к храму попасть через Владимир: " пешком мы давно не ходим, а моста через Клязьму там нет". Но я почему-то был уверен, что пройду. да и выбора у меня нет: идти через Владимир- это лишний крюк в двадцать верст.

Наконец, и Клязьма. Глубокая, быстрая. Пусть и не очень широкая, но с рюкзаком и в одежде мне ее не переплыть. А за рекой - огромный луг, где-то в самой середине этого луга островок деревьев, и над ними - знакомый купол. Километра не будет, но как его преодолеть?

Я так всматривался вдаль, что не заметил невдалеке стоявшее строение- то ли дом, то ли сарай. Вновь проснулась надежда. Почти бегом направляюсь к домику. Внутри слышны голоса. Вхожу. На земляном полу туша коровы. Несколько мужчин столпились вокруг ее. Кто-то орудовал топором, кто-то ножом. Рыжий паренек лет семнадцати раскладывал куски мяса по тазам. Обстановка в комнате - печь, стол, да две крашенные табуретки. Мужики так увлечены своей работой, что никто из них не заметил, как я вошел. Они громко переговаривались. Самый юный из них, тот, что рыжий, обращается к невысокому коренастому мужчине, ожесточенно орудующему топором:

- Вань, дай немного порубить. Слышь, что говорю? Отдохни.

- Отстань, - как от мухи отмахивается от парня мужик. - Это тебе не шутки разделявать корову уметь надо. А если тебе здесь надоело, иди отсюда и смени Петровича.

- Умник нашелся. Вы вчера пили, а я стадо целый день один гонял...

- Ну, какого хрена ты врешь? - взорвался Иван. - Много мы пили?

Его возмущение поддержали остальные. Один из них, по виду самый старый произнес:

- Вот сегодня будем пить, это да. Я вчера председателю так и сказал: ты нам, Сергей Иванович, зарплаты пол года не платишь, а жить ведь тоже надо.

- Ну, а он? - спросил кто-то из мужиков. Было видно, что разговор с председателем пересказывался не первый раз, но слушали они его с видимым удовольствием.

- А чего он? Мол, некогда, Сидоров, с тобой говорить, приходи в другой раз. Когда, спрашиваю, в другой? Мы неделю за Клязьмой стадо пасем, от щей и каши уже воротит. Да и Троица на днях, отметить надо. Сидоров сделал паузу. Мужик, орудовавший ножом, даже прекратил работу. Я же оказался в глупом положении. Меня упорно никто не видел. Получалось, что я стою и подслушиваю. Мне бы еще секунду-другую подождать, чтобы люди насладились финалом этой истории. (Позже я его услышал: "Ладно, говорит он мне, черт с вами, похуже выбирайте коровку и забивайте"). Но я, воспользовавшись наступившей тишиной, произнес: - Здравствуйте, люди добрые. Бог в помощь!

- И вам - здравствовать, - произнес кто-то.

- Мне бы на тот берег перебраться. Не подскажите, как? Сидоров, смотревший на меня безо всякой приязни, произнес сквозь зубы, будто рублем одарил:

- У нас на берегу паром стоит. Мы на нем коров перевозим. Дня через два собираемся съезжать отсюда. Вот тогда и переберетесь.

- Через два? И раньше нельзя? - Я не мог скрыть огорчения. Мужик ответил с явным злорадством:

- Ничем помочь не можем... Поблагодарив, я вышел из домика, снял рюкзак и, присев на траву, стал смотреть на расстилавшуюся за рекой равнину. Купол храма был хорошо виден. Цель, казавшаяся столь близкой, стала вдруг далекой. А Клязьма, словно в насмешку надо мной, очаровывала своей кротостью: ее воды в десяти шагах от меня текли совсем бесшумно. И только редкий всплеск играющей рыбы нарушал тишину... Я и не заметил, как подошел и сел рядом рыжий паренек.

- Ребята удивляются, как вы здесь очутились? Из Луневки автобусом можно спокойно до Владимира доехать, а оттуда в Боголюбово. Разговаривать не хотелось, но быть невежливым не хотелось тоже:

- Знаю. Просто я пешком хожу.

- Пешком? А что, нужда какая?

- Да как сказать? Одним словом, я журналист... Хожу по России... А в храме этом давно мечтал побывать. И чтоб обязательно пешком.

- И много прошли?

- Километров триста.

- Триста?! - и парня будто ветром сдуло: он исчез в домике. До меня доносился сбивчивый рассказ паренька, - видимо, он пересказывал наш разговор. А вскоре я сидел в кругу этих людей и отвечал на вопросы. Первым начал Иван:

- Вы не обижайтесь, что приняли вас неприветливо. Народ сейчас всякий ходит. И не волнуйтесь, Санек вас мигом на тот берег перевезет.

- Это точно, мигом, - радостно подтвердил рыжий.

- Но мне поговорить, уж не обессудьте, с вами хочется, - неторопливо продолжал Иван. - Мечтал с живым журналистом поговорить. Вы, наверное, много по земле прошли, много чего видели. Согласитесь, плохо живет народ.

- Соглашаюсь.

- А кто в этом виноват, не задумывались?

- Так кто же?

- Вы, журналисты! Это вы нам счастливую жизнь пообещали. Народ вам поверил. Он ведь доверчивый...

- Простите, а вы сами - доверчивый?

- А причем здесь я?

- Но вы же от имени народа говорите, или как? Иван улыбнулся:

- Я не могу складно мысль выразить, так что подождите, не перебивайте.

- Простите, я не хотел перебивать. Но я за всех журналистов отвечать не хотел бы. Среди них разные ведь есть люди. И не все они народ обманывали... Слово за слово, мы разговорились. То ли оттого, что им было скучно, то ли впрямь их так волновали вопросы бытия, но мы проговорили почти час. И, кажется, поняли друг друга. Когда Семен Иванович Сидоров в десятый раз стал матюкать власть предержавших, причем, всех уровней, Иван стукнул себя по коленкам:

- Все, хватит. Давайте, мужики, до конца дело доделаем. А вы, Виктор, пока отдохните, потом пообедаем, вечером костерок зажжем, еще поговорим, переночуете, а завтра спокойно пойдете в церковь. - Он выдал эту длинную тираду тоном, не терпящим возражений. Мне не хотелось огорчать Ивана и его друзей, но... Мыслями и душой я был возле стен храма, а потому, поблагодарив их, попросил перевезти меня.

- Как знаете, - мне показалось, что Иван был огорчен. - Но я на вашем месте не спешил бы. Покушайте, отдохните, да и нам интересно поговорить с вами. Мой отец говорил, что Бог не в стенах, а в венах. А стены церковные и завтра стоять будут.

- Не богохульствуи, Ванек, - неожиданно вмешался Семен Иванович.

- И не собираюсь, ты меня просто не понял. А Виктор, надеюсь, понял. Я кивнул, и стал спускаться к парому...

2

Мне не забыть того дня. Не забыть храм, похожий на свечу; монастырь с его знаменитой лестницей в башне, где закончил свой жизненный путь князь Андрей... И даже луг, протянувшийся от храма до Боголюбского монастыря, и никогда не знавший плуга, до сих пор стоит у меня перед глазами. Храм Покрова на Нерли принадлежал тогда какому-то музею, и службы в нем проводились только в воскресные дни. Я же пришел в будний день, но сторож оказался добрым человеком: он открыл мне двери храма...

Незаметно наступил вечер. Внуки сторожа весело резвились на лужайке перед храмом. Сторож предложил мне заночевать в его сторожке. Назавтра мне предстоял дальний путь до Суздаля, а поэтому я без колебаний согласился. Но сон никак не шел. Сначала мешала мышь, возившаяся за печкой. Затем в сумеречных лугах подал свой голос коростель. Впрочем, на самом деле все было проще: что-то нехорошее лежало на душе. Так бывает, когда обидишь кого-нибудь незаслуженно, и не извинишься. Вроде бы и винить себя не в чем, а вот походишь ты... Я вышел на улицу. Звезд не было видно. Над притихшем миром, где один коростель скрипел о чем-то жалобно, царил луна. Яркая, полная, она отражалась в воде озера, освещая храм волшебным сиянием, Я медленно еще раз обошел вокруг церкви. Неожиданно раздались чьи-то шаги. Сторож вышел вслед за мной? Нет, у западных ворот храма стоял невысокий бородатый человек. Одет он был просто, даже слишком просто, скорее по-монашески, чем по цивильному. Увидев меня, поклонился. Не знаю от чего, но в тот момент я не удивился его появлению, не спросил, кто он и откуда идет, где заночует. Наверное, не успел. Человек, после короткого приветствия, вдруг совершенно неожиданно предложил мне:

- Давайте споем тропарь Божьей Матери. Я растерялся. К тому же наизусть тропаря я не знал. Незнакомец же спокойно поманил меня к себе, подошел к западным воротам церкви и тихим, но приятным голосом запел: " К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии,

и припадем, в покаянии зовущие из глубины души: Владычице, помози..." Мне было неловко оттого, что я не знал этих слов наизусть. Оставалось повторять их за стариком. Заметив, он отвесил поклон, а после обратился ко мне:

- Это ничего, что не помните. Можно и без слов молиться. Чувство покаянное, вот что в себе возвращать надо. А коль возрастишь - беречь и лелеять.

Не помню, что отвечал своему новому знакомому. Возле его ног лежал холщовый мешок. Он достал из него сверток, осторожно развернул и протянул мне какой-то предмет. Это была книга.

- Похоже на душе у вас тяжело. Так бывает. Да еще не поймешь, в чем причина маяты. Добрые люди в старину советовали читать жития святых отцов. Очень помогает. - Книга оказалась в моей руке. Томик был старый, но в очень приличном состоянии. Видно владелец ее был человеком аккуратным. Открыл наугад. Алфавит дореволюционный, с " ятями". Неожиданно для себя углубляюсь мыслями в текст. Два монаха, говорится в нем, идут на богомолье. Один молод, другой старец. Зашли переночевать в крестьянскую избу. Хозяин встретил странников приветливо, приказал домочадцам подать на стол все лучшее, что есть в доме. Гости с благодарностью, помолясь Богу, сели за стол. К удивлению и даже негодованию молодого монаха, старец стал есть скромное. А шло время великого поста. Молодой странник так и не притронулся к мясу, огорчив тем самым хозяина дома. А старец ел и нахваливал.

На следующий день, поблагодарив крестьянина за гостеприимство, монахи отправились дальше. Молодой, едва они остались вдвоем, накинулся на старца с упреками:

- Ты ел мясо, брат! Я глазам своим не верил... Тот долго не отвечал, а потом, наконец, ответил:

- Неужели ты ничего не понял? Бедный человек проявил к нам такую любовь, что выставил на стол то, что сам он, его жена и даже дети едят только по большим праздникам... Поверь, с сегодняшнего дня мой пост станет еще строже, но я не мог не ответить на его любовь. А она, брат, превыше поста... Я вдруг понял, что должен сейчас делать. Поднимаю голову, хочу сказать "спасибо", но - никого нет. Может быть, он ушел в сторожку? Но его и там не было. Я тихо взял рюкзак и, чтобы не разбудить сторожа и его внуков, тихо вышел, предварительно оставив книгу и записку с просьбой вернуть ее старику, который должен быть где-то поблизости...

3

В ночных путешествиях есть особое удовольствие, особенно когда под ногами хорошая дорога, в небе яркая луна, а от недавней усталости нет и следа настоящий прилив сил. Мир людей спит, только дальние огоньки фонарей напоминают о том, что где-то есть человеческое жилье, есть дома, в которых до нового утра спят люди. Земля отдыхает тоже - от дневного зноя, от шума моторов. Ты идешь, и эхо твоих шагов разносится далеко-далеко, но это когда ты спешишь. А если нет, и ступаешь на землю тихо, то очень скоро становишься бесшумной тенью... Сумеречный мир тоже прекрасен, но, к сожалению, мы редко можем видеть его. Я подошел к Клязьме. Несколько часов назад рвался на берег, на котором стою сейчас, а теперь дорого бы дал, чтобы оказаться на другой стороне, с людьми, которые так хотели, чтобы я остался с ними. Но они, наверное, спят. И вдруг:

- Смотри, похоже, Виктор, - произнес кто-то на том берегу. - Это вы, Виктор? - И я узнал голос Ивана.

- Да вроде бы я.

- А я что тебе говорил, - это уже был Игорь, рыжий паренек, - не мог он не вернуться. - Последние слова, он говорил, уже спускаясь к парому. ...И вот я уже сижу в тесном кругу, искры от костра уносятся высоко в небо. А отдельные перед тем как исчезнуть навсегда, зависают на миг в высоте над огромным притихшим миром. Костер был разведен за домом, а потому я его не видел, когда шел к реке. Чьи-то заботливые руки протянули мне огромную оловянную миску, доверху наполненную отборным вареным мясом.

- Да куда мне столько?! Я не съем...

- Какой же ты мужик, если не съешь? - удивился Сидоров. - Да и идти тебе, чай, еще о-го-го сколько!

Сами ребята, как говорится, были уже и сыты и пьяны. Одобрительно посматривая, как я опустошаю тарелку, неспешно говорили о своем. О видах на урожай, о том, что было бы хорошо, если сухая погода постоит немного, а то все дожди залили. Я рассказал им о странном человеке, встреченном мною в поздний час возле храма. Неожиданно Иван очень категорично произнес:

- Чему здесь удивляться. Это Николай Угодник был...

- Брехать-то, - насмешливо отозвался Игорь.

- Собака брешет, а я правду говорю. Ну ты сам своей башкой подумай: как обычный человек мог неоткуда взяться и исчезнуть вновь. А? То-то.

- Да не верю я во все это - не сдавался Игорь. Остальные слушали молча.

- Это твое дело. А мне еще бабка моя говорила, что Николай Угодник по России издавна ходит, тем, кто в беде помогает.

- А какая у Виктора беда была?

- Этого я не знаю. Может, и была какая, душевная. Никола, между прочим, путников особо любит, особо тех, кто Богу молится. Ты в Бога веруешь? - уже ко мне вдруг обратился Иван. Я кивнул. - А я что говорю. Николу ведь и Угодником называли за то, что он людям помогает, угождает то бишь... Так вот, как сейчас помню, бабка рассказывала: когда она еще в девках была, жили они в одном селе над Окой. Село длинное, большое, стояло на берегу высоком. Жили, рассказывала, неплохо: ее мать всю деревню обшивала, и дочери старшие ей помогали. А в тот год жара страшная стояла. И вот что интересно: вроде бы тучи находят на небо, ветер поднимается, а дождя не было. И как раз в такую погоду чей-то дом загорелся, как раз за несколько домов от бабкиного. И как на зло, ветер в их сторону. Ну вы знаете, как в таких случаях бывает: дома близко друг от друга стоят, крыши соломенные, да еще ветер.

- Хуже нету, - откликнулся Сидоров. - Я сам такое маленьким видел, кажись, это в тридцать девятом было...

- Да постой ты, - перебили его. - Дай человеку досказать.

- Ну так вот, - также неспешно продолжил Иван. - Народ собрался, крик, шум. Одни молятся, мол, слава Богу, ветер не в нашу сторону, другие помогают вещи погорельцам выносить, третьи к своим домам бегут, четвертые, самые умные, к колодцам за водой... А куда там! Один секунд - и уже другой дом горит. Короче, сгорел наш дом. Головешки только и остались. И вот на следующий день, берет мать моей бабки всех детей своих, и в соседнее село - там церковь

стояла и называлась она Никольской. Бабка вспоминала: поставила мать их всех на колени, а сама давай плакать. Вслед за ней и дети заревели. Народ на них глядит и тоже слезы утирает... Прабабка моя, значит, Бога просила, как, мол, Господи, я теперь жить буду, как эту ораву прокормлю... Бабуле моей лет десять тогда было, я, говорит, все примечаю, что вокруг делается. Люди прямо там, в церкви, стали им деньги протягивать. Конечно, в основном полушки медные...

- А что такое полушка? - не вытерпел Игорь.

- Полкопейки.

- Такие деньги были? - искренне удивился рыжий.

- А то, - встрял в разговор Сидоров. Это сейчас копейка - тьфу, а тогда...

- Слушайте, может, хватит? - подал голос мужик, которого все звали Кузей. Сидор начнет вспоминать, какие деньги были. Дайте человеку закончить. А ты, Ванька, закругляйся. При чем все-таки здесь Никола??

- А ты не торопи. Я и так уже к главному подхожу. Первое время после пожара они у родных жили. И вот, ушли как-то все взрослые в поле, а моя бабка за няньку осталась. Слышит, вроде стучит кто-то в дверь, а собака не лает. Открывает, стоит седенький такой старичок, с палочкой, котомка за плечами - странник вроде бы. Их тогда много по Руси ходило. Зашел он в избу, перекрестился и спрашивает: здесь, мол, погорельцы живут? И протягивает бабке моей что-то вроде ящичка. Передай, говорит, это матери твоей. Скажи, что Господь отчаиваться не велит, а за то, что она и в радости Бога за все благодарила, он не оставил ее. И также быстро ушел, даже воды не попил. А когда взрослые вечером пришли, открыли коробку, а там - деньги. И немалые. Бабка говорит, что на новую швейную машинку хватило...

Наступившее молчание прервал Игорь:

- Ну и что? При чем здесь Никола?

- Как при чем? Бабка моя так и говорила: это Николай Угодник приходил. А лицо одно к одному, как на иконе.

- Да ну! - рыжий не сдавался. - Кто-то пожалел и дал им денег...

- Кто же? Из собеса что ли пришли? Натя, мол, вам причитается. - Все засмеялись. Кроме Кузьмы. Я вообще заметил, что этот неразговорчивый человек особенно внимательно слушал рассказ Ивана.

- Тут, ребята, нечего скалиться. Я думаю, что это и впрямь Николай Угодник был. У обычных людей ведь как? Сделаем мы кому-нибудь доброе дело, если сделаем, конечно, - и, что, в тайне это оставим? Вот тебе, к примеру, говорю, деньги, мил человек, возьми - только не кому не сказывай и обратно их не отдавай, забудь. Это только святой человек так может. И тогда, и сейчас особенно люди чаще всего из-за денег пропадали.

- Это точно, - откликнулся Сидоров. Кузя продолжал:

- А я как понимаю святых? Они все земное от себя отринули и одному Богу угодить хотели... И поскольку в наше время праведников мало, вот и ходят по земле святые, помогают нам.

- Слушайте, мужики, я чей-то не понимаю. Ну как мертвый может по земле ходить? это, разумеется, был все тот же Игорь.

- Да ты знаешь, сколько вокруг всякого такого, что мы сразу умом своим не уразумеем, - вклинивается в разговор Сидоров. - Вот в тарелки летающие ты веришь, а что Никола может людям помочь - нет.

- Так тарелку я сам видел.

- А я Николая Угодника. Вот как Виктор сегодня, лицом к лицу. Все уставились на Сидорова. Семена Ивановича впервые никто не перебивал и он явно волновался.

- Я в армии в самом конце сороковых служил. Кресты тогда нательные мало кто носил из молодых, а мне мать, провожая, надела и наказала не снимать. И еще дала маленький образок, медный такой, с Николаем Угодником. Пусть, говорит, с тобой будет. И всегда, когда беда какая, проси Угодника о помощи. Это сейчас родителей дети не слушают, а мы тогда другими были. Почитай, до семнадцати годов меня мать в корыте купала. Она поливает из ковша, мне стыдно, большой уж, а она: нечего матери родной стыдиться. Одним словом, слушал я ее. Взял образок. Служить мне пришлось в Калининской области. Вот, скажу вам, места. Леса сплошные, болота кругом, деревенок мало, а если есть какие - в несколько домиков. И послали меня однажды в такую деревню. Сейчас уже и не помню зачем. А может, к девкам в увольнение пошел, ей Богу, не помню. Дорога, разумеется, лесом шла. Из части нашей сначала широкая, а потом все уже, уже, так петляет тропка по лесу. Комарья сколько там! Бывало наклонился за черникой, а они тебя вмиг облепят...

- Да ты говорить о деле будешь?

- Это так, к слову. А я раньше этой дорогой ходил. Один местный мне даже короткий путь показал. Вот я сдуру и решил время сэкономить. Иду, иду - и, похоже, что заблудился. Хочу на обратный путь вернуться, а где там! Короче, оказался в болоте. Я в крик, паника меня забирать начинает. В одну сторону мечусь - нет тропинки, в другую, а твердой земли все меньше. Кричу: ау, люди добрые, с кочки на кочку прыгаю почище зайца и - бултых. Сначала не успел испугаться - только противно: грязь, вода. И вдруг, чувствую, - засасывать меня стало. Верите или нет, да только ноги мои будто ватные сделались, а по спине холод пробежал. Конец мне пришел - понимаю. И, знаете, что самое обидное: над головой небо синее, где-то кукушка кукует, комарье жужжит, а я, девятнадцатилетний ни за что пропадаю, и помочь некому. Так жалко себя стало... сил уже нет кричать, плачу только. Вдруг про образок вспоминаю, я его в кармане гимнастерки носил. Ни до этого, ни после никого так не просил. Со слезами кровавыми, одним словом, как мать учила меня: святитель Николай, Угодник Божий, помоги мне...

Костер стал затухать. Где-то на выгоне, на самом краешке горизонта небо стало светлеть. Я слушал Сидорова и почти физически ощущал ужас человека, погибающего в трясине. Будто воочию видел молодого курносого парня в гимнастерке. Вот он уже по грудь в болотной жиже. Руки судорожно тянутся схватиться за что-нибудь, а схватиться не за что. Под ногами - бездна. А вокруг - прекрасный, ослепительный - и равнодушный мир... Игорь слушал, открыв рот. Иван прутиком ворошил еще живые уголья. Кузя, казалось, спал. Он сидел с закрытыми глазами. Но по тому, как вздрагивали уголки его губ, было понятно - и он весь во внимании.

- И вдруг сзади меня, точнее сбоку, голос: " Ну что, пропадаешь, мил друг? " Вижу стоит мужичок, с бородкой реденькой, седенькая такая борода, а глаза уж больно жалостливые. Ох, и как же я обрадовался, не могу вам передать. Пропадаю, дедушка, отвечаю, спаси ты меня. А в

руках у него палка такая, в тех местах ее слеглой зовут. Протянул он ее мне: хватайся, говорит, да тяни спокойно, без рывков. Перекрестился - и давай меня тащить. А я и посейчас легкий, а тогда вовсе маленьким да худым был: в войну рос-то, на лебеде да картофельных очистках... Одним словом, вытащил он меня. Я ошалелый совсем, ничего не соображаю. Старик меня вывел на твердое место, показал тропинку: иди-ка ты, говорит назад, с Божьей помощью быстро дойдешь. И легонько так в спину толкнул: иди. Я прошел метров десять, наконец-то ошалелость моя вроде как проходить начала. Что же, думаю, Семка ты даже спасибо человеку не сказал, не спросил, как зовут. Оборачиваюсь - и никого. Я кричу: " Дедушка, дедушка ", - только кукушка где-то кукует...

Мы долго молчали. Наконец, первым заговорил Кузьма:

- Я только одного не пойму Сидор. Почему так? Вот сейчас сидим мы здесь, мясо едим, самогон пьем, а где-то, в Калининской какой-нибудь области, человек в болоте гибнет. И никто не спасает его, и он погибает. А тебя вот вытащили. Ты что, лучше других? Вон, гляди, сколько в монастыре нашем по воскресеньям народа, и каждый небось о чем-то просит. О здоровье, о жизни хорошей...

- Не знаю, просто отозвался Семен Иванович. - Правда, не знаю. Только когда я домой возвратился, мать меня спрашивает, ничего с тобой, Семка, не происходило? На самые петровки, говорит, такая тоска меня взяла, что мочи нет терпеть. Мне бабки и посоветовали, за твое здоровье молебен Николаю Угоднику заказать. И вот, хотите верьте, хотите нет, только молебен она заказала в то самое воскресенье, я после высчитал, когда сынок ее в болоте тонул... Короткая летняя ночь сменялась утром. Еще немного - и край неба покрывается лазурью вперемежку с малиновыми отблесками. Костер почти догорел. Изредка, то одна, то другая головешка, в последний раз выпуская из себя жаркое пламя, а потом начинало белеть и рассыпаться.

- Живите с Богом, - вдруг услышал я чей-то голос, будто легкий ветерок пробежал по кустам.

- Вань, ты ничего не слышал? - спросил Игорь. - Кто это сказал?

- Слышал, растерянно произнес Иван. Оказалось, слышали и другие, причем именно эти три слова: " Живите с Богом ". Мы поднялись. Игорь даже сходил за дом. Вокруг не было ни души. Только Клязьма, также как сотни лет назад, когда князь Андрей строил на ее берегах чудный храм, тихо несла свои воды. Отсюда, с высокого берега, было хорошо видно это рукотворное чудо. Маленькой свечой на огромном лугу стоял он. И, неожиданно, словно свеча, храм как бы вспыхнул: это поднимавшееся на востоке юное солнце встало ровень с его куполом. Начинаясь новый день.

Попугайчики

Тихий сентябрьский полдень. В маленьком городском сквере многолюдно. Гуляют влюбленные, делятся последними новостями, полученными из вчерашних передач, пенсионеры. Но больше всего детей. Малыши лепят "пирожки" в песочнице, дети, которые немного постарше катаются на горке. Если время от времени между ними вспыхивает подобие конфликта, кто-то из мам или бабушек, чьи чада начинают ссориться, а то и плакать, прерывают свои разговоры и спешат на выручку. На этот раз пришлось подняться со скамейки пожилой женщине.

- Маша, Ира, прекратите ссориться! Что вы не поделили?

- А пусть она не обзывается!

- Моя очередь была скатываться.
- Бабушка, а почему она сразу обзываться начала?
- Я только повторила, что ты мне сказала.
- Попугай!
- Сама такая.
- Как вам не стыдно! Какой пример вы маленьким подаете? - Бабушка потихоньку отводила сестер от горки. - "Она, она". У вас разве имен нет?
- У нее есть: попугай.
- А ты... ты... Удивительно, но бабушка оставалась спокойной.
- Ирочка, Машенька, давайте сядем и я расскажу вам что-нибудь интересное.
- Как ты была маленькая.
- Хорошо, но сначала давайте разберемся вот в чем. Как вы думаете, почему люди называют друг друга попугаями, собаками...
- Еще козлами, - быстро подсказала Маша.
- А это вообще безобразие! - Бабушка громко вздохнула. - Неужели собаки так провинились перед нами?
- Бабушка, но ведь если хотят кого-то обидеть, никто ведь не назовет человека орлом, а попугаем назовет.
- Почему?
- Потому что он попка - дурак? - Обе девочки засмеялись. И вот уже Ира, как ни в чем не бывало, обратилась к сестре.
- Помнишь, Машут, мы фильм недавно смотрели? Там глупого короля Йагупопом звали.
- Помню. А если прочитать наоборот, то...
- Понятно, - перебила девочку бабушка. Попугай. Глупый, значит?
- Я понимаю, - сказала Ира, - попугай ни в чем не виноват. Но ведь зря бы люди не стали так говорить?
- Да, - подхватила Маша, - ты же сама бабушка про лебедей песню любишь. Значит, лебеди другие. Когда один умирает, другой тоже.
- Вот что, умные мои, давайте-ка я вам действительно кое-что расскажу...
- Как ты была маленькая?
- Нет, маленькими были ваши мамы. Решили мы с дедушкой купить для них двух волнистых попугайчиков. Тогда в нашем городе зоомагазина не было и мы поехали в Москву. Купили

самца и самочку, мальчика и девочку. Его решили назвать Яшкой, а ее Машкой.

- Как меня! - засмеялась одна из девочек.

- Получается, что так. Представляете, в вагоне электрички Яшка вылетел из клетки.

- И как же вы его ловили?

- А вот так, всем вагоном. Но поймали! - Бабушка неожиданно озорно засмеялась. Чувствовалось, что воспоминания доставляют ей радость. Яшка у нас был зеленого цвета, Машка - желтого. Вот так и стали они у нас жить. Говорят, что есть попугаи, которые любят садиться на руки или на головы своим хозяевам. А наши только летали по комнате, а если сидели, то в клетке. Независимыми были. Наверное, им хватало общества друг друга... Да. Ну так вот, живут они у нас год, второй, пятый. Потом мы юбилей отметили - десять лет.

- Неужели, попугаи столько живут? - искренне удивилась Маша.

- Живут и дольше. Мы к ним так привыкли, что они стали членами нашей семьи. Ваши мамы уже студентками стали. Приедут домой на выходные и первым делом к клетке как там Машка с Яшкой?

И вдруг эта сладкая парочка нам преподнесла сюрприз: Машка решила выводить птенцов. Дедушка им сделал домик из фанеры. В домике проделал дырку для входа, принес березовых опилок, чтобы Машке было удобнее сидеть. И вскоре она снесла три яйца. Сидит, высиживает. Она вообще-то была спокойная, можно даже сказать, тихая. Но иногда Машке надоедало сидеть и она порывалась вылететь из клетки, размяться. И что бы вы думали? Яшка не выпускал ее. Приносил подруге еду, и вообще, был очень заботлив. И вот в один момент все изменилось. Дедушке на работе кто-то принес еще одного попугайчика. Девочку. Тоже, кстати, была желтого цвета. Тот, кто принес, подумал, что это наша Машка улетела. Дедушка у нас добрый был, решил ее оставить. Мы даже имя ей не дали, все ждали, а вдруг хозяева найдутся?

Новая наша питомица оказалась совсем другого нрава. С одной стороны - ручная любила на руках сидеть, а с другой... Даже не знаю, как сказать. Она как воробей была. Вольнолюбивая. Шкодила страшно. То на карниз сядет и всю штукатурку клювом раздолбит, то за плинтус примется. И вот что интересно: глядя на нее, наши попугайчики тоже охотнее стали на руки идти. Но это все пустяки по сравнению с тем, что новая попугайчиха положила глаз на нашего Яшку.

- А что значит, - "положила глаз", бабушка? - чуть ли не одновременно переспросили девочки.

- Флиртовать с ним стала. Опять непонятно?

- Влюбилась в него.

- Можно сказать и так. И однажды мы наблюдаем такую картину: сидит она на люстре и вдруг - хоп! - Яйцо падает на пол. И всмятку. А наша новая мадам хоть бы что. Гнезда ей не требовалось. Где окажется в данный момент, там и снесет яйцо. Кстати, и Яшка с Машкой, глядя на нее, разбили свои яйца.

- Вот видишь, бабушка, - а ты еще заступалась за попугаев...

- Погодите, рассказ-то еще не закончился. К тому же, я не совсем правильно выразилась: Машка, видимо от переживаний, перестала сидеть на яйцах и они погибли. А Яшка был

счастлив. Внимание он теперь уделял обоим своим подругам. Новая попугайчиха чувствовала себя на новом месте очень вольготно. А Машка... Машка оставалась такой же тихой. И тем неожиданнее для нас стало то, что с ней произошло. Однажды она набросилась на "разлучницу". Дедушка смеялся: "Женщины за мужика дерутся". Но смех смехом, а драка была жуткая. Машка даже вырвала на голове соперницы клок перьев. А потом опять стала тихой и даже какой-то безразличной.

Нашу новую постоянлицу мы вылечили и отдали в хорошие руки. Но там она надолго не задержалась: порх! - и улетела в открытую форточку. По всей видимости, долго на одном месте она жить не могла...

А у Машки с Яшкой все опять стало хорошо, как будто ничего и не было. Впрочем, нет, чуть не забыла очень интересную подробность. Когда ее соперница улетела, Машка вытащила из домика все его содержимое. Вытаскивала на голове и бросала на пол. Наверное, решила, чтобы даже запаха от соперницы не осталось... Ну вот девочки, рассказ мой подходит к концу. Когда исполнилось уже тринадцать лет, как попугаи жили у нас, Машка заболела. То ли простыла, то ли еще что-то случилось. Но зима в тот год очень холодной была. Одним словом, умерла наша Машка...

Когда мы взяли ее из клетки, чтобы похоронить, Яшка сначала стал клевать дедушке руки, а потом начал бегать по стенкам клетки. Бегал, и что-то кричал, кричал. А потом умолк, нахохлился. Перестал есть, только воду пил, и то - совсем немного. Мы решили съездить в Москву и привести ему новую подружку. Но не успели...

- Почему, бабушка?

- Через неделю после смерти Машки, не стало и Яшки. Мы с дедушкой даже поплакали. Немножко. - Бабушка замолчала, будто вспомнила что-то. Потом вздохнула:

- Заболтались мы, подружки, нам домой пора. - И добавила тихо: - А вы говорите, попугаи.

И три человека, один большой и два маленьких, взявшись за руки, молча пошли по дорожке скверика. Ласковое солнце бабьего лета улыбалось им сквозь старые клены, но первые красные и желтые листья уже падали под ноги.

И мать их Софья (Драма в шести действиях)

Действующие лица:

Николай Михайлович Прокофьев, учитель истории *Вера Ивановна Рощина*, директор школы

Тамара Викторовна Лазукина, актриса. *Виталий Сергеевич Ильин*, ее муж, бизнесмен

Софья Викторовна Лазукина, учитель истории *Евграфыч*, житель города Одуева

Ирина Леонидовна Войтюк, учитель русского языка и литературы *Петр Петрович Самсонов*, учитель математики

Нина Ивановна Козлова, *Светлана Георгиевна Филатова*, педагоги Одуевской школы *Борис Семенович Заславский*, режиссер

Леонид Игоревич Портнов, мэр Одуева *Васильев*, участковый милиционер

Мальчик и девочка, участники спектакля "Гроза". Актеры народного театра, милиционер, жители Одуева.

Часть первая.

Действие первое.

Картина первая.

Кабинет директора школы Рощиной. Она сидит за столом, что-то пишет. После стука в дверь входит *Прокофьев*.

Прокофьев. Здравствуйте, Вера Ивановна. На ковер вызывали?

Рощина. (Молча, показывает рукой на стул, затем продолжает какое-то время писать, лишь после этого поднимает на Прокофьева глаза). День добрый, Николай Михайлович. У вас, я вижу, опять чудесное настроение?

Прокофьев. А разве может быть иначе, многоуважаемая Вера Ивановна? (Начинает загибать пальцы). Я молод, здоров, умен, красив, холост, работой доволен, ученики меня любят, коллеги уважают, вы - цените, девушки, так те просто обожают, собаки со мной дружат... Вот видите, пальцев даже не хватило.

Рощина. Прокофьев, ответь мне: ты пользуешься тем, что я знаю тебя с пеленок, что с Марией Михайловной мы подругами были? Сколько раз мне еще придется краснеть за своего учителя истории?

Прокофьев. Можно ответить?

Рощина. Нужно!

Прокофьев. Тогда по порядку, многоуважаемая Вера Ивановна. Разве можно пользоваться такими святыми чувствами, как дружба, любовь? Тут дело скорее в моей харизме...

Рощина. В чем, чем?

Прокофьев. Харизме. Ну, как бы сказать по другому? В моем шарме, обаянии. Вот вы, да и не вы одна, под мою харизму и попали. *Рощина*. Издеваешься, гад?

Прокофьев. Теть Вер, так я же любя. А если серьезно, что случилось?

Рощина. Я только что из райкома. Вот, почитай. (Протягивает Прокофьеву листок бумаги).

Прокофьев. Что это? *Рощина*. Ты читай, читай.

Прокофьев. (Читая). Докладная... заведующему РОНО от методиста Шиловой Г.И... Ага! Преподаватель Одуевской средней школы №2 Прокофьев Н.М.... так-так... в присутствии учителей этой школы обозвал меня дурой... (Поднимая голову). Неточность, Вера Ивановна.

Рощина. Неужели? *Прокофьев*. Я назвал ее круглой дурой.

Рощина. Круглой дурой? Понятно. Методиста РОНО? Ты хоть соображаешь, что говоришь?

Прокофьев. Что за методист Шилова Г.И. - это еще тот вопрос, а студентку Гальку Шилову я знаю хорошо. На три курса старше меня училась. Тупая была - вспомнить страшно. Я ей по три раза каждую тему объяснял. Она меня за это салом с картошкой кормила.

Рощина. Натурой, выходит, брал. *Прокофьев.* Кушать хотелось, тетя Вера.

Рощина. Здесь я тебе не тетя Вера, а Вера Ивановна. Или товарищ директор. *Прокофьев.* Понял.

Рощина. А я не поняла: ты ее по старой памяти что ли круглой душой назвал?

Прокофьев. Да как можно... товарищ директор? Галина на урок ко мне пришла. Я, говорит, тебя проверять пришла. Проходи, отвечаю, усаживайся поудобнее. А сам про себя думаю: ежели Галька методист РОНО, то кем тогда должен быть я?

Рощина. Брось, будто ты не понимаешь, в чем дело. Шилова-старшая начальник торга. У нее вся наша власть отоваривается. В школе-то дочка и года не продержалась, вот мамашка ее и устроила на теплое местечко.

Прокофьев. И вы это считаете нормальным, товарищ директор?

Рощина. Не считаю. Но и оскорблять ее тебе никто не давал права.

Прокофьев. Так я не дорассказал. У меня тема была - "Средневековый город". 6 класс. Не урок получился - сказка. Я ребятам и репродукции Брейгеля и Яна Вермера принес, вагантов им читал, мы музыку из фильма "Город мастеров" слушали. Помнишь, тетя Вер: тили бом-бим-бом...

Рощина. Не увлекайся. Что дальше? *Прокофьев.* Да это самое главное! Меня дети два года назад успокаивали: не переживайте, Николай Михайлович. Все равно мы эту вашу историю забудем, к чему она нам? Все равно пойдем в трактористы и доярки. Но ты же сама мне тогда говорила: не сдавайся.

Рощина. (Тихо). Я это помню, Коля.

Прокофьев. И я заставил их полюбить историю. Через музыку, живопись, поэзию. Они ведь до сих пор не догадываются, как я их заставлял! И теперь самый тупой ... нет, тупых у меня нет, - самый слабый из моих мальчишек, разбуди его хоть ночью, тебе о том же средневековом городе все расскажет... И вот эта... нехорошая женщина, когда мы выходили из класса, говорит мне: "Хороший урок Николай Михайлович, я ставлю вам "4".

Рощина. Для нее такая оценка всегда была пределом мечты.

Прокофьев. А меня аж подбросило. Стой, говорю, Галина Андреевна. Раз вы методист, разберите мой урок, и объясните мне, что я ни так сделал. *Рощина.* Ну и как, разобрала?

Прокофьев. Я у вас нашла, говорит, один недочет: за все время урока вы ни разу не упомянули о решениях 26 съезда КПСС. Я сначала решил, что она шутит. Переспросил, не ослышался ли я. Оказалось, нет. Ну, вот тогда я и сказал, все, что о ней думаю... Нет, ты представляешь, я должен был закончить урок словами: какой бы прекрасной стала жизнь жителей средневекового города, знай они о решениях 26 съезда КПСС.

Рощина. Понятно. А что произошло в кабинете политпросвещения?

Прокофьев. Вам и об этом доложили, товарищ директор. *Рощина.* Представь себе.

Прокофьев. Как его... Портнов, собрал учителей истории со всего района. Кстати, кто он по должности?

Рощина. Третий секретарь. Отвечает за идеологию.

Прокофьев. Запомню. Собрал, значит, он нас, и давай орать: скоро Пасха, крестный ход, если хоть один ваш ученик будет в нем участвовать - пеняйте на себя. Прощайтесь с партбилетами, комсомольскими значками. Особенно досталось Сергею Сергеевичу Сухожилову из Воронихинской школы. У них же в селе действующая церковь находится и к ним полрайона на крестный ход сбегается. Чему вы учите детей, орет он на Сухожилова. А Сергей Сергеевич этому Портнову в отцы годится. Вот, кстати, кому за идеологию отвечать. Интеллигент, умница, добрейшей души человек.

Рощина. Что же ты замолчал?

Прокофьев. А я все сказал. Тебе же доложили, что было дальше. *Рощина.* Доложили... Да на меня орали, что я под своим боком пригрела антисоветчика.

Прокофьев. Кого - кого?

Рощина. Антисоветчика!

Прокофьев. Это я то, с семи лет рисовавший "Аврору" и с октябрятским значком ложившийся спать, антисоветчик?

Рощина. Вот я и хочу услышать от тебя, повторяю, от тебя, что ты тогда сказал Портнову?

Прокофьев. Я сказал, что он не имеет права разговаривать с нами в таком тоне, а кричать на пожилого человека, ветерана войны - гнусно. Еще я сказал, что готов хоть сейчас выложить комсомольский билет, но пасти своих ребят, не собираюсь. Тем более, что их у меня пятьсот человек. А по нашей советской Конституции, каждый гражданин СССР имеет право на... Короче, хорошо я ему сказал. *Рощина.* Ты от скромности не умрешь.

Прокофьев. Понимаю, скромность украшает, но зачем мужчине украшения? Нет, правда, тишина в зале стояла - слышно было, как муха в окно стучалась. Представляешь, тетя Вер, все головы угнули, все сорок человек, а потом, не поднимая голов мне зааплодировали.

Рощина. А что же Портнов?

Прокофьев. Да трус он, как и все те, кто кричит на людей, которые не могут им ответить... Надо же, идеолог, ядрена вошь... Ладно, Вера Ивановна, обещаю быть умней. Плетью обуха не перешибешь. Потерпите еще годик, а там... *Рощина.* (Перебивает его) Не поняла...

Прокофьев. А что здесь понимать. Из положенных по распределению трех лет, два я уже отработал.

Рощина. (Видно, что эта новость буквально сразила ее). Николай Михайлович, Коля... ты это серьезно?

Прокофьев. Абсолютно, Вера Ивановна. Я свободный человек, а мир огромен и интересен. Слава Богу, одним Одуевым он не ограничивается. Я не хочу, чтобы мною руководили

Портновы и Шиловы.

Рощина. Дураки есть везде, Коля. И чем больше город, тем их больше.

Прокофьев. Но, как ни странно, в большом городе они реже попадаются на пути. Представляешь, еду я в метро, вокруг толпа народа - и все молчат. И я не знаю, кто они - гении или кретины. Читаю книгу, и мне нет до них дела. Как и им до меня. Но зато в большом городе есть музеи, театры, консерватория... Я огорчил тебя, тетя Вер?

Рощина. (Резко встает из-за стола и начинает ходить по кабинету). Значит, плетью обуха не перешибешь? А вот два года назад, Николай Михайлович, здесь, в этом самом кабинете... помнишь, 9 "Б" сорвал твой урок. Тогда ты сказал мне: "Тетя Вера, я не сдамся". А сейчас они за тобой гурьбой ходят.

Прокофьев. Так тогда речь шла о моей чести, о профессии, наконец.

Рощина. Правильно, два года назад тебя задели за живое. А сейчас, гордишься, какой ты смелый: эта - дура, этот негодяй! Ведь хороших, честных, искренних людей больше, Коленька! Им... им просто надо друг за друга держаться, объединиться. Не умею я красиво сказать. Ты вот вспомнил, как тебе аплодировали. *Прокофьев.* Угнув головы.

Рощина. Но для какой-то Марьи Ивановны, забитой, задерганной - это поступок. Понимаешь?

Прокофьев. Понимаю. "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков".

Рощина. Дурак, прости Господи!

Прокофьев. Может быть, Вера Ивановна. Но не Дон Кихот. Всю жизнь сражаться с ветренными мельницами? Увольте.

Рощина. Лучше сидеть в консерватории и слушать Моцарта.

Прокофьев. А это действительно лучше. Кстати, не понимаю вас. В чем я виноват? Что хочу уехать из этой дыры?

Рощина. Бежать, Прокофьев, не уехать, а бежать. Кстати, пойми и меня. Далек бы ты уехал отсюда с волчьим билетом.

Прокофьев. Волчьим билетом?

Рощина. А ты как думал? Публично отвесил оплеуху Портнову и решил, что на этом все закончится? Два часа я горло в райкоме из-за тебя драла. Спасибо, первый поддержал. Правда, пришлось пообещать, что на собрании мы тебя пропесочим.

Прокофьев. На каком собрании?

Рощина. (Смотрит на часы). На нашем, дружок, на нашем. Через пять минут сюда девчата придут. А пока хочу задать тебе последний вопрос.

Прокофьев. Неужели последний?

Рощина. Говорят, тебя после уроков каждый день в закуской видят. Это правда? И что ты там, скажи на милость, делаешь?

Прокофьев. Закусываю.

Рощина. А ты не иронизируй.

Прокофьев. Повторяю, Вера Ивановна, мой бог - свобода. Я - свободный человек. Уроки отвел, и делаю все, что сочту нужным.

Рощина. Но ты же учитель!

Прокофьев. Ну и что? Разве учителям запрещено входить в закусовые? Я детям рассказывал, что в Штатах в свое время висели таблички на присутственных местах: "Входить собакам и неграм запрещено". Представляю: "Вход учителям и..." *Рощина.* Не паясничай. Опять вызов?

Прокофьев. Кому?

Рощина. Да не придуряйся, все ты понимаешь. Мимо дети гурьбой ходят, а учитель пиво глушит.

Прокофьев. Стоп, Вера Ивановна. Не пью я пиво. Меня с него на сон тянет и изжога начинается.

Рощина. Тогда что? Водку?

Прокофьев. Водку в закусовой? Фи, Вера Ивановна. Портвейн, добрый старый портвейн. С котлетой или с бутербродиком: хлеб, совсем немного масла и килечка... Чудо!

Рощина. Ты меня разыгрываешь, Прокофьев? Так и спиться не долго. *Прокофьев.* Не обязательно. У меня учитель в институте был, Вадим Николаевич Зареченский. Мудрейший человек! Помню, у него на семинаре закончит кто-нибудь из студентов доклад, наспех подготовленный, а он посмотрит на него и скажет: "Это все, батенька?" И сам так начнет рассказывать, что мы целый час притихшие сидим. А сколько стихов старик знал... Так о чем мы? Да, и как-то я заметил, что возвращаясь с занятий, а Зареченский только пешком ходил, наш Вадим Николаевич в кафешку одну все время заходит, - ее у нас Рублевкой звали. Я проследил, и что же оказалось? Аристократ, белая кость, с академиком Лихачевым дружил, что же он себе в этой забегаловке заказывал? Портвейн! Ну, а поскольку Зареченский для меня был авторитетом...

Рощина. Одним словом, и ты попробовал.

Прокофьев. И ведь понравилось!

Рощина. И сердито, и дешево. Ладно, ты мне зубы не заговаривай, я тебя насквозь вижу.

Прокофьев. А если видишь, что спрашиваешь?

Рощина. Ох, послушает кто нас со стороны - потеха. То ко мне на ты обращаешься, то на вы. Вера Ивановна, товарищ директор, тетя Вера.

Прокофьев. Так я же по просьбам трудящихся. (После паузы). Обещаешь, о моей страшной тайне никому не рассказывать?

Рощина. Могила.

Прокофьев. Беру я, значит, свою котлетку... *Рощина.* И стакан портвейна в придачу.

Прокофьев. Это святое, товарищ директор. Выпиваю. Закусываю. Беру второй. Не смотри так, больше - ни грамма. И когда по телу начинает растекаться тепло, а серый наш Одуев мне уже кажется каким-нибудь Баден-Баденом, появляется она.

Рощина. Кто - она?

Прокофьев. Откуда я знаю? Незнакомка, видение, мечта. (Неожиданно начинает декламировать).

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный
В туманном движется окне...

Рощина. Интересно, интересно. Каждый вечер, говоришь, движется? Значит, из медучилища. Оно как раз через дорогу от закуской.

Прокофьев. Какой мудрый человек это спланировал? *Рощина.* А какие-то особые приметы имеются?

Прокофьев. У видения? Побойся Бога, Вера Ивановна. Впрочем, я заметил одну особенность. Когда она идет, то у нее часто тетрадки к груди прижаты, будто она текст наизусть учит.

Рощина. Томка Лазукина! Она. И впрямь, красивая деваха. Два года в театральный вуз поступала и все неудачно. Но девчонка упрямая: все равно, говорит, поступлю. А пока она в медучилище...

Прокофьев. Ты что замолчала?

Рощина. А ведь это мысль.

Прокофьев. Какая мысль?

Рощина. Это я о своем.

Раздается стук в дверь. В ее проеме появляется голова Войтюк.

Войтюк. Мы пришли, Вера Ивановна.

Картина вторая.

Те же, Войтюк, Филатова, Козлова, Самсонов.

Рощина. Вот и чудненько. Проходите девчата.

Прокофьев. (Уже догадавшись, в чем дело, Самсонову). И ты, Брут! То бишь, брат Петруха. (Цитирует). "И я один. Все тонет в фарисействе"...

Самсонов. Мне велели, Коля.

Рощина. Разговорчики! Присаживайтесь, товарищи, присаживайтесь. Итак, комсомольское собрание педагогов Одуевской средней... *Прокофьев.* Прекрасно! А что здесь делаете вы и (показывает на Козлову) Нина Ивановна?

Рощина. Разве я не сказала? Извините. Собрание открытое, и мы с уважаемой Ниной Ивановной, как коммунисты и ваши старшие коллеги, будем присутствовать на нем. (Обращаясь к Козловой). Ниночка, веди протокол. Ирина Леонидовна, а вас мы избираем председателем собрания.

Прокофьев. Ни фиги себе, демократия!

Рощина. Ирина Леонидовна, начинайте.

Войтюк. Товарищи, мы собрались, чтобы обсудить поведение нашего коллеги, преподавателя истории Николая Михайловича Прокофьева. Кто-нибудь хочет высказаться?

Прокофьев. Я хочу. Ирка, больше денег в долг не дам. У меня все.

Войтюк. Николай Михайлович, неужели вы не понимаете, зачем мы сюда пришли?

Прокофьев. Понимаю, чтобы пропесочить.

Войтюк. Дурак!

Прокофьев. Где-то это я уже сегодня слышал.

Филатова. Можно мне? Вера Ивановна, а может и впрямь не будем комедию ломать? Напишем для райкома протокол, как все мы клеймим этого... этого... ну, подскажите слово!

Войтюк. Зарвавшегося типа.

Филатова. Точно. Спасибо, Ирочка. Зарвавшегося, тьфу ты, зарвавшегося типа и...

Козлова. Мне все это писать?

Самсонов. И я согласен. Официально осудим, а в секретном приложении, для себя, выразим высокую оценку его мужественной позиции.

Рощина. Это надо же, Петр Петрович, у вас, оказывается чувство юмора имеется?

Прокофьев. (Аплодирует). Молодец, брат Петруха. Только я предлагаю наоборот: что секретно - отправим в райком, а о том, как шельмовали...

Филатова. Клеймили, Коля, клеймили! Передергиваешь. Все зашумели. Рощина пытается восстановить порядок, но тщетно. Наконец, она что есть силы бьет рукой по столу. Все сразу умолкают.

Рощина. Тихо! (Прокофьеву). Вот, Коля, чем в России заканчивается демократия бар-да-ком! (Ко всем). Никаких секретных материалов. Правильно сказала Светлана Георгиевна, мы этого типа заклемили - ради его же блага.

Войтюк. (Прокофьеву). Ты же нам потом спасибо скажешь.

Рощина. Как же, вы от него дождетесь! Через год махнет нам ручкой - и забудет, как звали.

Филатова. Это правда?

Войтюк. Вот это да!

Самсонов. Коля... Козлова. Я совсем запуталась, что мне писать?

Рощина. Слушайте, вы, как малые дети. Учителя называются. Николай Михайлович вам потом сам все объяснит. Но, в любом случае, еще годик ему придется нас потерпеть. И мы не ограничимся одними осуждениями. Думаю, выражу общее мнение: во многом проблемы Прокофьева проистекают оттого, что он не участвует в общественной жизни школы, города. И мне кажется, что мы можем для него придумать кое-что интересное.

Как известно, наш древний город славен среди прочего и тем, что в самом конце прошлого века силами преподавателей и учащихся старших классов первой городской гимназии был создан народный театр. Именно он дал России известного актера Преображенского, с успехом выступавшего на подмостках многих провинциальных театров страны.

Прокофьев. Вера Ивановна, вы же сами сказали: "как известно". Про этот театр самодеятельный, про Преображенского, который на самом деле был Худорожковым, в Одуеве все знают. Какое это имеет отношение...

Рощина. Не перебивайте меня, пожалуйста, Николай Михайлович. Имеет! И не самодеятельный, а народный, на сцене которого Худорожков стал Преображенским. Обратите внимание на фамилию: соприкоснувшись с театром, человек преобразился.

Прокофьев. И напрасно: жил бы себе спокойно купцом в Одуеве, а то спился, преобразенный, не то в Саратове, не то в Туле.

Филатова. Что вы говорите, Николай Михайлович! Его убило самодержавие, мещанская среда и...

Рощина. Светлана Георгиевна, не поддавайтесь на провокацию. Я продолжаю. Через два месяца Одуевскому народному театру исполняется 85 лет. К сожалению, в последние годы он переживает непростые времена, отчасти связанные с болезнью нашего замечательного режиссера Павла Игнатьевича Смирнова... Хочу напомнить вам, дорогие друзья, что наша школа располагается в том же здании, что и первая городская гимназия, что и поныне основной костяк народного театра - это мы с вами. 85 лет назад наши предшественники поставили и сыграли первый свой спектакль - "Грозу" Островского. Думаю, выражу общее мнение: наша задача, нет наш, долг поставить "Грозу", спустя 85 лет. И доказать, что Одоевский народный театр жив.

Все присутствующие, кроме Прокофьева, дружно аплодируют. Тот сидит, раскачиваясь на стуле, и глядит в сторону.

Прокофьев. Делайте со мной, что хотите, но я не буду играть в вашем балагане.

Рощина. И не надо. (Опять переходит на пафос). Товарищи, мне кажется, нет, я уверена: Николай Михайлович, наш талантливый и многообещающий педагог, справиться с ответственной ролью постановщика этого спектакля, которую мы ему здесь единогласно поручаем.

Прокофьев. (Впервые поворачивая голову в сторону Рощиной). Не понял...

Войтюк. Такое тебе общественное поручение, дорогой наш талантливый и многообещающий.

Прокофьев. А если я отказываюсь, что тогда?

Козлова. (Не поднимая головы и продолжая писать). Тогда вы расстанетесь с комсомолом и уже не будете вечно молодым.

Войтюк. (Подняв руку, и сразу став похожей на школьницу). Вера Ивановна, можно мне?

Рощина. Ты же председатель собрания!

Войтюк. Понятно. Слово предоставляется мне. Николай Михайлович, Коля! Поверь, это будет просто здорово. Мы давно уже и роли все распределили. Ну, почти все. Я - Варвара. Сергей Сергеевич, наш физрук - Дикой.

Филатова. Я - Глаша. Нина Ивановна - Феклуша.

Прокофьев. Кто будет играть Кабаниху, не говорите: я догадался.

Войтюк. Вера Ивановна, не поддавайтесь на провокацию. Мещанина Кулигина сыграет Евграфыч.

Прокофьев. Наш городской аптекарь? Вот это в точку. Всю жизнь эликсир бессмертия изобретает...

Филатова. Между прочим, он в народном театре уже много лет. Помнит...

Прокофьев. Неужели Преображенского?

Войтюк. Я продолжу, с вашего разрешения. Пока нет актеров на роль Бориса и... *Рощина.* Как это нет? (Показывает на Самсонова). Вот - готовый Борис.

Самсонов. (Робко). Извините, но я... У меня с детства... боязнь сцены.

Козлова. Вылечим, Петр Петрович. Партия сказала надо, комсомол ответил есть.

Прокофьев. Вот, брат Петруха, не рой другому яму, сам в ней окажешься.

Войтюк. Так, с Борисом решили. Хотя, честно сказать, у меня есть сомнения по этой кандидатуре... Остается Катерина.

Рощина. Кажется, я знаю, кто бы мог нам помочь. Нина Ивановна, ты выпускала два года назад Томочку Лазукину?

Козлова. Точно, я. *Войтюк.* И я ее помню. Хорошо стихи читала. Жаль, никак не может в театральный поступить. А девушка красивая.

Пока они говорят, Прокофьев вновь медленно поворачивает голову в их сторону.

Прокофьев. 85 лет, говорите?

Рощина. 85, Коленька.

Прокофьев. Думаете, справлюсь? А вдруг, не оправдаю вашего доверия?

Войтюк. Ты - и не оправдаешь?

Прокофьев. Ну, если вы так просите...

Филатова. Вспомнила! Томка Лазукина! Она гуляет с Виталиком Ильиным. У них через два месяца свадьба.

Рощина. Тьфу на тебя. Идиотка!

Филатова. А что я такого сказала?

Войтюк. Кажется, понимаю. Прокофьев, неужели?

Рощина. Тишина в классе! За два месяца все может измениться. Особенно если вместе репетировать.

Козлова. Ты что, Ивановна, такое говоришь?

Рощина. Что надо то и говорю. (Обращаясь к Прокофьеву). Вот увидишь, все будет хорошо.

Филатова. В каком смысле?

Рощина. Во всех смыслах. Ты, Коля, парень у нас выдающийся. Сам говорил, у тебя есть... как это? На "х" называется?

Женщины. (Хором). Вера Ивановна! *Рощина.* А что вы подумали? Коля, ты сам скажи, что у тебя есть.

Прокофьев. (Смеется). Дорогие женщины! Вера Ивановна имела в виду харизму.

Самсонов. Это что-то вроде способности очаровывать людей. *Рощина.* А я что говорю? (Прокофьеву). Считаю, Томку у Ильина ты уже отбил. (Войтюк). Ирина Леонидовна, по-моему, собрание прошло очень успешно. Завтра начнем репетировать, а сейчас закрывай заседание.

Войтюк. Торжественное собрание, посвященное... Что я несу? Совсем голову потеряла. Одним словом, по домам, народ!

Картина третья.

Явление первое.

Маленькая закусочная в центре Одуева. Все места стоячие. Прокофьев и Самсонов расположились у одного из столиков. Перед каждым из них по стакану портвейна. Из окна открывается чудесный вид на бульвар.

Самсонов. (Громким шепотом). Коля, я не буду пить эту гадость. И вообще, давай отойдем куда-нибудь в уголок. У меня такое ощущение, что все пальцем показывают.

Прокофьев. На кого?

Самсонов. На меня, разумеется. Здесь родители моих учеников.

Прокофьев. Ну и что? Им можно, а тебе нельзя?

Самсонов. Прошу тебя, давай хотя бы отойдем в сторону.

Прокофьев. Неужели тебе не нравится вид за окном? Знаешь, май и сентябрь - мои любимые месяцы. Впрочем, давай сначала выпьем. Твое здоровье, брат. (Выпивают). Хорошо. Так вот, ты

не задумывался над тем, что характер народа во многом зависит от климата?

Самсонов. Не задумывался. Я же математик, Михалыч.

Прокофьев. Понятно. Почему душа русского человека так непредсказуема. А ты посмотри на нашу погоду: март, апрель - не поймешь что, то снег и собачий холод, то припекает на солнышке. Но вот приходит май. Посмотри, Петруха, посмотри. Все цветет, но без пышности, зато так душевно, чисто. Соловьи поют. Лягушки квакают. Благодать. А погода, погода: ни жарко, ни холодно, в самый раз. "Сыплет черемуха снегом" - это ведь только русский поэт мог написать. А потом лето. Пыль, комары, жара... И вдруг - сентябрь. Боже, какой месяц! В воздухе так тихо, что видишь, как пролетает каждая паутинка. Леса - в золоте, а в синем небе - курлы - курлы, - это журавли улетают на юг...

Самсонов. Да ты поэт, Михалыч. Я ведь всегда тобой восхищался, я... Слушай, давай еще по одной?

Прокофьев. Вот таким ты мне нравишься. Кстати, с тебя причитается.

Самсонов. Согласен. А за что?

Прокофьев. Думаешь, я не вижу, как ты по Войтючке вздыхаешь? Не согласишься я на роль вашего режиссера, ты бы так и остался старой девой.

Самсонов. Неужели, это видно? Прости, а причем здесь старая дева?

Прокофьев. Кто-то предлагал еще по одной? Кстати, купи по котлетке.

Самсонов. (Возвращается с новой порцией портвейна). Художник, брат Никола, должен быть голодным.

Прокофьев. Кто тебе сказал такую чушь, математик? Художник не должен быть сытым, ибо сытость есть пресыщенность. А оставлять человека голодным, будь то художник или сапожник - преступление.

Друзья выпивают.

Самсонов. Что же я раньше сюда не приходил? Но ты об Ирочке говорил...

Прокофьев. О ком? О Войтючке? Да здесь все просто: не уломай меня Рощина, ты бы всю жизнь только вздыхал о ней. А сейчас у тебя есть шанс. Почитай, каждый день репетируем.

Самсонов. А что толку? Ты слышал, как она тогда сказала? (Передразнивает Войтюк). "У меня есть сомнения по этой кандидатуре".

Прокофьев. Ну и что? Попробуй мыслить логически, брат Петруха, и ты поймешь, что нравишься ей.

Самсонов. Ты выводил это из слов... Войтючки?

Прокофьев. Да. Продемонстрировать? Пожалуйста. Когда возникла твоя кандидатура на роль Бориса, этого робкого застенчивого человека, Ирочка решила, судя по ее словам, что ты не такой. Так? Идем дальше. Вы с ней, как я заметил, в школе только здоровствуетесь и прощаетесь, а она получается, о тебе имеет представление. И в этом представлении ты - не робкий, не застенчивый. А почему она так думает? Да потому, что просто думает о тебе. А с

какой стати красивая незамужняя девушка будет думать о холостом красавце мужчине? Он ей нравится.

Самсонов. Ух ты! Давай еще по одной. За нее. *Прокофьев.* За Войтючку?

Самсонов. Нет, за логику.

Прокофьев. А тебе плохо не будет? У нас через полчаса репетиция.

Самсонов. Мне давно не было так хорошо. Только разреши еще одно мое сомнение. Извини, я еще разочек сбегаю, потом договорю. (*Уходит. Прокофьев пристально смотрит в окно.*)

Возвращается Петр.

Прокофьев. Быстро сбежал.

Самсонов. Давай, за нас. (*Почти без паузы.*) Понимаешь, Михалыч, про нее всякое говорят...

Прокофьев. Интересно.

Самсонов. Какая-то она вся... разбитная. Курит. Ну, и... ты меня понимаешь.

Прокофьев. Знаешь, Петр Петрович, почему я не люблю вашего брата идеалиста? Всю жизнь принцесс ждете. Придумаете себе какую-нибудь фигню - и поклоняетесь ей. А живого человека разглядеть не можете.

Самсонов. Постой...

Прокофьев. Нет, это ты постой. У Ирки разбитной характер? Просто она своя, в доску, понимаешь? Когда я неделю с воспалением легких в больнице валялся, знаешь, кто ко мне из школы пришел? Рощина и Войтюк.

Самсонов. Я же не о том.

Прокофьев. А я о том, Петя. Надо не внешнее в человеке видеть, а его суть, сердце его. Какой-то недоносок один раз ее до дома проводил, потом Бог знает что наболтал, а ты слушаешь и веришь.

Самсонов. Да если бы один.

Прокофьев. Ну и что? Если ты любишь ее - какая разница? (*Говорит совсем тихо.*) У Ирины сердце золотое, Петруха. Если это сердце выберет тебя, считай, ты счастливую лотерею выиграл. (*Неожиданно умолкает и пристально смотрит в окно.*)

Самсонов. Мне это надо все обмозговать. Ты прав, я идеалист. Что ты молчишь? Смотри наша Екатерина идет. С женихом. Кстати, зачем ты его на роль Кудряша взял?

Прокофьев. А ведь мы с тобой по третьей еще не выпили. Давай на посошок, да пойдём на репетицию. Только другой дорогой.

Явление второе.

Лазукина и Ильин идут по улице, взявшись за руки. Молодой человек пытается обнять девушку.

Лазукина. Не надо, люди же кругом.

Ильин. А мне все равно. Через два месяца мы поженимся.

Лазукина. А мне не все равно. Да и на репетицию опоздаем.

Ильин. Успеем. Идти осталось - всего ничего. Давай вон за тот куст сирени отойдем. На минуточку. Пожалуйста.

Лазукина. (Слабо сопротивляясь). Виталик! (Отходят за куст. Целуются). Все, пошли.

Ильин. Слушай, Томка, сдалась тебе эта пьеса.

Лазукина. Неужели тебе не нравится играть? А по мне, так ничего в жизни лучше и нету. Я, когда дома роль репетирую, обо всем забываю: что в медучилище учусь, что папка у нас с Соней пьющий... Кстати, отчего ж ты решил тогда в театр пойти, если не нравится?

Ильин. А то не догадываешься?

Лазукина. Честное слово, нет.

Ильин. Да ладно тебе. Думаешь, я не вижу, какими глазами на тебя этот режиссер смотрит? Бабник еще тот, люди зря болтать не будут. *Лазукина.* Глупенький! Он мне пытается роль объяснить. Ты знаешь, он так много знает, я бы все слушала и слушала... Что ты насупился? Сам же сказал, через два месяца мы поженимся. (Молодые люди вновь целуются). Откуда-то из-за угла появляется Евграфыч. Он идет быстро, на ходу повторяя текст своей роли.

Евграфыч. "Вот какой, сударь, у нас городишко! Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют только по праздникам, и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать..." (Вдруг замечает парочку). Вот тебе и не гуляют, еще как гуляют. Да это ж наша Катерина.

Лазукина. Ой! (Отпрянула от Ильина). Здравствуйте.

Евграфыч. А я думал, что последний на репетицию приду.

Ильин. Мы репетируем, *Евграфыч.*

Евграфыч. Болтать-то! Ежели бы ты был Борисом Григорьевичем, тогда бы я еще поверил. А ты Кудряш. Так что пойдете-ка в Дом культуры, а то Николай Михайлович не любит когда опаздывают.

Ильин. Носитесь вы с ним, как с писаной торбой. Учитель он, может, и хороший, а режиссер никудышный.

Лазукина. Ты просто ревнуешь к нему, Виталик.

Ильин. При чем здесь это? Я ведь специально прочитал пьесу. Там о жизни русского города прошлого века говорится, а он о какой-то Древней Греции все толкует.

Евграфыч. Ежели честно, я тоже не все понимаю, но, Бог даст, в конце концов, мы все пойдем. А ты лучше роль свою учи. Мне еще Варсонофьев Виктор Фролыч, - он у нас еще до Смирнова режиссером был, говорил: "Что такое есть актер? Глина в руках режиссера. И чем глина мягче, податливее, тем актер талантливее".

Ильин. А вдруг ваш режиссер и лепить-то не умеет? Помнет, помнет он вас, талантливых, да и бросит.

Евграфыч. Злой ты, парень. Даже странно: люди от любви добрее делаются, а ты...

Лазукина. Вы его не знаете, это он из-за меня такой. Переживает.

Евграфыч. Понятно. Это только сегодня твой жених зеленый и скользкий, а так он белый и пушистый. Болеет, то есть переживает. (Быстро уходит, вновь бормоча текст). "Вот какой, сударь, у нас городишко! Бульвар сделали, а не гуляют".

Ильин. Чокнутый старик! Я вижу, славная у нас компания подбирается.

Лазукина. А мне он нравится - смешной и добрый. Хочет весь мир осчастливить.

Ильин. Ничего ты, Томка, в людях не понимаешь. Будто не по земле ходишь, а в облаках летаешь. Все эти фантазеры, все эти добрые люди - да что там - вред от них один. Надо же, глиной ему нравится быть. А я вот каменных людей уважаю.

Лазукина. Ты не понял. Он же в другом смысле. *Ильин.* А я в этом! Камень - это сила! (Крепко обнимает девушку). Все, отлеталась ты. Никуда я тебя не отпущу.

Лазукина. Пусты, Виталик, мне же больно... (После некоторого молчания). Боюсь, ты ошибаешься.

Ильин. Ошибаюсь?

Лазукина. Силой никого нельзя удержать, каменный ты мой. Надеюсь, у меня будет время тебе это объяснить... Побежали, мы уже опоздали.

Действие второе.

Картина первая.

Репетиционный зал в местном Доме культуры. На стульях полукругом сидят актеры народного театра, репетирующие "Грозу". Перед ними, думая о чем-то своем, ходит взад-вперед Прокофьев.

Прокофьев. Ну что, все в сборе?

Филатова. Тихона, то есть Лядова нет.

Прокофьев. Опять с дежурства не отпустили?

Филатова. Нет, на этот раз хуже. Соседи говорят, что запил. Брата в армию проводил, и запил.

Прокофьев. (Рощиной). Наши действия, Вера Ивановна?

Рощина. Что, у нас в Одуеве артистов больше нет? Завтра тебе такого Тихона приведу - закачаешься.

Евграфыч. Это кого Ивановна?

Рощина. Сергея Васильева, нашего участкового.

Евграфыч. Рыжий такой, косит немного?

Рощина. Да ну тебя, это пожарный косит. Участковый у нас в "Ревизоре" ЛяпкинаТяпкина играл.

Прокофьев. Все, проехали. Остальные, надеюсь, на месте?

Филатова. На месте.

Прокофьев. А чья это маленькая девочка там за сценой сидит?

Лазукина. Ой, это моя сестренок Соня. Она дома одна не хочет оставаться, вот и пришла сюда. Николай Михайлович, можно...

Прокофьев. Можно. Итак, господа актеры, у меня две новости. Хорошая и плохая. С какой начнем?

Все. (Дружно). С плохой.

Прокофьев. У нас ни черта с вами не получается.

Самсонов. А хорошая какая, брат Никола?

Рощина. С вами все в порядке, Петр Петрович?

Самсонов. Не уверен, но думаю, что да. Извините, умолкаю.

Прокофьев. У меня есть такая примета: все, что начинается плохо - хорошо заканчивается. Это меня обнадеживает.

Рощина. Вы действительно считаете, Николай Михайлович, что все началось плохо? *Прокофьев,* не отвечая ей, берет свободный стул и садится перед актерами.

Прокофьев. Думаю, прежде всего - это моя вина. У нас нет команды. Мы не единомышленники. Кто-то играет лучше, кто-то хуже, но каждый сам по себе. Как и я - сам по себе.

Войтюк. Что же делать, Коля?

Лазукина. А мне казалось, у нас начинает получаться.

Филатова. (Поет). Если долго мучиться, что-нибудь получится. *Войтюк.* Света, подожди.

Прокофьев. Знаете, что нам мешает? Вы все хорошо учились в школе.

Ильин. Впервые слышу, что учиться хорошо - это плохо.

Прокофьев. послушайте меня, пожалуйста. Чем талантливее произведение, тем многообразнее его трактовка. Вспомните школьные годы. Чацкий, Печорин, Наташа Ростова. Типичные образы выхолощивали саму суть той или иной книги, а самое печальное, мы не учились думать самостоятельно. Нет, не так: мы просто не учились думать. Признаюсь вам, сдав вступительный экзамен в институт по литературе, я поклялся больше никогда не открывать "Евгения Онегина", потому что ненавидел эту книгу. А когда недавно заболел и в больнице читать было нечего, я случайно открыл "Онегина". И не мог оторваться - чудо, а не книга. Стал читать другую классику, ту, что учил в школе. И каждая книга - открытие. Оказывается, что

горе Чацкого не от ума, а от его полного отсутствия, что Фамусов, в сущности, нормальный человек... Но вернемся к нашей драме. Мы хотим поставить "Грозу...". Прекрасно. Мы мечтаем, чтобы люди пришли в этот зал и два часа вместе с нами плакали и смеялись. Мы хотим этого или нам просто надо отметить 85-летие театра? Если хотим душевного отклика зрителей, давайте же отнесемся к драме Островского не как к догме, раз и навсегда застывшей. Забудьте, что эта пьеса рассказывает нам о трагической судьбе женщины в "темном царстве" - царстве социального неравенства и угнетения, жестокости невежества, господствующих в России еще в прошлом веке. (Обращается к Войтюк). Так ребята пишут в своих сочинениях, Ира?

Войтюк. Так. Но разве это не правильно? *Прокофьев.* Мне хочется, чтобы мы увидели другое. (Видно, что он очень сильно волнуется). Каждому от природы дается талант. Каждому. Особый талант, особый дар Катерины - она умеет любить. Она хочет любить... (После паузы). Хорошо, если в нас так сильно сидит школа - воспользуемся старым образом. Катерина - луч света в темном царстве. И вот этот луч, проникая сквозь темноту, ищет родственную душу, ищет любви. Понимаете, одна половинка души ищет вторую, чтобы стать одним целым. Если второй половинки нет, если жить придется без любви - лучик гаснет. Темное царство, как понимаю его я, - это населенное потухшими лучами пространство. Такое происходило и происходит всегда и везде - в Древней Греции и Средневековой Италии. Сделайте всех людей социально равными, зажиточными - и все равно останется темное царство - царство погасших лучей и людей. В чем драма Екатерины? Она встретила Бориса и в какой-то миг ей показалось, что вот она - вторая половинка. Прошу вас, представьте: сквозь мрак пробивается луч и с чем-то встречается. И - вспышка, озарение. Увы, это оказалась всего лишь стекляшка, валяющаяся на пыльной дороге... И лучик погас, понимаете, погас. Катерина не смогла жить без любви... (Замолкает). *Лазукина.* Я, кажется, поняла.

Рощина. Я тоже поняла. Только кого мне играть, Николай Михайлович? Супостатку, или...

Прокофьев. Мы с каждым разберем его образ. Пока же скажу, что ваш, Вера Ивановна, по важности - второй после Катерины. Не надо играть супостатку, играйте женщину, которая когда-то тоже была лучом, и который... *Рощина.* ...погас? А стекляшкой оказался Дикой. К примеру. Можно такое представить?

Прокофьев. (Радостно). Нужно. Я не хочу, чтобы вы стали глиной в моих руках или руках Островского. (Лазукина вздрагивает и переглядывается с Ильиным). Лепить надо образ, который вы будете играть. Оправдывайте своего героя, или осуждайте это ваше право. Я только буду немного помогать вам. И все. (Встает). А теперь начнем работать.

Картина вторая.

Прошло почти два месяца. На городском бульваре появляется группа людей, в которых мы узнаем Прокофьева, Самсонова, Войтюк, Лазукину и Ильина.

Войтюк. Хотите, верьте, хотите, нет, а мне уже жалко, что репетиции заканчиваются. Сыграем спектакль пару раз - и разбежимся.

Самсонов. Как это разбежимся? Я только во вкус начал входить. Попросим Михалыча что-нибудь авангардное для нас подобрать, из современной жизни.

Прокофьев. Спасибо, Ира, что напомнила. Сегодня забыл сказать. Через три дня генеральная. Всем быть в полной боевой форме.

Войтюк. Так ты нам это говорил.

Прокофьев. А вот то, что на нее приедет Заславский, я еще не говорил. *Войтюк.* А кто это?

Прокофьев. Режиссер областного театра, заслуженный деятель искусств РСФСР. Все. Ого!

Самсонов. Он нас смотреть будет?

Прокофьев. Я через друзей попросил его об этом. Заодно он должен принять решение: посылать нас на районный конкурс народных театров или нет.

Войтюк. Все будет хорошо, Коля, вот увидишь.

Прокофьев. Надеюсь.

Ильин. А у меня тоже объявление.

Лазукина. Виталик, может не сейчас?

Ильин. Именно сейчас. Мы с Томкой посмотрели: все очень удачно получается. В следующую пятницу мы в Доме культуры спектакль играем.

Войтюк. И юбилей театра отмечаем.

Ильин. Правильно. А на следующий день всей "Грозой" милости просим к нам на свадьбу. (Прокофьеву). Николай Михайлович, можно вас на минуточку? (Отходят в сторону).

Я перед вами извиниться должен.

Прокофьев. Извиниться? За что?

Ильин. (Смушенно). Думал о вас... нехорошо. Ведь о режиссерах всякое болтают. А вы - хороший человек. И играть мне у вас понравилось.

Прокофьев. Даже не знаю, что тебе ответить.

Ильин. А ничего не отвечайте. Обещаете на свадьбу придти?

Прокофьев. (После некоторого раздумья). Обещаю.

Ильин. Вот и славно. (Ко всем). Ребята, мне сейчас на завод надо, - мы новую линию монтируем. Пока. Томку не бросайте! (Пожав всем мужчинам руки и поцеловав Лазукину, уходит).

Самсонов. Мы тоже пойдем. Да, Ирочка? (Берет ее за руку).

Войтюк. Конечно. Только я сначала спрошу. Коля, у меня все одна твоя реплика из головы не идет. Помнишь, ты о Чацком говорил, что у него ума нет. Почему?

Самсонов. Ира, тебе больше спрашивать нечего? Дался вам этот Чацкий.

Войтюк. Я же литератор, как ты не понимаешь. В следующем учебном году будем с ребятами "Горе от ума" проходить. Почему я не вижу того, что видишь ты?

Самсонов. (Громко шепчет ей). Ира, неужели не видишь, что человеку сейчас не до Чацкого?

Прокофьев. (Улыбнувшись). Устал я, мой друг. Обещаю, все расскажу. Ничего от тебя не утаю.

Договорились?

Войтюк. (Подает ему руку). Договорились. Мы пойдем. Тебе Самсонов не хвастался?

Прокофьев. Чем?

Войтюк. Он меня завтра к своим везет. Знакомить будет.

Прокофьев. (Обрадовано). Да ты что! Я рад за вас, ребята, честное слово, рад. (Самсонов и Войтюк прощаются и уходят).

Лазукина. Если я попрошу вас немного меня проводить, это будет очень нескромно с моей стороны?

Прокофьев. Вообще-то у меня были другие планы...

Лазукина. Я недалеко отсюда живу, а потом вернетесь туда.

Прокофьев. Куда - туда?

Лазукина. Не делайте удивленное лицо. Я же каждый день видела вас в окне закуской.

Прокофьев. (Потрясенно). Видела?

Лазукина. А почему вы не решились ко мне подойти? *Прокофьев.* Как вы меня огорчили...

Лазукина. Вы не ответили на мой вопрос, Николай Михайлович.

Прокофьев. А если я сам не знаю на него ответа? *Лазукина.* Жаль.

Прокофьев. Жаль, что не подошел или, что не знаю ответа?

Лазукина. И то, и другое, Николай Михайлович. И кто знает, не погаснут ли два луча? Впрочем, у нас еще есть время - целая неделя. Что же вы молчите?

Прокофьев. Пять минут назад Ильин мне пожал руку и поблагодарил. Почему не спрашиваете за что?

Лазукина. Я догадываюсь. Только он сложнее, чем вы думаете.

Прокофьев. И вы - сложнее.

Лазукина. А вы - глупее, чем я думала. Или - чище. Но если наши половинки не найдут друг друга, кому от этого будет лучше? Вот видите, жизнь сложнее всех этих пьес. (Оглядывается назад). А ведь вы незаметно меня проводили. Спасибо. Вот мой дом. Забудьте все, что я сейчас говорила. Обещаете? *Прокофьев.* (Качает головой). Мой любимый дедушка говорил мне: "Внучек, никогда, никому ничего не обещай".

Лазукина. У вас был мудрый дедушка.

Прокофьев. В отличие от своего глупого внука.

Лазукина. Не обижайтесь на девочку, которая заблудилась. Лучше почитайте ей стихи.

Прокофьев. (Удивленно). Стихи?

Лазукина. Ваши любимые.

Прокофьев. У меня нет любимых. (Незаметно подходят все ближе друг к другу). Господи, что со мной? Разное настроение, разные стихи.

Лазукина. А сейчас... какое... настроение?

Прокофьев. Сейчас? (Читает).

То были капли дождевые,
Летящие из света в тень.
По воле случая впервые
Мы встретились в ненастный день.
И только радуги в тумане
Вокруг неярких фонарей
Поведали тебе заране
О близости любви моей,
О том, что лето миновало,
Что жизнь тревожна и светла,
И как ты ни жила, но мало,
Так мало на земле жила.
Как слезы, капли дождевые
Светились на лице твоём,
А я еще не знал, какие
Безумства мы переживем.
Я голос твой далекий слышу,
Друг другу нам нельзя помочь,
И дождь всю ночь стучит о крышу,
Как и тогда, стучал всю ночь.

Лазукина. (Шепотом). Мы встретились в ненастный день...

Прокофьев. Друг другу нам нельзя помочь...

Лазукина. Поцелуй меня. На прощание. Прокофьев бережно целует девушку. Внезапно она резко отпрянула - и скрылась в темноте двора.

Картина третья.

Явление первое.

Генеральная репетиция. Спектакль подходит к концу. За кулисами, готовясь к выходу на сцену, Рощина (Кабаниха), Васильев (Тихон), Евграфыч (Кулигин) и артисты из массовки. Все напряжены. Чуть поодаль - Войтюк (Варвара). Ей уже не выходить на сцену и она смотрит за кулисы. На сцене в это время закончился прощальный диалог Бориса и Катерины. Появляется Самсонов (Борис). Все кидаются к нему со словами: "Молодец", "Отлично, Петр Петрович". Войтюк прилюдно целует Самсонова. И только Прокофьев одиноко сидит в сторонке, закрыв глаза. В это время на сцене начался монолог Катерины. Все с замиранием слушают. Катерина (Лазукина). Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу все равно. Да, что домой, что в могилу!.. что в могилу! В могиле лучше... Под деревцем могилушка... как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит... весной на ней травка вырастет, мягкая такая... птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие... всякие, всякие... Так тихо, так хорошо! Мне как будто легче! А о

жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо... нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду... Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это? Ах, темно стало! И опять поют гдето! Что поют? Не разберешь... Умереть бы теперь... Что поют? Все равно, что смерть придет, что сама... а жить нельзя! Грех! Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться... Руки крест-накрест складывают... в гробу! Да, так... я вспомнила. А поймают меня да воротят домой насильно... Ах, скорей, скорей! Друг мой! Радость моя! Прощай!

Тамара вбегает за кулисы. Делает шаг по направлению к Прокофьеву, но видя, что он сидит с закрытыми глазами, останавливается.

Рощина. (Командует). Тихон и Кулигин - за мной на сцену.

Васильев. (Тихо Лазукиной). Томка, тебя искать идем. Давай выныривай.

Рощина. Разговорчики. (Себе). И почему я так волнуюсь, прямо как дебютантка. (Уходит).

Прокофьев. (Поднимаясь, идет к Тамаре). Сколько у тебя времени?

Лазукина. Минута. Меня сейчас найдут.

Прокофьев. За это время я успею сказать, что если через десять, нет, это слишком рано... Если через пятнадцать лет ты не станешь народной артисткой, я съем все экземпляры "Грозы", которые есть в районной библиотеке.

Лазукина. Вам правда понравилось?

Прокофьев. Правда. Теперь они забудут о Преображенском.

Лазукина. Спасибо. Спасибо вам, Николай Михайлович. Это все вы. (Порывается подбежать и обнять его, но в последний момент сдерживает себя. Смотрят друг на друга).

В это время на сцене произошла заминка. По сюжету Кулигин должен вытащить Екатерину из воды и передать ее Кабановым со словами: "Вот вам ваша Катерина". Но Лазукина задержалась, и Васильев (Кабанов) начинает тянуть время. *Васильев.* Жива?

Евграфыч. Кто? *Васильев.* Катерина, жена моя.

Евграфыч. Да и не пойму я что-то. А может это не она?

Васильев. Вот было бы хорошо. Погляди получше.

Евграфыч. Да темно. И без очков я. Кажется не она.

Васильев. Слава тебе Господи. А то я думаю, (опять возвращается к классическому тексту) вытащу ее, а то, как и сам... Что мне без нее! А маменька говорит, не пущу. Прокляну, коли пойдешь...

Евграфыч. А кажись она. Войтюк подбегает к Лазукиной и Прокофьеву.

Войтюк. (Кричит). Да вы что делаете!? Томка, бегом на сцену! Лазукина убегает. Через секунду-другую раздается обрадованный голос Евграфыча. *Евграфыч* (Кулигин). Вот вам ваша Катерина... Проговорив это, поворачивается и быстро уходит со сцены.

Явление второе.

Вся труппа в сборе. Это та же комната, где шли репетиции "Грозы". Но Прокофьева нет. На его месте стоит невысокий пожилой человек. Это режиссер областного театра Борис Семенович Заславский. У него своеобразная манера разговора. Когда Заславский говорит, то трет ладонь о ладонь, будто моет руки, а когда замолкает, засовывает их в карманы брюк. Рядом с ним незнакомый человек, видимо, инструктор райкома. Записывает за Заславским.

Заславский. Голубчики, милые мои, как же вы меня порадовали. А где Прокофьев? Я хочу его обнять.

Войтюк. Ушел он.

Заславский. Не понимаю. Как это ушел? Я приехал, а он ушел? *Рощина.* (Поднимаясь). Борис Семенович, он просто перенервничал. Переживал очень сильно, видно, сердце и прихватило.

Заславский. Вот оно что! Понимаю, понимаю. Меня самого после первого в жизни прогона, когда комиссия обсуждала мой дебют на сцене, еле отпоили. Передайте ему: все отлично. Спектакль хороший, нет, даже замечательный. (Собравшиеся зааплодировали). Конечно, шероховатостей было немало, но, думаю, мы вместе с ним все подчистим, и к зональному смотру вы будете готовы на сто процентов. (Раздается гром аплодисментов). Нет, это я вам должен аплодировать.

Евграфыч. Это мы еще волновались. Сколько лет, считай, не играли.

Заславский. Понимаю, понимаю. Признаюсь, в самом начале я насторожился. Вроде бы - "Гроза", Островский, русская классика, и вдруг - греческие мантии. Думаю, решили в Одуеве меня авангардизмом попотчевать. Оказалось, нет: реализм, настоящий реализм, но как свежо поданный! Прекрасный, прекрасный замысел: приподнять трагедию, произошедшую в маленьком русском городишке 19 века до вселенского масштаба. Помните, у Бредбери: погибла одна бабочка - изменился ход истории. А Древняя Греция - это же эталон, это истоки. Красная мантия Екатерины, черная Кабанихи, серая - Тихона - это прекрасно, прекрасно... Так, теперь по персоналиям. Кабаниха. Где Кабаниха? Видно было, что волновались.

Рощина. Было такое.

Заславский. Первый выход - поплыли немного, но потом собрались и взяли себя в руки. Молодцом! Да, и еще: умеете слышать партнера. Это и у профессионалов редкость.

Рощина. (Смущенно). Спасибо за добрые слова, Борис Семенович. *Заславский.* Кабанов. (Васильеву). Из ансамбля выпадали, что есть, то есть, но экспрессии много. Работайте - и все будет хорошо. *Васильев.* В смысле, в милиции?

Заславский. В смысле, над образом. А то, что с Кулигиным... Здесь Кулигин? Что импровизировали с Кулигиным в конце - просто здорово. Можете садиться. Кулигин. Старательности много, виден опыт. Есть пафосность - сейчас это не приветствуется, все-таки в конце двадцатого века живем, - а так неплохо.

Евграфыч. Я воспитанник старой русской школы.

Заславский. Понимаю. Варвара. Кем вы работаете?

Войтюк. Учителем. Преподаю литературу и русский язык.

Заславский. Прекрасно, Варвара. Если захотите сменить профессию, приезжайте в мой театр, что-нибудь для вас придумаем. Так, дальше. Кудряш и Борис. Потенциал вижу, но пока оба зажаты. Учитесь у Феклуши. (Козлова встает и кланяется). Вот подлинно народный тип. Органична и естественна... А теперь пусть ко мне подойдет эта девочка. (Все смотрят на Лазукину. Тамара встает). Нет, иди, иди сюда. (Девушка подходит. Не без театрального эффекта Заславский целует ее в лоб). Если ничего экстраординарного не произойдет, после зонального просмотра мы увидимся. Варвара еще может выбирать, ты выбирать не должна. Сцена - твое призвание. Отныне и навсегда.

Лазукина. Я два года пыталась поступить, но...

Заславский. Теперь это не твои проблемы. Честное слово, увез бы тебя сегодня, но у вашего театра впереди премьера и зональный конкурс. Не сомневаюсь, товарищи, в вашем успешном выступлении. Ну, а теперь мне пора. До свидания. (Он и сопровождающий его чиновник уходят. Как только за гостями закрывается дверь, раздается громовое "Ура!").

Действие третье.

Картина первая.

Вечер. Комната в квартире Прокофьева. Играет музыка. Это Моцарт. Николай Михайлович сидит на кресле и читает книгу. Раздается стук в дверь. *Прокофьев.* Открыто! (Входят Войтюк и Самсонов. Прокофьев встает, захлопывает книгу, но музыку не выключает).

Войтюк. Добрый вечер, Коля.

Самсонов. Привет!

Прокофьев. Не ожидал. Но приятно. Куда бы мне вас посадить? Так, Ира - на мое место, а мы с Петрухой на кровать сядем. Чаю хотите? Или что покрепче?

Самсонов. Спасибо.

Прокофьев. Спасибо - да, или спасибо - нет?

Войтюк. Спасибо - нет. Что случилось, Коля?

Прокофьев. Жаль, а то у меня есть еще бутылочка чудесного хереса, - друг из Крыма привез.

Самсонов. Я думал, ты предложишь портвейн.

Прокофьев. Деревня ты, Самсонов, деревня. Не обижайся. Уметь пить - это искусство, - это обряд. Твое счастье и одновременно беда в том, что ты спонтанный человек. А я - обрядовый. Мне важна традиция, тебе нравится новизна. Попробовал портвейна, понравилось, теперь будешь пить его, пока язва не прихватит. Полгодика побережешься, вкусишь водочки - и втянешься, как миленький.

Войтюк. Пусть только попробует.

Прокофьев. А вот это неправильно, Ирина Леонидовна. Запретный плод сладок. Научкой доказано: у подкаблучников риск стать алкоголиками, увеличивается в три, нет, в четыре раза. Или в пять.

Войтюк. Ты это серьезно?

Прокофьев. Вполне. Представь картину. Неделю твой суженный в рот не берет, но только ты за порог, например, к маме на два денька, - и он в стельку.

Самсонов. Ирочка, не слушай его. "Ему важна традиция". Причем здесь это?

Прокофьев. (Пожимая плечами). А при том, деревенский мой дружок, что у каждого напитка свой характер. Уважь его, и он уважит тебя. Не веришь? Ладно, пока я жив, учись и запоминай. Водочка хороша в хорошей компании, холодным зимним вечером, когда никуда не надо спешить, а на столе - соленьючки огурчики, грибочки и селедочка.

Войтюк. Ты так расписываешь, что у меня даже слюнки потекли.

Прокофьев. Правильно, ибо это хорошо и душе и телу. Вот кстати главный признак того, что человек понял характер напитка. Но идем дальше. Пиво. Отдых на природе. Старые друзья, случайно встретившиеся на улице. Футбольный матч, которого ты ждешь целую неделю. Портвейн - это незнакомые люди вокруг. Тебе нет до них дела, им до тебя. Максимум демократии, минимум снобизма. Закуска символическая. А вот коньяк - это душевный разговор. Чем старше коньяк, и мудрее твои собеседники, тем более счастливым ты будешь.

Войтюк. Прокофьев, а что ты про шампанское скажешь?

Прокофьев. Лично я его не люблю: оно мне напоминает о соблазненных девушках, а следовательно, пробуждает угрызения совести. Сейчас я позволяю его себе только один раз в год - когда часы двенадцать бьют. (Последнюю фразу Прокофьев пропел). Все, ребятки, лекция закончена.

Самсонов. Коля, а когда пьют херес?

Прокофьев. (После паузы). Когда спадает дневная жара и ты возвращаешься в пустой дом, где тебя никто не ждет. Только книги и Моцарт. Раньше тебе этого вполне хватало, а сейчас ты вдруг почувствовал: этого мало. Хочется...

Войтюк. Любви?

Прокофьев. Мысль изреченная есть ложь. Моцарт - это тоже любовь. Есть то, что нельзя выразить словами. Тогда берешь бутылочку хереса, ставишь пластинку - и улетаешь. Из этого дома, из Одуева... (замолкает).

Войтюк. (Тихо). Красивая музыка. Что это?

Прокофьев. Симфония №40 соль-минор. Мольто аллегро. Только не надо меня жалеть. Хорошо?

Самсонов. Коля, прости за прямоту: ты сейчас пьешь, потому что Тамара через три дня выйдет замуж за Ильина?

Войтюк. Петя!

Самсонов. Петя, Петя. Думаешь, кто-то не понял, что Коля имел в виду, когда о двух половинках душ рассказывал?

Прокофьев. (Удивленно). Неужели все? И даже Ильин? *Войтюк.* Уж он то в первую очередь.

Прокофьев. Теперь понятно.

Войтюк. Что - понятно?

Прокофьев. Очень красивая музыка, правда? Фантазия - ре минор. И кто это назвал Моцарта беззаботным человеком? Кстати, други, я в последний раз вам херес предлагаю.

Самсонов. Вообще-то мы пришли рассказать тебе о том, что было после спектакля.

Прокофьев. А я уже все знаю. Ко мне перед вами Рощина заходила.

Войтюк. Понятно. Тогда мы пойдем. Надеюсь, к премьере ты перестанешь киснуть под музыку Моцарта. Да и хереса у тебя не останется.

Самсонов. Коля, говоришь крымский херес?

Прокофьев. Что ни на есть массандровский.

Войтюк. Ну, если немного. По стаканчику. (*Прокофьев* разливает).

Прокофьев. Извините, с закуской не густо.

Самсонов. Ничего, у нас Моцарт есть.

Войтюк. А нельзя поставить что-нибудь более современное?

Прокофьев. Нельзя. Ваше здоровье. (*Выпивает*).

Войтюк. Почему?

Прокофьев. Начнешь приставать.

Войтюк. К кому?

Прокофьев. К обоим.

Войтюк. Шутник. И вообще, вы мужики только языками трепать умеете. Сидит, переживает. Пошел бы, набил этому Ильину морду.

Самсонов. А дальше, что?

Войтюк. Мы, женщины, решительных любим, понятно? Поступок нужен. А в морду - это то, что надо.

Самсонов. А ты оказывается агрессивная.

Войтюк. Это вы - тряпки. *Прокофьев*, у тебя еще два дня. Это же уйма времени! Целая вечность! Нет, он будет сидеть и оплакивать себя.

Прокофьев. (*Неожиданно тихо*). Я не себя оплакиваю, Ирочка. *Войтюк.* Кого же?

Прокофьев. Тамару. Тому Лазукину. *Самсонов.* Не понимаю.

Прокофьев. Когда сегодня начался прогон, я сел за кулисами. Не скрою, волновался очень. Закрыв глаза - пусть, думаю, что будет, то и будет. А вы молодцы. Я уже решил после первого

действия в зал спуститься... и вот - первый выход Лазукиной. Первые слова Катерины... (Умолкает).

Войтюк. Что ты замолчал, Коля?

Прокофьев. Не знаю, как объяснить. Я же сам ни раз от Томки эти слова слышал. Все нормально было, - когда лучше, когда хуже. А тут вышла - будто скрывала Томка что-то в себе, и - выплеснула. Не обижайся, Ира, вы все играли хорошо, чудесно играли, а она жила на сцене. И я забыл, что передо мной Томка Лазукина, что это я ей какие-то советы давал, даже пытался учить чему-то. У нее Божий дар, ребята, понимаете? Божий дар.

Самсонов. Так что же в этом плохого?

Прокофьев. Он просто так человеку не дается. Дело не в том, увезет к себе Томку Заславский или он просто потрепался перед вами. После сегодняшнего прогона это уже не та Лазукина, которую мы знали раньше.

Войтюк. Я согласна с Петром. Что плохого во всем этом?

Прокофьев. Если ты успела заметить, Господь Бог или Судьба, или еще кто, людям счастья примерно поровну дает. Одним - чуть больше, другим - чуть меньше - это не в счет. Это сильнее любого наркотика, чувствовать, что от произнесенного тобой слова люди смеются и плачут. Другой бы хотел - да не может. А Томка, как птица. Между дел пропела птичка песенку, а мир возьми, да замри. Мы слушаем, и про все забываем. Но Томка - человек. И ради этого дара она не только мной жертвует, но и Виталиком. И даже детей не захочет - лишь бы не переставать служить ей.

Войтюк. Сцене?

Прокофьев. Сцене. Для нас, повторяю, это игра. Для нее - жизнь. *Самсонов.* Понял, наконец. Хочешь сказать, в чем-то Томка будет очень счастлива, а в чем-то...

Прокофьев. Я хотел бы ошибиться. Но в любом случае, в этой маленькой комнате ей не жить. Мне достаточно книг, Моцарта, бутылки хорошего вина, а ей этого будет мало.

Войтюк. Коля, а почему не может быть так: Томка станет звездой, будет играть где-нибудь в Москве, в знаменитом театре, а ты - ее спутник, друг, муж.

Самсонов. Правильно. Ты себя недооцениваешь. Станешь журналистом или Войтюк. И дети у вас обязательно будут. Ты же кого хочешь, уговоришь. В гости друг к другу ездить будем.

Прокофьев. (Подзывает их к себе). Идите, я обниму вас. Милые и хорошие мои друзья. Этого всего не может быть. Ни-ког-да!

Самсонов. Но почему?

Прокофьев. Беда моя в том, что я - эгоист. А еще собственник. Мне не нужна звезда, которая светит всем. Пусть это будет лампа, пусть свеча, но только бы она светила только мне. Понимаете? И каким бы я ни был писателем, для всех я останусь мужем звезды, участь которого - ревновать ее к режиссерам, партнерам, поклонникам. Вот почему, добрые мои, сегодня я прощался - с Томкой Лазукиной, красивой девушкой из медучилища, участницей Одуевского народного театра, будь он неладен... (Прокофьев схватил книгу и кинул ей в проигрыватель. Музыка прервалась. Наступила тишина, которая продолжалась очень долго.

Ира и Петр тихо поднялись и молча направились к выходу).

Картина вторая.

Та же комната. Прокофьев подходит к книжной полке.

Прокофьев. Погадать что ли? Что было, что будет, чем сердце успокоится. Закрывает глаза. (Достает наугад книгу и открывает ее). Так. Значит Заболоцкий. (Читает).

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал во сне металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.
Я почуял сквозь сон легкий запах смолы,
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.
Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!
В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя Бог, можжевеловый куст.

Интересно. Чтобы это значило? "Да простит тебя Бог, можжевеловый куст". Ставит книгу на место. Раздается звук подъезжающего мотоцикла. В комнату вбегает Тамара. Чуть позже в дверях появляется Ильин.

Лазукина. (Плача). Николай Михайлович, миленький, все пропало. Это конец! (Бросается к нему). Мы погибли! Они погибли! Господи, сделай так, чтобы это было сном. Господи... (Начинает бегать из угла в угол).

Прокофьев. Ничего не понимаю. Что случилось? Тамара, почему у тебя одежда в грязи? С мотоцикла упали?

Лазукина. (Будто повторяя заклинание). Пусть это будет сном, пусть это будет сном...

Прокофьев. Заклинило. Виталий, может ты объяснишь?

Ильин. (Глухо). Мы катались... на староргородском шоссе. Томка попросила... ну, чтобы самой повести мотоцикл. И ехали вроде бы тихо...

Лазукина. (Продолжая рыдать). Они откуда-то со стороны Слободки появились. Я в другую сторону, а они туда же.

Прокофьев. Они - это кто?

Ильин. Мальчишка лет пятнадцати на велосипеде... А девчонка сзади сидела. (Закрывает лицо руками).

Прокофьев. Они живы? Ты их в больницу отвез?

Ильин. Насмерть.

Прокофьев. Господи! *Лазукина.* Николай Михайлович, Коля, миленький, что нам делать? У меня сегодня словно крылья за спиной выросли. Когда режиссер этот к себе позвал, - на седьмом небе от счастья была. Ну, почему, почему...

Прокофьев. Успокойся. Ты же сама сказала, что они на большак сами выскочили. Конечно, если бы за рулем Виталий был... Кстати, милицию вызвали?

Ильин. Там никого не было. Глухое место.

Прокофьев. Хочешь сказать, вы детей оставили там?

Ильин. А чем мы могли им помочь? Я подумал... может, не узнает никто? *Лазукина.* Николай Михайлович, как вы думаете, может и правда - не узнает?

Прокофьев. Вы сами еще дети. Во-первых, вас могли видеть. Какая-нибудь бабушка из Одуева в Слободку возвращалась и...

Ильин. (Перебивает). Точно никого не было. *Лазукина.* А что во-вторых?

Прокофьев. Городок наш маленький, мотоциклов вообще раз два и обчелся, а уж таких крутых как у тебя...

Ильин. А если его в реку, а в милиции сказать, что угнали. *Прокофьев.* Нет, думаю, это не пройдет. Раньше или позже, но все откроется. (Молчит, размышляя). Нехорошо, что вы уехали с места, нехорошо. А вдруг, кто-то из них был жив?

Ильин. Николай Михайлович, не дышали они. Точно.

Лазукина. (Прокофьеву). Что же делать? Вы... ты для меня, как ангел - хранитель. Ты все можешь. Придумай что-нибудь! (Бросается ему на шею).

Прокофьев. (Гладит ее по спине). Да, почему это не сон? (Видимо принимает какое-то решение: отстраняет девушку, одевает куртку). Ключ. *Ильин.* Что?

Прокофьев. Дай ключ от мотоцикла. *Лазукина.* Зачем?

Прокофьев. Ты же просила что-нибудь придумать. Вот я и придумал. (Ильину). Скажешь, что встретили меня у городского сквера... Нет, потребуются свидетели. Лучше так: приехали ко мне в гости, я захотел покататься, взял мотоцикл и уехал. Вы ждали меня часа два, но так и не дождались. Сейчас у нас полдвенадцатого. Без двадцати двенадцать, не дождавшись, заперли квартиру на ключ... Кстати, бросишь его в почтовый ящик... И ушли по домам. (Лазукиной). У тебя есть еще десять минут. Умойся. Придешь домой - это платье выброси от греха подальше. Ну, ладно, давайте прощаться.

Лазукина. Коля...

Ильин. А может, как-то по-другому, Николай Михайлович?

Прокофьев. Ничего другого я придумать не могу. *Лазукина.* Коля...

Ильин. Николай Михайлович, вы скажите, что они... мальчишка этот, сам правила нарушил.

Прокофьев. Хорошо. Обойдемся без громких слов. Счастья вам.

Лазукина. Пстой. Ты самый... лучший на свете. Слышишь? *Прокофьев.* Кто бы в этом сомневался. Ну, ладно, пока. Минуту спустя, раздается звук отъезжающего мотоцикла. Лазукина и Ильин застыли, каждый на своем месте. Занавес опускается.

Картина третья.

Служебная комната в следственном изоляторе. В ней только *Рощина*. Открывается дверь, милиционер вводит Прокофьева. У него под глазом синяк. Николай и Вера Ивановна устремляются навстречу друг к другу, но останавливаются. Милиционер. (Прокофьеву). Подследственный, вам разрешается свидание. Десять минут. (Рощиной). Вера Ивановна, только ради вас. (Вздыхая). Ну и времечко настало! Какие выродки наших детей учат. (Уходит). *Рощина.* Ну, здравствуй.

Прокофьев. Здравствуйте, Вера Ивановна. *Рощина.* Я так и знала, ни к чему хорошему твоя жизнь привести не могла. Что молчишь? Ты никогда за словом в карман не лез. Ох, и натворил ты бед! (Замечает синяк). Откуда это?

Прокофьев. Праведный гнев народных масс. *Рощина.* Тебя били?

Прокофьев. Пустяки, один лейтенант приложился. Девочку могли бы спасти, если бы... я не уехал. Она еще десять минут жила. (Кусает губы). Спасибо, что пришли. Я пойду.

Рощина. Вот этого я не могу понять. Как ты мог уехать, как мог их там бросить? Что голову опустил? Стыдно? А как мне теперь людям в глаза смотреть? Как? Нет, ты не отворачивайся, жалкий трус. Я своей любимой подруге, маме твоей, когда она умирала, поклялась, что человеком тебя сделаю. Выучу, женю, на ноги поставлю. Поставила. Что, оказывается женщину круглой душой легче назвать, чем за свою вину отвечать? Что молчишь?

Прокофьев. Выходит, легче. *Рощина.* Ты хоть понимаешь, что натворил? Не отворачивайся. Я хочу в глаза твои посмотреть, как весь город завтра на суде будет в мои смотреть и спрашивать меня, как я такого подонка вырастила. (Прокофьев поднимает глаза и смотрит на Рощину, смотрит долго. Вдруг она отшатнулась). Это... это не ты сделал?! Коля. Не молчи. Не молчи. Ответь мне. Ты плачешь? Господи, да что же это. Я... да я сейчас весь Одуев вверх тормашками подниму, я к начальнику милиции пойду, приведу его сюда, ты все расскажешь. Всю правду. (Идет к дверям, чтобы позвать милиционера).

Прокофьев. Не надо, мама.

Рощина. (Остановившись и медленно обернувшись). Что ты... сказал?

Прокофьев. Не надо, мама. Я прошу тебя, любимая моя. Это действительно был не я, но об этом никто, слышишь, никто не должен знать. Пообещай мне. *Рощина.* Ильин с Томкой... Нет, ничего я не буду обещать.

Прокофьев. Помнишь, когда мне восемь лет было, я на спор пластилин съел. Вечером подскочила температура: сначала тридцать девять, потом сорок, а затем я умер. В доме крик, плач, а ты, схватила меня и как была, в легком платье, босиком побежала в больницу. А на улице минус двадцать... Помнишь?

Рощина. Нет, я в тапочках побежала, сапоги некогда было обувать. Но тапки бежать мешали, вот я их и скинула... (Прокофьев бросается к ней. Они долго стоят в объятиях, продолжая свой

разговор).

Рощина. Сыночек мой.

Прокофьев. Мама... мне страшно. (Плачет). Завтра будет суд. Родители этих детей... они придут... бедная моя мама. Я не хочу, чтобы ты там была.

Рощина. А вот этого я тебе обещать не могу. Пятнадцать лет назад ты тоже для всех умер, а я с этим не могла смириться. И я успела тогда.

Прокофьев. Не приходи. Не рви свое сердце.

Рощина. Боишься, что все расскажу? Но ведь ты мне этого никогда не простишь. Да? Молчишь. Значит, не простишь... Родной мой, не бойся. Мы с тобой сильные. Мы выдержим завтра... все выдержим.

Прокофьев. Не приходи, прошу тебя. Я один должен пройти это. *Рощина.* Завтра в зале будет море ненависти. По городу собирают подписи... Требуют... смертной казни для тебя... Завтра ты будешь смотреть в мои глаза... И мы будем разговаривать друг с другом.

Прокофьев. Ты же знаешь, дорогая моя, это невозможно.

Рощина. Ты сам не знаешь. Когда я бежала с тобой на руках по пустынному замерзшему Одуеву, то разговаривала с тобой. И ты услышал меня, потому остался жив. И никто не убедит меня в том, что ты выжил только благодаря уколу в сердце. Никто. И завтра ты услышишь меня, услышишь, как стучит мое сердце.

Прокофьев. Дорогая моя. Хорошая. Ты будешь... ждать, если... если...

Рощина. Буду. А если приговорят... тогда не обессудь, хоть прокляни меня - все расскажу.

Прокофьев. (Ласково гладит ее по голове). А я скажу, что все это ты придумала. Кто в нашем Одуеве не знает, что ты заменила мне мать.

Рощина. Думаешь, не поверят? А Ильин, а Томка... они подтвердят.

Прокофьев. Наивная, добрая моя мамочка.

Рощина. Ты считаешь, они смогут спокойно жить после этого?

Прокофьев. Не знаю. Сейчас меня волнуешь только ты... Обещай мне, что обязательно дождешься меня.

Рощина. Только ради этого я буду теперь жить. Прокофьев опускается на колени.

Прокофьев. Прости меня... Если сможешь. За боль эту, за все... (Оба плачут). Заходит милиционер.

Милиционер. Все, свидание закончено. Подследственный Прокофьев на выход. Вы что, не слышите меня? На выход, я сказал.

Рощина. Не кричите на моего сына, прошу вас. Милиционер. Вера Ивановна, не положено. Да и какой он вам... простите. Я приду через...

Прокофьев. (Поднимаясь). Не надо Лучше сейчас. (Идет к двери, все время оглядываясь на Рошину. У дверей он останавливается). Мама, скажи что-нибудь на прощание.

Рошина. (Неожиданно твердым голосом). Ты принял решение. Будь сильным. (Прижимает руки к сердцу). Пока оно бьется, ты здесь, сынок. Конец первой части.

Часть вторая.

Действие четвертое.

Картина первая.

Прошло пятнадцать лет. Кабинет директора школы *Войтюк*. Она разговаривает по телефону. После стука в дверь входит *Прокофьев*. В руках у него две большие сумки.

Прокофьев. (Несмело). Здравствуйте! *Войтюк.* (Продолжая говорить по телефону, показывает ему рукой, чтобы он подошел поближе). А я сказала, что не дам больше ребят. У них экзамены на носу... Причем здесь патриотизм? Понятно, понятно. Вы то же самое отделу культуры скажите, они там за это деньги получают. Нет, Галина Ивановна, не за патриотизм, а за культуру, которую должны в массы нести. А то, чуть кто приезжает, выручайте, Ирина Леонидовна, пусть ваши ребята выступят... В доме культуры куча кружков на бумаге числится, а работает одна Филатова - в свободное, заметьте, от работы время. Сама и костюмы шьет, и новые песни по деревням ищет. Вы бы замолвили словечко, премию ей хоть какую выбили... Понятно, понятно. Портнов и Ильин крупного инвестора везут. Ну и флаг им в руки. Пусть на завод его сразу и везут. Холуйствовать зачем? Сколько можно бисер перед ними метать? А вот кричать не надо. Ой, уже испугалась. Хоть сейчас, только много ли ты найдешь охотников на мое место... Правильно вам сказал один человек когда-то. Да так, ни о чем. Да пусть хоть губернатор звонит. Пока. (В сердцах бросает трубку. *Прокофьеву*). Вы чей родитель?

Прокофьев. Собственно, ни чей.

Войтюк. (Бросает взгляд на сумки). Коробейник, что ли? Подождите, когда кончатся уроки, может наши учителя что-то купят. (Начинает набирать по телефону номер. Вдруг замечает, что человек не вышел из кабинета). Я неясно объяснила? Идите, не мешайте работать. Здесь школа, а не барахолка. *Прокофьев.* Вообще-то, я хотел подарить, (После небольшой паузы), Ирина Леонидовна.

Войтюк. Подарить. Что ж это очень похва... (Трубка падает из ее рук). *Прокофьев?* Пришел? Коля! (Опрокидывая все на ходу, бросается к нему на шею). Пришел, пришел, пришел. Радость-то какая! Ты прямо с дороги? Голодный наверное? Пойдем в столовую. Нет, это правда ты? Сейчас всех наших позову... А как Самсонов будет рад. Давай ему позвоним. Он же у меня теперь в газете работает. Два учителя в семье - это голодная смерть в наше время... Почему ты молчишь? *Прокофьев.* Наслаждаюсь... твоим голосом.

Войтюк. Что, постарела?

Прокофьев. Расцвела.

Войтюк. Смеешься?

Прокофьев. Не поверишь, но я уже отвык.

Войтюк. От чего?

Прокофьев. Смеяться. Можно сказать, разучился. (*Войтюк* смотрит ему прямо в глаза). И что ты в них прочитала?

Войтюк. Врешь, *Прокофьев*. Не разучился. Не смеются только сломленные.

Прокофьев. Выходит, я не сломался? Впрочем, это не моя заслуга.

Войтюк. А чья же?

Прокофьев. Мамы *Веры*.

Войтюк. Не дождалась она, совсем немного не дождалась...

Прокофьев. Ну вот, теперь заплакала. Ураган ты, *Войтючка*. *Войтюк.* Петя называет стихийным бедствием.

Прокофьев. Точно. Прав был *Заславский*: с таким темпераментом надо было тебе в театр идти.

Войтюк. Мой театр - школа. *Вера Ивановна* меня за руку взяла и привела сюда. На следующий день после суда. А сама собрала свои вещи - и ушла. Я ей предлагала несколько часов оставить, чтобы хоть немножко на людях быть. Отказалась. И больше ни ногой в школу.

Прокофьев. Почему?

Войтюк. Может быть оттого, что когда в школу приходили подписи собирать, чтобы тебя... к высшей мере приговорить, многие подписали. Это для нее ударом стало.

Прокофьев. Не надо.

Войтюк. Что - не надо? *Прокофьев.* Ты же хотела мне назвать тех, кто тогда подписался. Не делай этого, пожалуйста.

Войтюк. Но почему? *Прокофьев.* Ира, для меня важнее то, что ты и *Петя* свои подписи не поставили. *Войтюк.* Да о чем ты говоришь? Если хочешь знать, меня все это время совесть мучила.

Прокофьев. Это еще почему?

Войтюк. Ну, как же? Не уведи я тогда *Петю*, - он ведь еще хотел хересу выпить, ничего бы и не случилось. Не сел бы ты тогда на этот треклятый мотоцикл.

Прокофьев. Что проку ворошить прошлое, *Ирина Леонидовна*? Не надо себя корить. Поверь, цепочка под названием "если бы", которая выстроилась в тот вечер, была очень длинной... (После паузы). А вам с *Петей* я благодарен: за посылки, за то, что сына *Николаем* назвали, а меня в крестные отцы записали, зато, что все эти пятнадцать лет чувствовал, что есть на свете люди, которым я дорог таким, какой я есть.

Войтюк. (Смущенно). *Коля*, вот обживешься, увидишь, таких людей очень много. *Прокофьев.* Так уж и очень?

Войтюк. Но они же есть! Ты в курсе, что "Грозу" мы так ни разу и не сыграли? *Прокофьев.* Что, и премьеры не было?

Войтюк. Сначала мы решили сыграть, чтобы тебя поддержать. И представляешь, что они тогда сделали?

Прокофьев. Они - это кто?

Войтюк. Портнов и компания выпустили афиши, в которых режиссером Смирнова объявили. Представляешь?

Прокофьев. Неужели из-за такого пустяка играть не стали?

Войтюк. Для нас это не было пустяком, Коля... Евграфыч даже говорил, что наш спектакль надо заносить в книгу рекордов Гиннеса: его вроде и поставили, а никто не видел.

Прокофьев. Евграфыч жив?

Войтюк. Жив, курилка.

Прокофьев. И все над своим эликсиром колдует?

Войтюк. Говорит, ждать недолго осталось... Нет, Прокофьев, твои актеры все молодцами оказались. Ну, почти все.

Прокофьев. Ира, опять людей на овец и козлищ делишь? Не надо этого делать. Никого не осудишь - спать будешь спокойнее.

Войтюк. При чем здесь осуждение? Я тебя не понимаю. Ведь есть очевидные вещи. Если человек подлец - то он подлец. Возьмем того же Ильина.

Прокофьев. А вот его не надо.

Войтюк. А почему? Он сейчас в Москве живет, бизнесмен известный - по телевизору их семью каждый месяц показывают - то его, то Томку. Она ведь у нас народная актриса. Слышал, наверное?

Прокофьев. Слышал.

Войтюк. (Будто вспомнив что-то). А ведь ты все верно тогда угадал. Лазукина народная, Шилова - завроно. Да, о чем я говорила?

Прокофьев. Слушай, мне пора - на работу идти надо. *Войтюк.* Как - на работу? Когда ты успел?

Прокофьев. Так я уже неделю в городе. Взял два участка неподалеку от дома, буду теперь их подметать. А по ночам подрядился детский садик сторожить.

Войтюк. А как же школа?

Прокофьев. Школа? Родная, я первым делом - в милицию на учет встал. Неужели, ты думаешь, меня Галина возьмет учителем? Если позволишь сторожем поработать - буду и этому рад.

Войтюк. Ты что такое говоришь! Да я до самого верха дойду... *Прокофьев.* До Портнова, нынешнего вашего мэра? Не знаю, сломался аз грешный или нет, но я сейчас рассмеюсь.

Войтюк. Ты прав... (Звенит звонок). Коля, у меня урок сейчас. Я отменю его. Пошли в учительскую, потом в буфет.

Прокофьев. Нет, нет, мне правда пора.

Войтюк. К нам когда зайдешь? Давай, сегодня.

Прокофьев. Не возражаю: обо всем и поговорим.

Войтюк. А что будешь пить - человек традиции?

Прокофьев. Самогонку.

Войтюк. Будет. Свойская. *Прокофьев.* Ирка, ты меня совсем заболтала. Я ведь книги по истории принес. Мне они ни к чему. Возьмите.

Войтюк. Спасибо, с радостью возьмем. Сейчас я позову Софью Викторовну... кстати, что же я раньше...

Прокофьев. Что раньше? *Войтюк.* Ничего, сюрприз это. (Кричит в дверь). Кто-нибудь, позовите Софью Викторовну. (Прокофьеву). Сейчас придет. Интересно, узнаешь ты ее или нет.

Прокофьев. Ты даже не ураган, ты - торнадо. *Войтюк.* Слушай, я же тебе про Ильина рассказывала.

Прокофьев. Господи!

Войтюк. Нет, ты послушай, толстовец.

Прокофьев. Какой я толстовец? Просто хочу ночью спокойно спать. *Войтюк.* Так вот, он единственный из всего нашего театра, кто подписался тогда за высшую меру для тебя.

Прокофьев. (Удивленно смотрит на Войтюк). Ты... ничего не путаешь? *Войтюк.* Моя мать на консервном заводе работала, вместе с Ильиным. У них тоже подписи собирали. Она сама видела, как этот... подпись свою ставил. *Прокофьев.* Может, он не понял, что подписывает. Впрочем, какое это имеет сейчас значение. Бог ему судья...

Заходит Софья Викторовна. *Софья.* Можно? Ирина Леонидовна, на ковер вызывали? *Войтюк.* (Подходит к девушке, берет ее за плечи). Вот это наша Софья Викторовна. Преподаватель истории.

Прокофьев. Приятно. Очень. То есть, очень приятно. *Войтюк.* Правда красавица?

Софья. Ирина Леонидовна... *Войтюк.* Николай Михайлович, вам эта девушка никого не напоминает? (Подражая интонации Прокофьева) : "А чья это маленькая девочка там за сценой сидит?" *Прокофьев.* Не может быть!

Войтюк. Может, Прокофьев, может. Софья Лазукина - собственной персоной. Младшая сестра нашей одуевской гордости. (Девушка покраснела). Не сердись, не сердись, золотце мое, я любя. Кстати, Николай Михайлович, в последние годы Софья Викторовна очень много общалась с Верой Ивановной. Я бы даже сказала, они дружили.

Прокофьев. Я себя чувствую подростком Маугли, который вернулся к людям. Каждое мгновение - открытие. От одних - жить не хочется, а от других на сердце теплее становится... Как красиво сказал.

Войтюк. Значит, смущен. Коля, я, наверное, зря тебе про Ильина сказала. *Софья.* Извините, а что вы сказали?

Войтюк. Я забыла, что он твой родственник... Так, вспомнили кое-что. *Прокофьев.* Пойду я. Говорят, большие люди в Одуев приезжают, поэтому аврал по уборке улиц объявили. Книги посмотрите, Софья Викторовна, может что-нибудь сгодится. А за сумками я в другой раз зайду.

Софья. Спасибо вам, Николай Михайлович. До свидания.

Прокофьев. До свидания.

Войтюк. Так мы договорились о вечере? *Прокофьев.* Конечно. (Направляется к двери).
Войтюк. Коля...

Прокофьев. Цунами. *Войтюк.* (Подходя к Софье и вновь обнимая ее за плечи). Ты не прав.
Прокофьев. В смысле?

Войтюк. Ты не можешь быть Маугли. Знаешь, почему? *Прокофьев.* Почему?

Войтюк. Ты никуда от нас не уходил, Коля. *Прокофьев.* Интересная мысль. Вечером обсудим. (Уходит).

Картина вторая.

Городской сквер. На скамейке сидит человек. Это *Евграфыч*. Слышны голоса: "Скоро приедут". "Посторонись". Чувствуется суматоха. С ней контрастирует *Евграфыч*, мечтательно смотрящий куда-то вдаль.

Евграфыч. Как говорил мой Кулигин, "какая красота в природе разлита". Вот смотри, что получается: приезжает к нам в Одуев какая-нибудь делегация, куда ее везут? Правильно, сюда везут, в городской сквер. А что еще показывать? От старой крепости только фундамент остался, вечный огонь теперь не горит - газа нету. Вот и везут гостей сюда, к дубу, который еще Ивана Грозного видел. Сила, красотища, вечность. Сколько раз я видел: приходят сюда и немцы, и японцы, и американцы всякие, им что-то объясняют, они что-то на своем басурманском наречии лопочут, а только на дуб посмотрят - и замолкают. И впрямь, чего тут объяснять. Эх, жаль, что я так поздно на свет появился. По всей Руси такие дубы стояли. А сейчас... (Машет рукой). Вон, сколько мусора под дубом раскидано. Ну, если нравится здесь пить, так хоть уберите. Завтра же опять придете, неужели в свинарнике приятно сидеть... Эх, люди! В природе красота разлилась, а от вас она куда ушла? Появляется человек с метлой. Это *Прокофьев*. Он подметает мусор и поет. Чем ближе *Прокофьев* приближается к *Евграфычу*, тем четче слышны слова песни:

Моя метла, в лесу росла,
Росла в лесу зеленом.
Еще вчера она была
Березой или кленом.

Евграфыч. А что, неплохо. Сам сочинил, мил человек? *Прокофьев.* Нет, это из старого фильма песня. "Город мастеров" называется. *Евграфыч.* Не смотрел. А о чем фильм?

Прокофьев. (Продолжая мести). В одном средневековом городе жили вольные люди. Но кончилась однажды их свобода, - покорила город черная сила. Злой герцог-горбун стал их повелителем.

Евграфыч. Покорились, значит? *Прокофьев.* А куда деваться? Впрочем, не все покорились. Жил в этом городе метельщик, тоже, кстати, горбун.

Евграфыч. Понял, они, наверное, братьями были. Только одного цыгане украли. *Прокофьев.* (Смеется). Нет. Хотя общее между ними, действительно, было: оба любили одну местную красавицу, которая ответила взаимностью метельщику. Вот герцога и бесило: почему нищего горбуна могут любить, а его, сильного да богатого - нет.

Евграфыч. Не понимал, выходит, что не в деньгах счастье. *Прокофьев.* Не понимал. Ну, а закончилось все хорошо. Метельщик поднимает восстание, герцога убивают, город вновь становится вольным. *Евграфыч.* А твой коллега, мил человек, женится на красавице... Детский выходит фильм, раз кругом одно счастье?

Прокофьев. (Тихо). Получается так. Только сначала метельщик тоже умирает: черная стрела ему в горб попадает. Все думали, что он умер, а он взял, да и ожил. И одна мудрая бабушка говорит: видно то не горб у него был... (Замолкает). *Евграфыч.* (Нетерпеливо). А что же?

Прокофьев. Крылья, Евграфыч, крылья. (Старик вздрагивает). До поры до времени сложенные.

Евграфыч. Ты, получается, знаешь меня? *Прокофьев.* А кто же в Одуеве тебя не знает? *Евграфыч.* И то верно. Меня здесь все знают. А умру, никто не заметит. *Прокофьев.* А как же эликсир? Ты это брось, *Евграфыч.* Вот увидишь: вы вдвоем всех переживете.

Евграфыч. Это с кем же? *Прокофьев.* А вот с этим дубом.

Евграфыч. Голос мне твой, мил человек, вроде бы и знаком, а не припомню. Да и не видел я тебя никогда прежде здесь с метлой. *Прокофьев.* (Начинает декламировать). "Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют только по праздникам, и то один вид делают, что гуляют..." *Евграфыч.* (Вскакивает со скамьи). Николай Михайлович! (Долго трясет ему руку. Вытирает слезы).

Прокофьев. Ну, что ты, отец, что ты. Садись, я тебя ругать сейчас буду. (Усаживает Евграфыча, а сам садится рядом). *Евграфыч.* Вернулся... Слушай, Михалыч, а я ведь до сих пор свою роль не забыл. *Прокофьев.* Я погляжу, ты с Кулигиным одним целым стал. Сидишь, философствуешь, а мусора вокруг... Пятнадцать лет назад порядка больше было. *Евграфыч.* Это ты правильно заметил. И про Кулигина в точку: и от него и от меня ничего не зависит.

Прокофьев. А люди? *Евграфыч.* А что люди? Они деньги зарабатывают. Вот сейчас какого-то немца в гости ждут. Инвестор называется. Ильин его привозит - об этом вчера наша брехаловка писала.

Прокофьев. Кто? *Евграфыч.* Газета наша местная. Раньше называлась "Ленинский путь", теперь "Одуевские вести". В каждом номере - на первой странице портрет Портнова. Отец благодетель! Люди... Закусочную снесли, хоть кто бы пикнул. Говорят, в ней раньше корчма была, сам Михаил Юрьевич Лермонтов, проезжая на Кавказ, откушивать здесь изволил.

Прокофьев. Да, такое не прощается. *Евграфыч.* Зато там сейчас, как его, супермаркет. Ильин на паях с Портновым построили. И, вообще, Николай Михайлович, ты только не обижайся. *Прокофьев.* Постараюсь.

Евграфыч. Я понимаю, ты шуткой ко мне претензии предъявляешь. А ты без шуток их предъяви другу своему, Самсонову. За что его бабу все уважают? Личность! Вот кого мэром ставить надо. Еще раньше Рощина была, царство ей небесное - личность! И заметь, обе женщины. А мужики? Прочти Петькины интервью с Портновым: "Леонид Игоревич, горожане с благодарностью отмечают... Леонид Игоревич, разрешите поздравить вас..." Тьфу!

Прокофьев. Не ругай его, *Евграфыч.* Это горький хлеб. *Евграфыч.* Так не ел бы.

Прокофьев. Может ты и прав. Только ты тоже не обижайся. Смотрю я, у вас на свободе, свободы нет совсем: Самсонов без куска хлеба боится остаться, Портнов без должности, и ты - боишься...

Евграфыч. Ничего я не боюсь. Что-то ты путаешь.

Прокофьев. А что же ты тогда на Самсонова всю ответственность перекадываешь? Когда закусную рушили, наверное, здесь, у дуба монологи Кулигина произносил.

Евграфыч. Как ты все перевернул. А что я мог сделать?

Прокофьев. Предположим, закусная была обречена...

Евграфыч. Не предположим, а обречена.

Прокофьев. (Тихо). В тюрьме мне один добрый человек молитву написал. Я ее каждый день помногу раз твердил.

Евграфыч. Не поленись, прочти еще разок.

Прокофьев. Господи! Дай мне душевный покой, чтобы принимать то, что я не могу изменить. Мужество, чтобы изменить то, что могу. И мудрость, чтобы всегда отличать одно от другого... Ты тоже личность, Евграфыч! Без тебя Одуев уже никогда не будет тем городом, который мы так любим. Но ты ошибся, когда решил, что можешь стать личностью только тогда, когда изобретешь свой эликсир... Вот, что я хотел тебе сказать.

Евграфыч. (Тоже тихо). Я хочу изменить то, что нельзя изменить? *Прокофьев.* А что можешь - не хочешь. Или боишься, оправдывая себя тем, что родился не в свое время.

Евграфыч. (Удивленно). Откуда знаешь?

Прокофьев. (Будто не слыша вопроса). У меня закусная не идет из головы, *Евграфыч.*

Евграфыч. Далась она тебе. *Прокофьев.* Неужели ты ничего не понял? Это же сакральный акт. Если хочешь, жертвоприношение.

Евграфыч. Чудно говоришь! И кого же принесли в жертву? *Прокофьев.* Тебя, меня, наш Одуев... (Взволновано). Тот дух, который жил здесь тысячи лет, и который старше этого дуба...

Евграфыч. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет... Нет, Михалыч, загнул ты. Обидно конечно, но это же только закусная.

Прокофьев. Закусная? А сколько видели, сколько слышали эти стены? Я будто воочию вижу, как в ожидании свежих лошадей здесь сидел Лермонтов. Сидел в окружении той России, которой уже никогда не будет. Гусары, мещане, крестьяне, сельские священники, титулярные советники. Менялись поколения, постоянный двор стал гостиним двором, потом трактиром, чайной, и уж после этого - закусной...

Евграфыч. Постой, Николай Михайлович, я все понимаю. Выразить не могу, но понимаю. Правильно, дух! Ты ведь не помнишь то время, а я еще застал. Ведь тогда пьянства не было: люди шли с работы, заходили в чайную, кто хотел - пил чай с баранками, а кто и рюмочку пропуская. Про жизнь говорили... чего только бывало не услышишь...

Прокофьев. ... Теперь там стоит супермаркет, где ты можешь купить бутылку водки и спокойно

пойти домой, чтобы выпить ее у телевизора. *Евграфыч*. А еще раньше...

Прокофьев. Остановись, *Евграфыч*. О том, что было раньше, мы можем говорить часами. Давай лучше вспомним, что произошло совсем недавно. У нашего краеведа Белова было очень сильное желание написать гневное письмо и собрать подписи, чтобы не трогали закусочную. Все-таки памятник архитектуры. Но потом он вспомнил, что Самсонов все равно ничего не опубликует, да и Портнов нет-нет, да и подкинет денег на музей. Самсонов ждал писем от народа, приходя домой, ругался: говорил, что сейчас никому ничего не надо. А сам ничего не написал. Но сдается мне, что самый эффектный замысел был у тебя. *Евграфыч*. Точно. Хотел прийти к закусочной и лечь под бульдозер. А потом представил, как это будет выглядеть со стороны. Глупо. И смешно. (Встает). Сейчас мы могли бы пойти туда и отметить твоё возвращение... *Прокофьев*. Ладно. Пойду работать. Я был рад тебя увидеть, *Евграфыч*. Но - метла зовет. (Уходит).

Евграфыч. Русский дух, русский дух. А может, он еще у нас остался - дух этот. Я понимаю, Михалыч, ты припугнуть меня решил. (Поднимается). Нет, одним супермаркетом нас не возьмешь. (Дубу). Ты, старик, и не такое видел. А то супермаркет! (Уходя). Хотя... жалко закусочную.

Картина третья.

Тот же сквер, но в другой его части. Прокофьев вновь орудует метлой. Приближаясь к нему, идут два человека. Это Портнов и Ильин. *Ильин*. Смотри, Леонид Игоревич, еще метут. Через час немцы приезжают, а вы еще марафет наводите. Куда это годится?

Портнов. Тебе легко говорить. За всем приходится самому смотреть. Чуть что упустишь...

Ильин. (Перебивает). Извини, Леонид Игоревич, но это твои проблемы. Я же не рассказываю, чего мне стоило к вам этих ребят привезти. Они серьезные люди, понимаешь? Водкой и икрой здесь не обойдешься. И если кроме этого сквера вам гостей вести некуда, так вылизывайте его. Или и на это уже денег нет?

Портнов. Приму к сведению, Виталий Сергеевич. (Подходят к Прокофьеву. Портнов, не поздоровавшись, обращается к нему). Давай шустрее, браток. Чтоб через десять минут здесь все блестело. Ты меня понял? (Собирается вести Ильина дальше, но вдруг оборачивается). Слушай, браток, ты новенький, что ли? Не припомню я тебя. Хотя лицо вроде знакомо...

Прокофьев. Ты?!

При этих словах ушедший вперед Ильин вздрагивает и останавливается. *Прокофьев*. (Продолжая). Я.

Портнов. Вернулся, значит? Ты остановись, я с тобой разговариваю. *Прокофьев*. Так ведь через десять минут все должно блестеть.

Портнов. Ты смотри, а гонору не поубавилось. (Ильину). Виталий Сергеевич, не узнаешь? Твой знакомец. Режиссер - постановщик, япона мать. У другого не хватило бы совести вернуться туда, где людям столько горя принес, а этот... *Ильин*. Леонид Игоревич.

Портнов. Подожди, Виталий Сергеевич, сейчас пойдем. Только скажу этому подлецу пару ласковых. (Подходит вплотную к Прокофьеву). Слушай меня и запоминай. Даю тебе три, нет, два дня, чтобы ты из моего города убрался. Ты оценил мое великодушие, подонок? Если через два дня я узнаю... *Прокофьев*. (Прекращает мести). Не узнаешь.

Портнов. Вот как? И почему же? *Прокофьев.* (Очень спокойно и твердо). Потому что я убью тебя. Уже завтра. *Портнов.* (Отшатываясь). Что? Что ты сказал? Повтори. *Прокофьев.* Повторяю. Я убью тебя, *Портнов.*

Портнов. (Ильину). Виталий Сергеевич, этот тип мне угрожает. (Прокофьеву). Влип ты, приятель. Сегодня же в родные места этапом отправишься. *Прокофьев.* (Вновь начинает мести). Как не понять? Только ты забываешь, Портнов: я же рецидивист - почти половину жизни небо в клетку видел. Тянет меня обратно, тянет. Но держать слово там хорошо учат. А значит, ты все равно покойник. Дружки за меня, товарищи - недоделанное завершат. (Остановившаяся). Ты это понял, подонок?

Портнов. (Видно, что он напуган). Я... я мэр этого города. *Прокофьев.* Мы все в этом мире кем-то были, Леонид Игоревич. Ты - секретарем райкома, я - порежиссерствовать успел. И то и другое - смешно... Только Господь знает, что с нами завтра будет. Как там у Бродского: входишь в спальню, вот те на: на подушке ордена.

Портнов. Не понял. *Прокофьев.* А что здесь понимать? Ну, если ты Бродского не понимаешь, я тебе Светлова процитирую: новые песни придумает жизнь, не надо ребята о песне тужить. *Портнов.* (Немного приходит в себя). Значит, песня - это я? *Прокофьев.* Почему только ты? И я, и вот - Виталий Сергеевич. У каждого своя песня, но рано или поздно - она заканчивается. (Вновь начинает мести). И уже другой мэр будет говорить: мой город.

Портнов. Нет, я это так не оставлю... *Ильин.* Оставишь. Человек отбыл в заключении пятнадцать лет и теперь имеет право жить там, где захочет. Иди, Леонид Игоревич, я поговорю с Николаем Михайловичем - и все улажу.

Портнов. (Возмущенно). Николай Михайлович, иди... Виталий Сергеевич, почему ты... вы мне указываете? Я мэр города.

Ильин. Я знаю кто ты, а ты знаешь, почему указываю. Иди, готовься к встрече. (Портнов уходит). Здравствуйте, Николай Михайлович. Очень рад, что вы вернулись. Сегодня же позвоню жене, она очень обрадуется. *Прокофьев.* Здравствуйте, Виталий Сергеевич. Передавайте привет Тамаре Викторовне. А сейчас, извините, я должен работать. *Ильин.* Я понимаю... Буквально на днях Томочка приедет в Одуев. Театральный сезон заканчивается. Мы обычно с ней летом в Европу выбираемся, - я на пару недель больше дела не позволяют, а она там подольше задерживается. Но в этом году Томочка решила в Одуеве погостить. Надоели, говорит, все эти заграницы. *Прокофьев.* Понимаю.

Ильин. Да. Так вот, хорошо бы нам встретиться, посидеть... *Прокофьев.* Зачем?

Ильин. Мы с Томочкой действительно все эти годы очень переживали. И всегда... всегда умели помнить добро. (Более уверенным голосом). Кое-чего в жизни мы добились. Своим трудом, а Томочка - и талантом. Но без вас, Николай Михайлович... я же все понимаю. Портнова не опасайтесь. Он действительно трус. Но если захотите, я помогу вам перебраться в Москву, устроиться там. Если деньги нужны - скажите только. И вообще, метла - не для вас. *Прокофьев.* А по мне - в самый раз. Виталий Сергеевич, давайте раз и навсегда договоримся: вы мне ничем не обязаны, ничего не должны. Если считаете, что жизнь у вас удалась - я рад за вас. За то, что хотите помочь - спасибо. Только... я как-нибудь сам. Не обижайтесь.

Ильин. Хорошо. Но почему мы не можем просто общаться, как прежде? Если, конечно, все ваши слова о том, что вы рады за нас - искренни. *Прокофьев.* Ты всегда был хорошим психологом, Виталик. Я повторяю, вы мне ничем не обязаны, пятнадцать лет назад я

действительно сам сделал свой выбор. А вот насчет общения... Стоит ли общаться процветающему московскому бизнесмену и народной артистке России с простым одуевским дворником? *Ильин*. Все-таки гложет вас обида, Николай Михайлович.

Прокофьев. Без церемоний Виталий: с мэром на ты, а мне зачем "выкаты"?

Ильин. Да ради Бога. Могу и на "ты". Только суть от этого не меняется: "стоит ли общаться процветающему московскому бизнесмену и народной артистке России с простым одуевским дворником"... Неужели ты не понимаешь, что этими словами оскорбил нас? Хочешь, чтобы мы теперь до конца жизни с чувством вины жили? *Прокофьев*. Психолог... Сначала денег предложил, затем дружбу, теперь вот оскорбленного из себя строишь.

Ильин. Я не строю, *Прокофьев*. В отличие от тебя, я искренен в своих чувствах. *Прокофьев*. Интересно, почему в анекдотах "новых русских" такими тупыми представляют? "Я искренен в своих чувствах" - хорошо сказано, Виталий. Но почему ты отказываешь в этом другим? В третий раз тебе повторяю: это было мое решение и я не жалею о нем. Общаться с вами не хочу, понимаешь? Говорю это тебе совершенно искренне.

Ильин. Почему? Нас ведь так много связывает. *Прокофьев*. Сейчас нас уже ничего не связывает. Не хотел говорить, но, считай, ты вынудил. Я очень нуждался в общении с вами. Там, в тюрьме. Первые лет пять все от вас письма ждал, да что письма - маленькой записки. Так и не дождался... А теперь ты можешь говорить, что угодно - и о радости своей, и о переживаниях за меня. Это все слова, Виталий Сергеевич, пустые слова, за которыми только страх. Ты же совсем не хочешь со мной общаться, Ильин. Как ты Портнову сказал: "все улажу". Вот это честно, а то все про искренность вещаешь... Не бойся, я пятнадцать лет молчал о том, что произошло, буду молчать и дальше. Ну, вот и поговорили. Мне надо работать. А то немцы вот-вот приедут. (Начинает петь).

Моя метла, в лесу росла,
Росла в лесу зеленом.
Еще вчера она была
Березой или кленом.

Ильин. (Кричит). Ты прав, прав, *Прокофьев*! Это был твой выбор. И тогда, если помнишь, я тебя ни о чем не просил. Ни о чем! Ты все решил за меня. Благодетель! Вот и мети себе на здоровье. А про страх - врешь! Тебе ли не знать, кто тогда за рулем был. Я - честный человек, и любому могу прямо в глаза посмотреть. Слышишь? *Прокофьев*. Да как не услышишь - орешь, как резанный. Чтобы тебя услышали, Виталик, не обязательно кричать. А вот про глаза - это ты здорово сказал. Будь другом, посмотри в мои и ответь всего на один вопрос. Впрочем, можешь не отвечать, только посмотри.

Ильин. Нет, я отвечу.

Прокофьев. Спасибо. Меня это действительно... гложет. (После паузы). Зачем ты подписал ту бумагу?

Ильин. Какую бумагу? А откуда... Впрочем, это неважно... Все подписывали. Короче, дураком я тогда был. Хочешь, верь, хочешь, нет, но до сих пор не понимаю, почему тогда подписался.

Прокофьев. Нет, Виталик, кем-кем, а дураком ты никогда не был... Ну, вот, кажется, домел. Прощай, *Ильин*. Оставляю тебя один на один с твоей честностью. Тамаре Викторовне - мое почтение. (Уходит).

Действие пятое.

Картина первая.

Уже знакомая зрителям комната Прокофьева. Он сидит на диване, поджав под себя ноги и что-то пишет. Раздается стук в дверь. *Прокофьев*. Пятнадцать лет никто в эту дверь не стучался. Войдите. Входит *Софья*. В руках у нее сумки, в которых Прокофьев приносил книги в школу. *Софья*. (Явно смущаясь). Это я. Добрый вечер. *Прокофьев*. (Удивленно). И вам добрый.

Софья. Можно войти? *Прокофьев*. А мне кажется, вы уже вошли.

Софья. Ну, да... я вот... сумки вам принесла. *Прокофьев*. (Улыбаясь). Вижу. И что не пустые, тоже вижу. Неужели книги негодились?

Софья. Что вы! Очень дажегодились. (Достает из сумки какие-то пакеты, разворачивает их).

Прокофьев. Боже мой, какой запах! Нет, нет, *Софья* Викторовна, положите все обратно.

Софья. Так я же... от всего сердца. *Прокофьев*. Верно. У вас чудесное сердце, но, все равно - уберите. *Софья*. Но почему? Вы попробуйте, вкусно очень. Я подумала, что вы отвыкли от домашних харчей.

Прокофьев. Это точно.

Софья. Я не так выразилась... Совсем вы меня засмутили. *Прокофьев*. Не обижайтесь. Пожалуйста, не обижайтесь. Я ведь не меньше вашего смущен.

Софья. Правда? *Прокофьев*. Честное слово. Я не привык... к доброте. Да к тому же, согласитесь, это - искушение.

Софья. В каком смысле? *Прокофьев*. В самом прямом. А вдруг мне понравится ваша стряпня? *Софья*. Я принесу еще.

Прокофьев. Вряд ли я достоин такого внимания с вашей стороны. *Софья*. Вы кушайте, пока все горячее, а я пойду. *Прокофьев*. Не уходите. Побудьте еще немного.

Софья. Вы правда этого хотите? Или это...

Прокофьев. ...простая вежливость? А можно я тоже кое-что спрошу? Вы не первый раз находитесь здесь?

Софья. Это заметно? *Прокофьев*. Забавно, мы только задаем друг другу вопросы. Кто же будет отвечать? *Софья*. Начните вы.

Прокофьев. Хорошо. Когда человек впервые входит в незнакомое помещение, он вольно или невольно начинает осматриваться. Чего не скажешь о вас.

Софья. Все верно. У Веры Ивановны был ключ от вашей квартиры. Время от времени мы приходили с ней сюда, убирались, разговаривали.

Прокофьев. Вы и Вера Ивановна? А о чем разговаривали?

Софья. О разном. Помню, как-то раз она сказала такую фразу: самое большое горе и самое

огромное счастье случилось со мной в один день. Он назвал меня мамой и покинул меня на пятнадцать лет...

Прокофьев. Оказалось, покинул навсегда... А я, признаться, был изрядно удивлен, когда впервые зашел сюда. Думал, увижу запустение, паутину и толстый слой пыли, оказалось... Спасибо. Только почему мама не писала о вас? *Софья.* Я сама ее об этом просила.

Прокофьев. Вот как? *Софья.* Моя фамилия - *Лазукина*. Дальше продолжать? *Прокофьев.* (Удивленно). Ты... вы не хотели причинить мне боль? *Софья.* Томка... Не знаю, наверное, про родную сестру нехорошо так говорить, но она никого не любит. Только себя. Извините, давайте не будем об этом. *Прокофьев.* У вас большая разница в возрасте, вы живете сейчас в разных городах. Может быть...

Софья. Я ошибаюсь? Скажите, а она хоть раз написала вам в тюрьму? *Прокофьев.* Написала.

Софья. Неправда. Вы все еще любите Тамару, поэтому защищаете. *Прокофьев.* Я совсем недавно одного хорошего человека упрекнул в том, что он из реальности, из нашей жизни пытается убежать, пусть даже и в мечтах - в другое время. А сейчас сам поймал себя на мысли, что с удовольствием оказался бы в своем любимом времени, когда жил Пушкин. Не смотрите на меня так, *Софья* Викторовна, это уже старческое - отвечать на вопрос издали. Так вот, живи я тогда, то написал бы элегию - это было модно, - в которой сравнил бы любовь с цветком.

Софья. А почему вы сейчас не можете ее написать? *Прокофьев.* Боюсь, это назовут сентиментальной чушью. *Софья.* Я не назову.

Прокофьев. Вы исключение. Но, продолжим. Если садовник не поливает цветы, они засыхают. То же самое и с любовью.

Софья. Вы хотите сказать, что в вашей душе... *Прокофьев.* Правильно - выжженная солнцем пустыня. *Софья.* Интересная аллегория. А что означает в ней солнце? *Прокофьев.* Страсть, которая раньше или позже, но сожжет человека, который ей поддается. Поэтому, бойтесь страсти, Это говорит вам много переживший *Николай Михайлович Прокофьев.* (Церемонно кланяется). Прошу любить и жаловать. *Софья.* (Приседает в поклоне). Что вы, сударь, что вы. (Серьезно). Впервые заговорили со мной серьезно - и испугались? Наверное, я для вас так и осталась той маленькой девочкой...

Прокофьев. *Софья* Викторовна... *Софья.* Да я и не в претензии. И вообще, за все время нашего разговора я вас только один раз заинтересовала и вы сразу, оговорясь, на "ты" перешли.

Прокофьев. А мне казалось, что я один такой наблюдательный. Но вы не правы: мы видимся всего второй раз в жизни, а вы не перестаете меня удивлять. *Софья.* Шутите?

Прокофьев. Отнюдь. Все-таки красивые, ну то есть очень красивые девушки даже в России редкость. Вот вам удивление номер раз. От *Ирины Леонидовны* я узнал, что вы ухаживали за *Верой Ивановной*, а ведь старики, к сожалению, редко интересны молодым. Разве что корысть какая имеется. А какая у вас могла быть корысть? Вот вам и второе удивление. Вчера пришел на могилку к маме - все чисто, ухожено. Говорят, это молодая учительница сюда приходит. Третий пальчик загибайте. Вот эта еда...

Софья. К которой вы даже не притронулись. *Прокофьев.* Четыре.

Софья. Я даже не знаю, шутите вы или говорите серьезно. *Прокофьев.* Мир парадоксален, *Софья* Викторовна. И только через парадокс можно его понять.

Софья. Вера Ивановна читала мне вашу рукопись. Кстати, вы ее еще не закончили? *Прокофьев.* "Парадоксы"? Вы и это знаете?

Софья. Мне кажется, я о вас знаю все. И про тот злополучный вечер знаю. *Прокофьев.* А если подробнее?

Софья. Испугались? Я ведь почему Томку не понимаю? Ведь человек из-за любви к ней сел тогда на мотоцикл. Понятно же, что он должен был выплеснуть свои переживания...

Прокофьев. (Облегченно вздыхая). В самый корень зришь. Давай... Давайте больше не будем о ней?

Софья. А я тоже люблю пушкинское время. Если бы жила тогда, знаете, какое письмо вам написала? Брат Прокофьев, написала бы я, я пишу к тебе: ты, потому что холодное вы не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям.

Прокофьев. Это же из письма Рылеева к Пушкину. Ай да Софья Викторовна, ай да молодец! Я все понял. (Подает ей руку). Здравствуй, *Софья.* *Софья.* Здравствуй, Николай.

Прокофьев. Ты извини, своих не сразу распознаешь. Особенно в наше время. *Софья.* Я понимаю. Мне было легче. Мне тебя показали. *Прокофьев.* Понимаю, наши люди есть везде... Как тебе "Парадоксы". Сгодится? *Софья.* Честно?

Прокофьев. Можешь не продолжать. *Софья.* Отчего же, я скажу. По-моему, это гениально. *Прокофьев.* Спасибо.

Софья. Это тебе спасибо. Я теперь на жизнь через твои "Парадоксы" смотрю. Ты дашь мне сегодня вторую часть?

Прокофьев. Спрашиваешь. Такой бальзам на душу. Если, конечно, твои слова не простая вежливость.

Софья. Какая, к черту, вежливость? Мне Вера Ивановна, по листку давала, и я наизусть заучивала. Потом отдавала обратно ей. Сейчас они у меня дома, ждут хозяина.

Прокофьев. Наизусть? Бреешь, друг Софья, прости за недостаточную деликатность. *Софья.* Брежет собака, брат *Прокофьев.* Проверь, если не веришь. *Прокофьев.* Не надо. Верю. И поражен.

Софья. Спасибо. Разве это сложно - всего один листок в месяц. *Прокофьев.* Да, всего один.

Софья. Ты вспомнил о чем-то грустном? Вижу, что вспомнил. Хочешь я отвлеку тебя? *Прокофьев.* Попробуй.

Софья. Когда я пришла сюда, ты писал "Парадоксы"? Прочти, пожалуйста. *Прокофьев.* Возьмешь домой - и прочитаешь.

Софья. (Садится). Тамара как-то говорила мне, что все авторы обожают читать свои произведения.

Прокофьев. Из каждого правила есть исключения. *Софья.* А если я очень попрошу?

Прокофьев. (Вздыхает). Непривычно как-то... Ну, хорошо. (Берет листок и садится рядом с Софьей). Пока без названия. (Читает). "Вдалеке от дорог и больших городов, там, где Древний

Лес расступался, давая возможность солнцу ласкать землю, жил-был Луг. Ворчливый, но бесконечно добрый, он обожал своих детей звездочек, ромашек, колокольчиков. Когда осенью они уходили под землю, Луг тосковал. А весной к их приходу он менял свой охровый наряд на изумрудный и ждал возвращения каждого цветка. Луг знал в лицо каждого своего ребенка, любой, даже самый неприметный цветок чувствовал на себе его любовь и заботу. Впрочем, чувствовать и ценить - это совсем разные вещи, не правда ли? Цветы эту любовь воспринимали как должное, а сами мечтали. Ведь каждый день перелетные птицы рассказывали им о больших городах, где люди так ценят цветы, что даже сами выращивают их или покупают за деньги. И колокольчики, а также ромашки и незабудки мечтали о той, другой жизни, в которой не будет этой вечной тишины и не путевого задиры ветра, время от времени резвящегося на Лугу. И вот однажды они услышали шум мотора. Из подъехавшей машины вышли люди. "Какая красота!" - раздался чей-то звонкий голос. Люди бегали по Лугу и срывали цветы. О, как взволновались незабудки, колокольчики и васильки! "И меня, и меня" кричал каждый цветок на своем языке. "Сорвите, пожалуйста, сорвите!" - зывали медуницы, лютики и звездочки. Цветам казалось, что это судьба улыбнулась им, прислав сюда этих людей. А мудрый старый Луг плакал, но... жаждущие счастья цветы не могли или не хотели услышать своего отца. А потом машина уехала. Сорванные счастливицы грелись в теплых людских ладонях, навсегда покидая опостылевший им Луг. Оставшиеся цветы уныло понурили свои головки, но в то же время в этих прекрасных головках - лазоревых, синих, розовых, голубых и фиолетовых - появилась надежда. Кто знает, думали цветы, не захотят ли люди приехать сюда еще раз? И не знали они, что их сорванные сестры и братья, - васильки, незабудки, звездочки и колокольчики, - не доехали до большого города. Цветы быстро завяли. Откуда им было знать, что вся их красота и сила, нежность и трепет заключались в любви к ним ворчливого, но бесконечно доброго Луга. Те же теплые человеческие руки приоткрыли окно в машине - и выбросили цветы на широкую бетонную дорогу, раскаленную от солнца, пахнущую бензином и гарью. По дороге непрерывным потоком мчались машины, потому даже вездесущий ветерок-озорник не увидел последних слез легкомысленных детей старого Луга - незабудок, звездочек, ромашек и колокольчиков." Николай Михайлович замолчал. Молчала и Софья. Тишину нарушил громкий стук в дверь. Прокофьев с Лазукиной не успели встать с дивана, как в комнату не вошли, а ворвались Войтюк, Филатова, Козлова, Самсонов, Евграфыч и Васильев.

Картина вторая.

Козлова. Мать честная, а мы кажется не вовремя! *Филатова.* (Войтюк). Ирина Леонидовна, а говорила, что грустит в одиночестве. Может нам в следующий раз придти?

Прокофьев. (Смеется). Заходите, коли пришли. *Филатова.* Вы слышите - "коли пришли". Мы ведь и обидеться можем. *Прокофьев.* И напрасно. Доступ к телу строго по очереди. Сначала те, кого не видел пятнадцать лет и пятнадцать дней, затем остальные. (Козловой, Филатовой). Нина Ивановна, Светлана Георгиевна - придите в мои объятия. (Васильеву). Тихон! И ты пришел! Сейчас заплачу.

Васильев. (Смущенно). Николай Михайлович, мы тут принесли кое-чего. *Прокофьев.* (После того, как объятия закончились). Сергей, "кое-чего" - это чего? *Васильев.* Шампанское, вино, водка. Кто что пожелает. В ильинском супермаркете все есть.

Войтюк. Не все. *Васильев.* А я говорю все.

Войтюк. Хереса там нет. *Васильев.* А кому он нужен? С него только голова утром болит. *Войтюк.* Наверное, если литров пять выпить. А я бы не отказалась. (Прокофьеву). Правда, Михалыч?

Прокофьев. Ирина Леонидовна, на что вы намекаете... (Уже серьезно). Вообще-то я в настоящее время не очень пьющий...

Евграфыч. Ты давай не откалывайся от коллектива, Николай Михайлович. Нам еще вместе работать. Ты главное, закусь готовь. *Прокофьев.* Закусь? Софья, видишь, как ты кстати все принесла. Постой, Евграфыч, о какой - такой работе ты говорил?

Войтюк в это время показывает Евграфычу на висок. *Прокофьев.* Ирина, в чем дело?

Войтюк. Да так, голова что-то заболела, массирую. *Прокофьев.* Массажируешь... Так, все рассаживаемся по местам, кто, где сможет, а ты, дорогая, колись.

Филатова. А я тоже считаю, что надо сказать сразу. *Козлова.* Ты слышала, Ирина, как он сказал: "так, все рассаживайтесь по местам". Режиссер в нем проснулся.

Прокофьев. Вот оно что. Припоминаю, народному театру Одуева в этом году исполняется сто лет. Нет, братья и сестры, увольте. *Войтюк.* Вот почему я вам, болваны, говорила, что его надо сначала подготовить. Теперь уговаривайте сами.

Самсонов. Ирина, можно я скажу? *Войтюк.* Наконец-то я услышала голос мужчины. Говори. *Самсонов.* А может, Николай прав? На хрена он нам сдался, этот спектакль? Мало мы от него горя увидели? Сто лет - смех один. За последние четверть века - ни одного спектакля. Что это за театр, который существует только на бумаге? *Войтюк.* Это ты так уговариваешь, Самсонов? Ничего, мы с тобой дома еще поговорим.

Самсонов. Ирка, зачем ты так? Коля все равно не поверит, что ты такая, какой пытаешься казаться. Я и дома это скажу. Забудьте про спектакль. Знаю, вы уже почти все роли распределили. Но если даже Коля и возьмется восстановить нам тот спектакль, кто даст гарантию, что если опять его фамилию из афиши вычеркнут, зрители увидят "Грозу"?

Войтюк. Ты все сказал? Теперь послушайте меня. Да причем здесь сто лет? И не нужны нам никакие афиши. Весь Одуев - десять тысяч жителей. Сарафанное радио подключим - наш школьный актовый зал битком будет набит. Но опять, не в этом дело. Пятнадцать лет назад мы прикоснулись к чему-то очень светлому, будто...

Филатова. (Подсказывает). Будто воды ключевой испили.

Войтюк. Молодец, Света. Именно так: испили ключевой воды. Да, не сыграли мы тогда спектакль, но все эти пятнадцать лет каждому из нас давала силы жить та... атмосфера, то братство. Мы поняли, что можно жить и творить одновременно. Коля, я знаю, ты пережил такое, что редко кому приходится пережить. И если был в чем виноват, я считаю полностью, слышишь, полностью искупил свою вину. А потому живи с поднятой головой. И не метлой орудуй, а головой своей светлой. Мы тебе поможем. Вот при всех тебе клянусь. Скажи мне, где ты захочешь работать - в школе, в газете, просто решишь сидеть дома и книги писать, - я все инстанции обойду, я всем портновым глотки перегрызу, но ты будешь делать то, что захочешь. Но и ты... помоги нам. Пожалуйста.

Прокофьев. Вам? *Войтюк.* Именно. Ведь для нас эти пятнадцать лет тоже не сахарными были, ох, не сахарными.

Козлова. Это уж точно.

Войтюк. И перестраивались мы по указке сверху, и за трезвость боролись...

Филатова. И демократами успели побывать, и красно-коричневыми.

Козлова. Вертимся, как белки в колесе - одна половина дня на работе, вторая на огороде. Тетради вечером проверяешь. А завтра все сначала.

Филатова. А куда сейчас без огорода? Деньги заработанные - и те не платят. *Васильев.* У нас платят без задержки, но разве это деньги? Мне получку стыдно домой приносить.

Войтюк. Подождите ребята. Николай Михайлович об этом быстро узнает. *Прокофьев.* Ты права. К вашей свободе быстро привыкаешь. *Войтюк.* К нашей... Да не свободны мы. Вот пятнадцать лет назад, пусть совсем на немного, ты сделал нас свободными.

Прокофьев. Я? Не смейся. *Войтюк.* Ты, театр, *Рощина.* Мы только сейчас начинаем понимать, что это был за человек... Она не дождалась тебя, Коля, хотя так ждала! Знаешь, я выла как волчица на луну, когда Вера Ивановна умерла. Не только от горя - от обиды за нее и за тебя... И ради нее тоже, Коленька, мы восстановим спектакль. Даже если ты нас бросишь. У меня все.

Все смотрят на Прокофьева. Он очень долго молчит, наконец, говорит. *Прокофьев.* Хорошую Вера Ивановна себе замену нашла. Она умела убеждать, и ты, Ирина, умеешь. Как после таких слов отказаться? *Евграфыч.* Друг Тихон, пора наливать.

Прокофьев. Подождите радоваться. Хочу сразу предупредить: репетировать будем каждый день, никаких отговорок про огороды и проводы в армию, как тогда, слушать не буду. Две неявки - и мы расстаемся с эти человеком. *Войтюк.* Принято.

Прокофьев. Далее. Покажите мне ваши списки. (Смотрит). Что, и Дикой в строю? *Васильев.* А куда мой тезка денется? Он у нас как огурчик. *Прокофьев.* Катерина - Софья? (Смотрит на Лазукину). Ты об этом знала? *Филатова.* А чем тебе наша Катерина не нравится? Глядишь, еще один талант откроется.

Самсонов. Коля, мне кажется на самом деле отличная замена. Во-первых, яблоня от яблони, а во-вторых, чисто внешне Софья Викторовна и сестре фору даст. *Войтюк.* Чья бы корова мычала.

Прокофьев. Говоришь, яблоня от яблони?

Софья. (Тихо). Мы на разных яблонях росли... Я знала, что Ирина Леонидовна затевает и очень хотела, чтобы ты согласился. (Ко всем). Если меня утвердят на роль, не уверена, что сыграю хорошо, но буду счастлива быть вам полезной.

Евграфыч. Речь не девочки, но жены. А ты, Михалыч, или продолжай или заканчивай, а то водка теплой становится.

Прокофьев. Кабаниха - Козлова? Нет, Нина Ивановна, ты просто идеальная и неподражаемая Феклуша. Будем считать, что Кабанихи у нас пока нет.

Войтюк. Коля, а может, Нина Ивановна попробует? Вера Ивановна смогла, и она сможет.

Прокофьев. Еще раз повторяю, мне Козлова нужна как Феклуша. Без ярких эпизодических ролей спектакль никогда не получится... И самое главное, что я хочу сказать: мы не будем восстанавливать ту "Грозу". *Войтюк.* Не будем?

Прокофьев. Это вы можете сделать и без меня. Не обижайтесь, но мне не интересно то, что

однажды уже было сделано. Тем более, мы все стали другими, одни в большей, другие в меньшей степени, но другими.

Евграфыч. Что же мы будем делать в таком случае?

Прокофьев. Ставить новый спектакль. Без греческих мантий и лучей света в темном царстве.

Евграфыч. Но мы тогда говорили, что для вечности даже сто лет - один миг. Что, пятнадцать лет прошло и все заново?

Самсонов. Эх, Евграфыч, для вечности сто лет - миг, а для человека пятнадцать могут стать вечностью.

Прокофьев. Стоп, ребята. Обо всем этом поговорим на репетиции. Сейчас я спрашиваю вас: вы согласны рискнуть?

Войтюк. А чем мы рискуем, Коля? Конечно, согласны.

Прокофьев. Чем рискуем? Каким был бы день, если бы Господь не различал цветов? Какой была бы наша жизнь, не будь в судьбе каждого из нас "Грозы"? Но, пожалуйста, не забывайте: мы тогда были молоды. И про древнюю мудрость не забудьте: в одну реку нельзя войти дважды. Вот чем мы рискуем.

Войтюк. Это не риск, Коля, это наш шанс.

Прокофьев. Шанс? Что ж, об этом я не подумал.

Васильев. Ребята, я знаю, почему мы поставим этот спектакль! *Евграфыч.* Постановщик, ядрена вошь!

Васильев. Молчи, старик. Ребята, если мы выйдем на сцену, значит, нас не сломали, понимаете? Ни жизнь эта треклятая, ни время - непонятно какое. А люди придут, посмотрят... И мы... мы им силы дадим, понимаете? *Евграфыч.* Давальщик, ядрена вошь!

Самсонов. Постой, Евграфыч, он правильно говорит. Не очень складно, но верно. Так только сердцем можно говорить...

Васильев. Спасибо, Петр. Да Евграфыч и сам все понимает. И лучше меня скажет об этом, только не мне или тебе, а дубу нашему одуевскому. А я хочу громко. Михалыч, веди нас! Не поверите, я себя панфиловцем почувствовал. Велика Россия, а отступить некуда - позади Москва.

Евграфыч. Надо же, панфиловец...

Прокофьев. Евграфыч, не смейся. Помнишь, наш разговор о закускойной? Будем считать, что для Сергея "Гроза" - такой же рубеж. И вообще, у каждого человека в жизни есть свое Куликово поле или разъезд Дубосеково. И свой выбор: выстоять или сдать - третьего не дано... Все, достаточно слов. Будем пировать. *Войтюк.* Правильно. Давайте праздновать. За твое возвращение, Николай.

Прокофьев. За наше возвращение.

Картина третья.

Городское кладбище. Тишина. Поют птицы. У одной из могил сидит *Прокофьев*. *Прокофьев*. Ну вот, мама, и поговорили. Завтра приду опять. Николай Михайлович кланяется и поворачивается, чтобы уйти, но тут замечает Лазукину, тихо подходящую к ограде.

Лазукина. Здравствуй, Коля. Я так и знала, что увижу тебя здесь.

Прокофьев. Здравствуй. Прекрасно выглядишь. *Лазукина*. Спасибо. Скажу честно: удивлена. Ты тоже совсем не изменился.

Прокофьев. Вот видишь, какие мы с тобой молодцы. Ну, ладно, пока... Я пошел.

Лазукина. (Ошарашено). Как - пошел?! Ты даже не хочешь со мной поговорить, узнать, хотя бы из вежливости, как я жила все эти годы.

Прокофьев. Здесь место такое, Тамара... особенное. О суетном говорить как-то не хочется. Даже из вежливости. С мужем твоим мы уже общались.

Лазукина. Он мне передал ваш разговор, и я хотела бы...

Прокофьев. (Перебивает). Вот видишь, кое-что друг о друге мы знаем. А вежливость здесь не при чем. Жизнь научила меня одной простой вещи: чем меньше знаешь, тем лучше себя чувствуешь.

Лазукина. Я хотела бы прояснить некоторые моменты.

Прокофьев. О, Господи! Мочи мочало - начинай сначала. Тома, Тамара Викторовна, не надо больше ничего прояснять. Мы с Виталием Сергеевичем все, что надо и не надо, друг другу сказали. Достаточно.

Лазукина. Хорошо, пусть будет по-твоему. Но я не поверю, что тебе не интересно узнать о том, как сложилась моя жизнь.

Прокофьев. Тамара, дорогая, весь Одуев знает об этом. Это во-первых. А во-вторых, ты еще молода, а потому говорить о том, что сложилось, что нет - еще рано. Всего хорошего. (Поворачивается, чтобы уйти). *Лазукина*. (Растеряно). Понятно. Коля, а мне спросить тебя можно? Соня говорит, что вы репетируете "Грозу".

Прокофьев. (Останавливается). Да.

Лазукина. А почему именно "Грозу"? Сейчас это не актуально. Если бы вы захотели, я могла бы предложить несколько очень интересных современных пьес.

Прокофьев. Спасибо. Правда, спасибо. Только ведь мы не собираемся реанимировать одуевский народный театр. Что умерло, то умерло. Просто у каждого из нас есть свои причины... короче, народ сказал: даешь "Грозу", - вот мы и пытаемся дать, но пока не очень-то у нас получается.

Лазукина. А если бы я предложила... свою помощь? *Прокофьев*. (Удивленно). Ты? Помочь нашей самодеятельности? Это было бы здорово, но Катерина у нас уже есть.

Лазукина. Я со своей младшей сестрой обо всем договорюсь. *Прокофьев*. Нет, так не надо... (Вдруг оживленно). А вот это идея! Нет, это гениальная идея. Тамара, ты действительно хочешь нам помочь? (После паузы). Кабаниху сыграешь?

Лазукина. Ты... ты... Ну, знаешь... Зачем так... жестоко? (Резко поворачивается и пытается

убежать. Прокофьев догоняет ее и хватает за руку)... Пусты... Слышишь, пусты! Надо мной никто еще так не смеялся. *Прокофьев.* Да стой ты, ненормальная!

Лазукина. Совсем здорово. Еще что скажешь? *Прокофьев.* Что надо, то и скажу. Ты хотя бы выслушать меня можешь? (Поднимает руки). Вот, смотри, я не держу тебя. Можешь уходить, но, даю слово, после пожалеешь об этом.

Лазукина. Прекрасно. Портнова грозился убить, а со мной что сделаешь? *Прокофьев.* Не волнуйся, Портнов будет жить. Так ты выслушаешь меня? Впрочем, если тебе слабо сыграть Кабаниху, так и скажи. Тогда, действительно, что я здесь разоряюсь и бегаю за тобой.

Лазукина. Запомни, я могу сыграть все. Но Кабаниха... это... это. *Прокофьев.* Пойдем, у входа есть скамейка, мы сядем и я расскажу тебе все о Кабанихе.

Лазукина. Да про нее и так все известно. (Но сама послушно идет за Прокофьевым). *Прокофьев.* (Усаживая Тамару Викторовну на скамейку). Все, говоришь? Хорошо, начнем с того, как ты ее представляешь?

Лазукина. Старуха. Во всем черном. Злая.

Прокофьев. Знаешь, в чем твоя ошибка, как впрочем, и ошибка большинства людей? *Лазукина.* Ты сейчас будешь говорить о парадоксах? Софья, по-моему, ими просто бредит.

Прокофьев. Вот видишь, я же говорил тебе: мы друг о друге знаем все... Если хочешь, назови это парадоксами, но в данном случае под ошибкой я разумею склонность людей к стереотипам... Представь мое потрясение, когда я узнал, что Сальери в год смерти Моцарта было всего 40 лет. А мы представляли его пожилым человеком. И играют его всегда пожилые актеры.

Лазукина. Ты не ошибаешься? Действительно - сорок? *Прокофьев.* Удивлена? А теперь вернемся к Кабанихе. Старая, говоришь? Посчитаем. В купеческих семьях в те времена девочек выдавали замуж очень рано. У Салтыкова-Щедрина мама стала женой его отца не то в пятнадцать, не то в шестнадцать лет. Допустим, что Марфу Игнатьевну выдали замуж в семнадцать лет. Сколько лет Тихону, ее сыну?

Лазукина. Лет двадцать... Постой - постой, получается, ей нет еще и сорока? Как и мне?

Прокофьев. Получается, так. Но продолжим. Пятнадцать лет назад мы сознательно строили все действие вокруг Катерины, и ты справилась со своей задачей просто здорово. Помоги мне и сейчас.

Лазукина. Помочь тебе? *Прокофьев.* Да.

Лазукина. Кстати, Заславский позже использовал твою идею, правда, в другой пьесе.

Прокофьев. Все идеи носятся в воздухе. Использовал - так использовал. *Лазукина.* Он умер три года назад.

Прокофьев. Хорошо. То есть, жаль мужика, конечно, но не отвлекайся, пожалуйста. Мы сейчас будем играть "Грозу" иначе. Теперь каждый персонаж - главный герой.

Лазукина. Так разве может быть?

Прокофьев. Я хочу попробовать. А уж без яркой Кабанихи - точно ничего не получится... Вот послушай меня. В прошлый раз мы исследовали луч в темном царстве. Теперь мы обратимся к самому темному царству. Откуда оно берется? Вспомни, с чего начинается "Гроза": сидит на берегу Волги Кулигин и восхищается, насколько прекрасна природа, окружающая нас. А ведь человек, каждый в отдельности и все мы вместе - венец творения. Венец, то есть предел совершенства. Как сказано: "И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его". По своему образу, понимаешь? Но если так, тогда почему среди нас столько зла, ненависти? Почему вся история человечества - это непрерывные войны и смерть? И возникает вопрос: если Бог - это Любовь, отчего мы - его образ, не живем по любви?

Лазукина. (Тихо). Ты знаешь ответ, Коля? *Прокофьев.* Я пытаюсь его найти. Всю жизнь... Понимаешь, Бог создал человека свободным. То есть не игрушку он создал, не робота. Он настолько нас... любит, что говорит нам: я доверяю тебе, ты - мой образ. Но уже первые люди совершили грехопадение...

Лазукина. Сорвали яблоко. *Прокофьев.* Причем здесь яблоко? Нет, Тома. Они обманули - доверие. И - больше того, у них не хватило... мужества в этом признаться, то есть просто и честно сказать: прости нас, мы же - малые, неразумные дети. В старинной русской книге я прочитал, как наши предки образно передали разговор Бога и Адама. Сейчас попробую вспомнить: "Рече Господь: что се сотворил еси? Он же отвеща: жена, еже ми сотворил еси. На што-де мне дуру такую зделал". *Лазукина.* (Смеется). Понятно, Бог виноват.

Прокофьев. По логике Адама так и получается... Извини, я слишком увлекся. Потерпи еще немного.

Лазукина. Коля, мне очень интересно. Правда, я не совсем понимаю, к чему ты меня ведешь?

Прокофьев. Человек сам, по своей воле нарушил мировую гармонию. Когда же Каин убил Авеля, гармония была взорвана. Но Бог нас не оставляет (На минуту замолкает). Не оставляет. Он ежеминутно, ежесекундно взывает к нам: придите ко мне, дети мои, придите труждающиеся, придите обремененные. Но мы не слышим. Не слышим... Темное царство, Тамара, - это жизнь с Богом на устах, но без Бога в сердце.

Лазукина. Как же так? Кабаниха верит в Бога. Ты ничего не путаешь? *Прокофьев.* Почему ты думаешь, что верит?

Лазукина. Так она все время о Боге говорит.

Прокофьев. А разве не сказано: "... по плодам узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!" войдет в Царство Небесное". Когда Христа спросили, какая из заповедей наибольшая, Иисус ответил: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим... Вторая же подобная ей: "Возлюби ближнего твоего, как самого себя". Это как в математике: если первое число равно второму, то второе - равно первому. Если ты не любишь людей - значит, ты не любишь Бога. И наоборот. Вот это мы и будем играть, Тома. Только судить никого не будем. В темном царстве все жертвы. И первая - сама Кабаниха. Мы просто расскажем людям, во что превращаются люди без любви. (Впервые за все время разговора он садится). Понимаю, как сумбурно я все это попытался объяснить.

Лазукина. (Кладет свою руку на руку Николая Михайловича). Главное, ты сам знаешь, что хочешь сделать. А я... я все поняла. И тебе помогу, вот увидишь.

Прокофьев. Спасибо. Я, наверное, в последнее время о "Грозе" слишком много думаю. Сегодня ночью даже приснилась последняя сцена. *Лазукина.* Расскажи.

Прокофьев. Как только Кулигин и люди из народа понесут Кабановым мертвую Катерину, зазвучит музыка. Это будет "Лакромоса" из "Реквиема". *Лазукина.* Моцарт? В пьесе Островского?

Прокофьев. Он, и только он! Понесут через всю сцену - и положат прямо у ног Кабанихи. Будут идти долго. Только музыка - и это шествие. Нет, не шествие - суд над фарисейством, лицемерием, ханжеством. И одновременно тоска - по светлому царству, в котором им никогда не жить.

Лазукина. А что же Кабаниха?

Прокофьев. Ей страшно, очень страшно. Пусть текст пойдет своим чередом. Главное то, что мы выразим только музыкой и молчанием. Понимаешь?

Лазукина. Понимаю? Нет, я это вижу. "Лакромоса" кончается, что дальше? Занавес?

Прокофьев. Нет. Музыка продолжается. Все замерли. У каждого - и на сцене и в зале есть время подумать о себе, заглянуть внутрь себя. А потом... потом с другого конца сцены выходят мальчик и девочка...

Лазукина. Но их же нет в спектакле?

Прокофьев. Не страшно. У Островского написано: "городские жители обоего пола". Так вот, дети словно не видят страшной картины неподалеку от них. Мальчик читает девочке Евангелие. Музыка становится чуть тише. Дети похожи на ангелов, а может, они и есть ангелы, спустившиеся на нашу грешную землю? Не знаю.

Лазукина. А что мальчик будет читать, ты уже решил?

Прокофьев. (Вновь поднимается, закрывает глаза. Голос звучит глухо). "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, - нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится..." (Умолкает). *Лазукина.* Любовь долготерпит, милосердствует, не гордится...

Прокофьев. Да. О жизни без любви мы и будем играть.

Лазукина. Не боишься, что на спектакле будет пустой зал?

Прокофьев. Для себя будем играть, Тома.

Лазукина. Для себя... Остаются сидеть молча, каждый думая о своем.

Действие шестое.

Картина первая.

В актовом зале школы подходит к концу спектакль по пьесе Островского. Идет последнее

действие. Актеры играют в своих повседневных одеждах. Евграфыч (Кулигин) и несколько других лиц из народа несут Софью (Катерину) к ногам Лазукиной (Кабанихи). Звучит "Реквием".

Евграфыч (Кулигин). Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судьей, который милосерднее вас! (Кладет на землю, но в отличие от оригинала пьесы не уходит). Васильев (Кабанов). Катя! Катя!

Лазукина (Кабаниха). Полно! Об ней плакать-то грех! Васильев (Кабанов). Маменька, вы ее погубили, вы, вы, вы... Лазукина (Кабаниха). Что ты? Аль себя не помнишь? Забыл, с кем говоришь? Васильев (Кабанов). Вы ее погубили! Вы! Вы! Лазукина (Кабаниха). Ну, я с тобой дома поговорю. (Низко кланяется народу). Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу. (Все кланяются). Васильев (Кабанов). Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!

Продолжает звучать музыка. Из-за кулис появляются мальчик и девочка, но мальчик не успевает начать читать. С Лазукиной что-то произошло. По замыслу она должна стоять неподвижно, но она вдруг отделяется от группы и выходит на середину сцены. Медленно опускается на колени перед залом. Дети, повернувшись, удивленно смотрят на актрису.

Лазукина. Не могу я больше этот камень носить, не могу. Простите меня люди добрые, простите! (Актеры на сцене недоуменно переглядываются). Это я, слышите, это я! (Рыдает). Простите меня, простите... Из-за кулисы медленно появляется *Прокофьев*.

Прокофьев. Тамара...

Лазукина. (К нему). Опять за меня все решить хочешь? (Показывает на Прокофьева). Он ни в чем не виноват. Это я тогда... на мотоцикле, сбила... Убила... Господи! Если сможете, простите...

К Лазукиной бросается Софья и, ничего не говоря, обнимает сестру, словно пытаюсь спрятать ее от чужих глаз. Остальные, в том числе и Прокофьев, остаются стоять на своих местах. Смолкает музыка. В полной тишине мальчик растерянно начинает читать свои слова.

Мальчик. Если я... если я... говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая, или кимвал звучащий. Если (Начинает плакать. Девочка тоже плачет) имею... если имею дар...

Картина вторая.

Квартира Прокофьева. Кроме хозяина в ней находятся Войтюк и *Самсонов*. *Самсонов*. Вторая неделя пошла, а я все от спектакля не отойду.

Войтюк. Вообще-то не ты один. Когда Лазукина перед залом на колени встала у меня у самой ноги подкосились. За занавес схватилась... думала, что сердце остановится. Да, бедная Томка. И никаких званий не надо: не приведи Господь ношу такую в сердце носить.

Самсонов. И не говори. Иной раз читаешь книгу и только диву даешься, насколько автор все закрутил. И все равно не интересно. А жизнь такую штуку выкинет...

Войтюк. Тоже мне - журналист: закрутил, штуку выкинет. Ты нормальным языком можешь говорить? Впрочем, нужны ли здесь слова? Говорят, люди из зала выходили словно

окаменевшие. Я уверена, никогда Одуев нашу "Грозу" не забудет. *Самсонов*. Это уж точно. Слушай, Коля, пошли к нам. Посидим, все обсудим. *Войтюк*. И впрямь, пойдем.

Прокофьев. Спасибо, ребята. *Войтюк*. За что?

Прокофьев. За то, что вы у меня есть... Получается, что я очень счастливый человек. Серьезно. Помню, маме, говорил: Вера Ивановна...

Самсонов. Не понял, кому ты говорил? Маме или Вере Ивановне? *Войтюк*. Слушай, инвалид по жизни, ты можешь хоть раз помолчать? *Самсонов*. Вот, сразу ругаться...

Прокофьев. ... Вера Ивановна, я свободный человек. Мир огромен и прекрасен, неужели он сошелся клином на вашем Одуеве? А оказывается, настоящая свобода (показывает себе на грудь) - вот здесь. Поверьте мне, можно быть свободным в тюрьме, и невольником здесь, на воле, имея все, что твоей душе захочется. А человеку, ребята, надо совсем немного: чтобы тишина на сердце была, под ногами клочок луга, над головой кусочек неба синего и чтобы обязательно было с кем поделиться - и печалью, и радостью.

Самсонов. А как же насчет того, чтобы построить дом, посадить дерево и вырастить ребенка?

Прокофьев не успевает ответить, - в комнату входит Лазукина. *Лазукина*. Простите. Я стучала, наверное, вы не слышали. *Войтюк*. Здравствуйте. Мы пойдем, Коля. Помни свое обещание: мы ждем тебя у нас.

Самсонов. А может сбегать? Я быстро.

Войтюк. Ты не понял: мы пошли домой. Прощайся. *Самсонов*. Опять кричишь? Пока, брат Никола, надеюсь, скоро увидимся. *Прокофьев*. И я надеюсь. Пока, ребята. (Супруги уходя). Здравствуй, Тамара. *Лазукина*. Ирка теперь до конца жизни со мной разговаривать не будет. Да и другие тоже.

Прокофьев. Нет, ты ошибаешься. Когда обе выйдете на пенсию - вас водой не разольешь. Будете каждый вечер на даче чай распивать, о внуках беседовать... Вот увидишь, так и будет - у меня с интуицией все в порядке. То, что я тебе когда-то предсказал - сбылось. Не так ли? А пока... Она себе простить не может, что считала меня... одним словом, ты понимаешь. *Лазукина*. (Тихо). Понимаю.

Прокофьев. Ну и то, что Рощина все эти годы молчала, - Иру просто потрясло. Я думаю, только теперь Одуев осознает, какой среди них человек жил. *Лазукина*. А почему все-таки она Софье ничего перед смертью не сказала? *Прокофьев*. Если бы не данное мне слово - наверное, рассказала бы. А впрочем, не знаю. Не всякую правду человеческое сердце вместить может. Его еще и подготовить надо. Софья и сейчас - почти ребенок, а тогда... *Лазукина*. Ребенок? Не скажи. Ладно, я ведь попрощаться пришла. *Прокофьев*. Не правильно формулируешь.

Лазукина. А как правильно? *Прокофьев*. Мне кажется, надо было сказать: "Ладно, я ведь пришла сказать до свидания".

Лазукина. Что, есть какая-то разница? *Прокофьев*. И огромная.

Лазукина. Жаль. Я думала ты тоже по-другому... сформулируешь. (Молчит). Так говоришь, все, что предсказал - сбылось?

Прокофьев. Получается, так. *Лазукина*. А как же Володька?

Прокофьев. А кто это? *Лазукина.* Мой сын. Правда, не поверишь, я до сих пор не знаю, кто его отец - то ли Ильин, то ли *Заславский*. Но для меня это не имеет значения: главное, что у меня есть сын. И есть ради кого жить.

Прокофьев. А вот это ты брось. Жить надо прежде всего ради себя. Когда так живешь, и Володе будет хорошо и всем, кто вокруг тебя. *Лазукина.* Почему?

Прокофьев. Он не вырастит эгоистом. *Лазукина.* Очередной парадокс? Кстати, ты не хочешь их опубликовать? У меня есть кое-какие связи в этой сфере.

Прокофьев. Даже не знаю, что сказать... *Лазукина.* Вот и хорошо. Рукопись у меня лежит в машине. Так что жди вестей. А сейчас что будешь писать?

Прокофьев. Есть одна идея. *Лазукина.* Секрет?

Прокофьев. Да какой секрет? Ты смеяться будешь. Сначала хочу Сальери оправдать, навели на человека напраслину, - не убивал он Моцарта. Потом... потом видно будет.

Лазукина. Понятно. Извини, но мне действительно пора. *Прокофьев.* А чем ты будешь заниматься?

Лазукина. Играть. Это моя жизнь. Это мое счастье. Звучит громко, но это так. *Прокофьев.* Нормально звучит.

Лазукина. Сейчас готовлю моноспектакль по стихам Заболоцкого. Если за помощью обращаюсь - поможешь?

Прокофьев. Спрашиваешь. *Лазукина.* Тем более, мы родственниками скоро можем стать?

Прокофьев. (Хмурясь). Не говори глупости.

Лазукина. Думаешь, у тебя одного интуиция развита? Я тебе кем тогда буду приходиться? Свояченицей? Что молчишь? Помнишь, пятнадцать лет назад? (Начинает декламировать).

То были капли дождевые,
Летящие из света в тень.
По воле случая впервые
Мы встретились в ненастный день.

Коля... *Прокофьев.* ... Друг другу нам нельзя помочь. *Лазукина.* Я это знаю... На прощанье... поцелуй меня. Внутри Прокофьева происходит борьба. Наконец, он все-таки целует Тамару. Неожиданно дверь открывается и в комнату входит *Софья*. В руках у нее сумки с едой.

Софья. Я без стука, руки заняты. (Только сейчас замечает целующихся). Кажется, я не вовремя. Извините. (Поворачивается, чтобы уйти. Прокофьев кидается за девушкой и задерживает ее в дверях).

Прокофьев. Соня, останься. *Лазукина.* Все правильно. Сестренка, это я... должна уйти. Меня ждет... целый мир. А вам будет хорошо... здесь. И все-таки, прощай, Коля. (Уходит).

Картина третья.

Прокофьев и Соня стоят подле друг друга и молчат. Только слышно, как стучат старые ходики. Первая заговорил *Софья*.

Софья. Ты еще можешь догнать ее. *Прокофьев.* По-моему, машина уже отъехала от дома. *Софья.* У меня есть адрес, возьми другую машину - и поезжай. *Прокофьев.* А, может, лучше сразу мотоцикл?

Софья. Ну и юмор у тебя, однако. *Прокофьев.* Какой есть.

Софья. Я все видела. *Прокофьев.* Видеть, еще не значит - понимать. *Софья.* Здесь умные слова не уместны, *Прокофьев.* Может, я девушка и не очень умная, но глаза у меня есть. Я видела, что вы делали. Все, мне надо идти. *Прокофьев.* Мы прощались, Соня. Понимаешь? Прощались на веки. *Софья.* Хочешь сказать, вы больше не увидите? Или ты имел в виду... *Прокофьев.* Вот именно. Те люди, которых ты видела - больше не увидятся друг с другом. А свояк и свояченица - почему бы нет? *Софья.* Какие такие свояк и свояченица?

Прокофьев. Софья Викторовна, знаешь, отчего это вдруг в один прекрасный момент люди резко глупеют?

Софья. Обидеть хочешь? *Прокофьев.* Это я про себя, ненаглядного.

Софья. Так отчего они глупеют? *Прокофьев.* (Смотрит девушке в глаза). Только от любви. Огромной, как звездное небо, чистой, как снег на вершине Джомолунгмы. Нет, не так - Джомолунгму всю затоптали эти бесконечные экспедиции.

Софья. Ну вот, все испортил. *Прокофьев.* Я извиняюсь. Чистой, как твоя прекрасная душа. И бездонной, как зеленый омут твоих глаз.

Софья. Я не знала, что ты поэт. *Прокофьев.* Я не поэт. Я безответно влюбленный глупый человек. *Софья.* Действительно, глупый. Почему - безответно? *Прокофьев.* Потому что до самого последнего дня я не смогу поверить, что такая девушка, как ты, смогла полюбить меня.

Софья. А если... если я поцелую тебя... согласишься? (Целуются). *Прокофьев.* Если ты даже родишь мне двух, нет трех, детишек, не поверю. *Софья.* Что же мне делать? Родить четверых?

Прокофьев. А это интересное предложение. Мы обдумаем. *Софья.* Когда?

Прокофьев. Я бы хотел не откладывать дело в долгий ящик, любимая. *Софья.* Как ты меня назвал?

Прокофьев. Лю-би-ма-я. *Софья.* А еще раз, можешь?

Прокофьев. Ну, если только один: (шепотом) любимая... А мне можно еще раз... *Софья.* Что?

Прокофьев. Поцеловать тебя... *Софья.* Ну, если только один. (Целуются). Больше никогда не говори о безответной любви. Хорошо?

Прокофьев. Больше не буду. А ты больше не заставляй меня догонять ночью других женщин.

Софья. Договорились. Просто, когда я увидела вас... меня будто кто обухом по голове ударил... *Прокофьев,* а я тебе поесть принесла. *Прокофьев.* Поесть? Это прекрасно.

Софья. Ты сейчас о чем-то другом думаешь. Скажи, о чем? *Прокофьев.* А вдруг обидишься. Ты у меня такая ранимая. *Софья.* Я знаю, ты не способен меня обидеть. Говори. *Прокофьев.* Я вдруг вспомнил, что мне уже тридцать девять. *Софья.* Ну и что?

Прокофьев. А то, что еще ни разу ни одна женщина не стелила мне постель... Ты обиделась?

Софья. Нисколько. Я буду стелить тебе... *Прокофьев.* Нам...

Софья. Нам постель, а ты... *Прокофьев.* А я буду обрывать цветы с нашего жасмина и осыпать ими наше ложе. *Софья.* Не надо. Он такой красивый, - не обрывай его. *Прокофьев.* А что же мне сделать?

Софья. Совсем немного. Пусть каждый новый день начинается с твоих слов: "Доброе утро, любимая".

Прокофьев. Но это так просто. *Софья.* Это совсем не просто.

Прокофьев. А почему ты плачешь? *Софья.* От счастья.

Прокофьев. Разве от счастья плачут? *Софья.* Получается, что плачут.

Прокофьев. Вот видишь, сколького еще я в жизни не знаю. *Софья.* Я научу тебя. Знаешь, что означает мое имя? Мудрая. *Прокофьев.* А мое?

Софья. Победитель народа. *Прокофьев.* А кто у нас будет народ?

Софья. Получается, что я. Ты - мой победитель. *Прокофьев.* Мудрость нельзя победить. Особенно, когда рядом с ней ее дочери... *Софья.* Вера, Надежда, Любовь?

Прокофьев. Вера, Надежда, Любовь. Да пребудут они с нами до конца наших дней. И с теми, кто нам дорог, кто любит нас.

Софья. И даже с теми, кто не любит. *Прокофьев.* Кого мы обидели - вольно или невольно. *Софья.* Словом или делом...

Прокофьев. Да пребудут вовеки. *Софья.* Любовь. Надежда и Вера...

Прокофьев. И мать их - Софья.

Занавес.